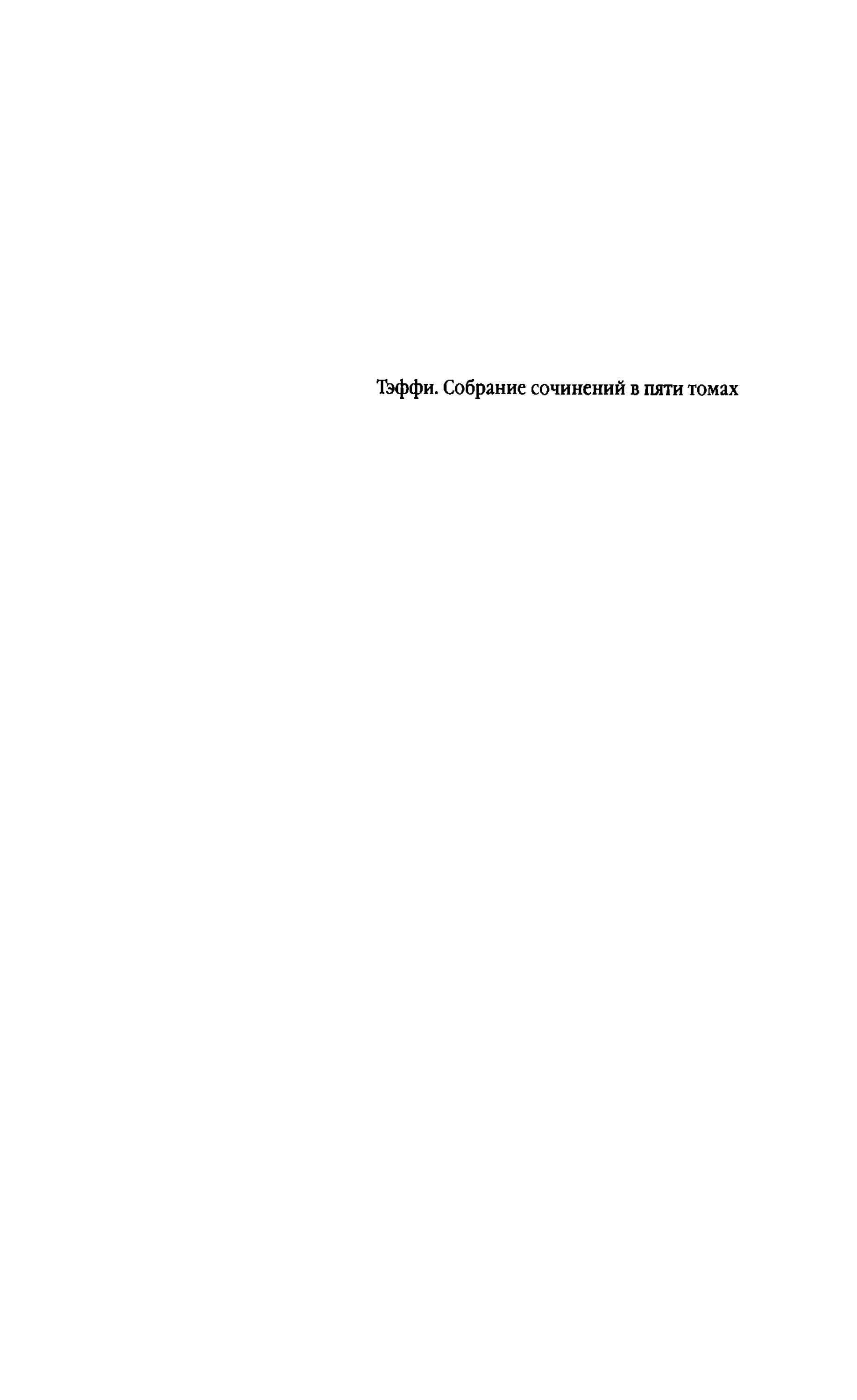


Тэффи

собрание сочинений





Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи

IV

Книга Июнь

О нежности



УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Т 97

Оформление художника
Е. Пыхтеевой

Тэффи Н. А.
Т 97 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4: Книга Июнь; О нежности: Сборники рассказов / Сост. И. Владимиров. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 352 с.

ISBN 978-5-4224-0259-5 (т. 4)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872—1952) — блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стала народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».

В четвертый том собрания сочинений включены сборники рассказов «Книга Июнь» и «О нежности».

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0259-5 (т. 4)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Книга

ИЮНЬ

Книга Июнь

Огромный помещичий дом, большая семья, простор светлого, крепкого воздуха после тихой петербургской квартиры, душно набитой коврами и мебелью, сразу утомили Катю, приехавшую на поправку после долгой болезни.

Сама хозяйка, Катина тетка, была глуховата, и поэтому весь дом кричал. Высокие комнаты гудели, собаки лаяли, кошки мяукали, деревенская прислуга гремела тарелками, дети ревели и ссорились.

Детей было четверо: пятнадцатилетний гимназист Вася, ябедник и задира, и две девочки, взятые на лето из института; старшего сына, Гриши, Катиного ровесника, дома не было. Он гостил у товарища в Новгороде и должен был скоро приехать.

О Грише часто разговаривали, и, видимо, он в доме был героем и любимцем.

Глава семьи, дядя Тема, круглый, с седыми усами, похожий на огромного кота, щурился, жмурился и подшучивал над Катей:

— Что, индюшонок, скучаешь? Вот погоди, приедет Гришенька, он тебе голову скрутит.

— Подумаешь! — кричала тетка (как все глухие, она кричала громче всех). — Подумаешь! Катенька — петербургская, удивят ее новгородские гимназисты. Катенька, за вами, наверное, масса кавалеров ухаживают? Ну-ка, признавайтесь!

Тетка подмигивала всем, и Катя, понимая, что над ней смеются, улыбалась дрожащими губами.

Кузины Маня и Любочка встретили приветливо, с благоговением осматривали ее гардероб: голубую матроску, парадное пикейное платье и белые блузки.

— Ах-ах! — механически повторяла одиннадцатилетняя Любочка.

— Я люблю петербургские туалеты, — говорила Маня.

— Все блестит, словно шелк! — подхватывала Любочка.

Водили Катю гулять. Показывали за садом густо заросшую незабудками болотную речку, где утонул теленок.

— Засосало его подводное болото и косточки не выкинуло. Нам там купаться не позволяют.

Качали Катю на качелях. Но потом, когда Катя перестала быть «новенькой», отношение быстро изменилось, и девочки стали даже потихоньку над ней подхихикивать.

Вася тоже как будто вышучивал ее, придумывал какую-то ерунду. Вдруг подойдет, расшаркается и спросит:

— Мадмазель Катрин, не будете ли добры точно изъяснить мне, как по-французски буерак?

Все было скучно, неприятно и утомительно.

«Как все у них некрасиво», — думала Катя.

Ели карасей в сметане, пироги с налимом, поросят. Все такое не похожее на деликатные сухенькие крылышки рябчика там, дома.

Горничные ходили доить коров. На зов отвечали: «Чаво?»

Прислуживавшая за столом огромная девка с черными усами похожа была на солдата, напялившего женскую кофту. Катя с изумлением узнала, что этому чудовищу всего восемнадцать лет.

Была радость уходить в палисадник с книжкой А. Толстого в тисненом переплете. И вслух читать:

Ты не его в нем видишь совершенства,
И не собой тебя прельстить он мог,
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог.

И каждый раз слова «мучений и блаженства» захватывали дух, и сладко хотелось плакать.

— А-у! — кричали из дома. — Катю-у! Чай пи-ить.

А дома опять крик, звон, гул. Веселые собаки бьют по коленам твердыми хвостами, кошка вспрыгивает на стол и, повернувшись задом, мажет хвостом по лицу. Все хвосты да морды...

Незадолго перед Ивановым днем вернулся Гриша.

Кати не было дома, когда он приехал. Проходя по столовой, она увидела в окно Васю, который разговаривал с высоким длинноносым мальчиком в белом кителе.

— Тут тетя Женя кузину привезла, — рассказывал Вася.

— Ну, и что же она? — спросил мальчик.

— Так... Дура голубоватая.

Катя быстро отошла от окна.

«„Голубоватая“... Может быть, „глуповатая“? „Голубоватая“... Как странно...»

Вышла во двор.

Длинноносый Гриша весело поздоровался, поднялся на крыльцо, посмотрел на нее через оконное стекло, прищурил глаза и сделал вид, что закручивает усы.

«Дурак!» — подумала Катя.

Вздохнула и пошла в сад.

За обедом Гриша вел себя шумно. Все время нападал на Варвару, усатую девку, что она не умеет служить.

— Ты бы замолчал, — сказал дядя Тема. — Смотри-ка, нос у тебя еще больше вырос.

А задира Вася продекламировал нараспев:

Нос огромный, нос ужасный,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы.

— Такие большие парни, и все ссорятся! — кричала тетка.

И, повернувшись к тете Жене, рассказала:

— Два года тому назад взяла их с собой во Псков. Пусть, думаю, мальчики посмотрят древний город. Утром рано пошла по делам и говорю им: «Вы позвоните, велите кофе подать, а потом бегите, город осмотрите. Я к обеду вернусь». Возвратилась в два часа. Что такое? Шторы, как были, спущены, и оба в постели лежат. «Что, — говорю, — с вами? Чего вы лежите-то? Кофе пили?» — «Нет». — «Чего же вы?» — «Да этот болван не хочет позвонить». — «А ты-то отчего сам не позвонишь?» — «Да вот еще! С какой стати? Он будет лежать, а я изволь бегать, как мальчишка на побегушках». — «А я с какой стати обязан для него стараться?» Так ведь и пролежали два болвана до самого обеда.

Дни шли все такие же шумные. С приездом Гриши стало, пожалуй, еще больше криков и споров.

Вася все время считал себя чем-то обиженным и всех язвил.

Как-то за обедом дядя Тема, обожавший в молодости Александра Второго, показал Кате свои огромные золотые часы, под крышкой которых была вставлена миниатюра императора и императрицы. И рассказал, как нарочно ездил в Петербург, чтобы как-нибудь повидать государя.

— Небось на меня бы смотреть не поехал, — обиженно проворчал Вася.

Гриша все больше и больше возмущался усатой Варварой.

— Когда она утром стучит в мою дверь ланитами, у меня потом весь день нервы расстроены.

— Ха-ха! — визжал Вася. — Ланитами! Он хочет сказать — дланями.

— Это не горничная, а мужик. Объявляю раз навсегда: не желаю просыпаться, когда она меня будит. И баста.

— Это он злится, что Пашу отказали, — кричал Вася. — Паша была хорошенькая.

Гриша вскочил, красный, как свекла.

— Простите, — повернулся он к родителям, указывая на Васю. — Но сидеть за одним столом с этим вашим родственником я не могу.

На Катю он не обращал никакого внимания. Раз только, встретив ее у калитки с книгой в руках, спросил:

— Что изволите почитывать?

И, не дождавшись ответа, ушел.

А проходившая мимо Варвара, ощерившись, как злая кошка, сказала, глядя Кате в лицо побелевшими глазами:

— А питерские барышни, видно, тоже хорошеньких любют.

Катя не поняла этих слов, но глаз Варвариных испугалась.

В тот вечер, засидевшись долго с тетей Женей, приготовлявшей печенье к Артемьеву дню, к именинам дяди Темы, вышла Катя во двор взглянуть на луну. Внизу, у освещенного окошка флигеля, увидела она Варвару. Варвара стояла на полене, очевидно, нарочно ею принесенном, и смотрела в окно.

Услышав Катины шаги, махнула рукой и зашептала:

— Иди-ка-т сюды.

Подхватила под руку, помогла встать на бревно.

— Вон, смотри.

Катя увидела Васю на диванчике. Он спал. На полу, на сеннике, лежал Гриша и, низко свесив голову, читал книгу, подсунув ее под свечку.

— Чего же вы смотрите? — удивлялась Катя.

— Тссс... — цыкнула Варвара.

Лицо у нее было тупое, напряженное, рот полуоткрыт внимательно и как бы недоуменно. Глаза устремлены неподвижно.

Катя высвободила руку и ушла. Какая она странная!

В Артемьев день наехали гости, купцы, помещики. Приехал игумен, огромный, широколобый, похожий на васнецовского богатыря. Приехал на беговых дрожках и за обедом говорил все о посевах да о сенокосах, а дядя Тема хвалил его, какой он замечательный хозяин.

— Какие погоды стоят! — говорил игумен. — Какие луга! Какие поля! Июнь. Еду, смотрю, и словно раскрывается предо мною книга тайн несказанных... Июнь.

Кате понравились слова о книге. Она долго смотрела на игумена и ждала. Но он говорил уже только о покупке рощи и кормовых травах.

Вечером в ситцевом халатике сидела Катя перед зеркалом, зажгла свечку, рассматривала свое худенькое веснушчатое личико.

«Скучная я, — думала она. — Все-то мне скучно, все-то скучно».

Вспомнилось обидевшее слово.

«Голубоватая. Правда — голубоватая».

Вздохнула.

«Завтра Иванов день. В монастырь пойдем...»

В доме еще не спали. Слышно было, как за стеной, в бильярдной, Гриша катает шары.

Вдруг дверь распахнулась и вихрем влетела Варвара, красная, оскаленная, возбужденная.

— А ты чаво не спишь? Чаво ждешь?.. Чаво такого? А? Вот я тя уложу. Я тя живо уложу.

Она схватила Катю в охапку и, быстро перебирая пальцами по худеньким ребрышкам, щекотала, и хохотала, и приговаривала:

— Чаво не спишь? Чаво такого не спишь?

Катя задыхалась, визжала, отбивалась, но сильные руки держали ее, перебирали, поворачивали.

— Пусти! Я умру-у. Пусти...

Сердце колотилось, дыхание перехватывало, все тело кричало, билось и корчилось.

И вдруг, увидев ощеренные зубы Варвары, ее побелевшие глаза, поняла, что та не шутит и не играет, а мучает, убивает и остановиться не может.

— Гриша! Гриша! — отчаянным воплем закричала она.

И тотчас Варвара отпустила ее. В дверях стоял Гриша.

— Пошла вон, дура. Что ты, с ума сошла?

— Что уж, и поиграть нельзя... — вяло протянула Варвара и вся словно опустилась — лицо, руки — и, пошатываясь, пошла из комнаты.

— Гриша! Гриша! — опять закричала Катя.

Она сама не понимала, отчего кричит. Какой-то клубок давил горло и заставлял кричать с визгом, с хрипом все это последнее слово:

— Гриша!

И, визжа и дергая ногами, потянулась к нему, ища защиты, обняла за шею и, прижавшись лицом к его щеке, все повторяла:

— Гриша! Гриша!

Он усадил ее на диван, встал рядом на колени, тихонько гладил плечи в ситцевом халатике.

Она взглянула ему в лицо, увидела смущенные, растерянные глаза и заплакала еще сильнее.

— Ты добрый, Гриша. Ты добрый.

Гриша повернул голову и, найдя губами эту крепко обнимавшую его тоненькую руку, робко поцеловал на сгибе у локтя.

Катя притихла. Странное тепло Гришиных губ... Она замерла и слушала, как тепло это поплыло под кожей, сладким звоном прозвенело в ушах и, тяжело налив веки, закрыло ей глаза.

Тогда она сама приложила руку к его губам, тем самым местом на сгибе, и он снова поцеловал ее. И снова Катя слушала сладкий звон, и тепло, и блаженную тяжелую слабость, которая закрыла ей глаза.

— Вы, Катенька, не бойтесь, — прерывающимся голосом говорил Гриша. — Она не посмеет вернуться. Если хотите, я посижу в бильярдной... Закройте дверь на задвижку.

Лицо у него было доброе и виноватое. И поперек лба вспухнула жилка. И от виноватых его глаз стало почему-то страшно.

— Идите, Гриша, идите!

Он испуганно взглянул на нее и встал.

— Идите!

Толкнула его к двери. Щелкнула задвижкой.

— Боже мой! Боже мой! Как это все ужасно...

Подняла руку и осторожно дотронулась губами до того места, где целовал Гриша. Шелковистый, ванильный, теплый вкус...

И замерла, задрожала, застонала.

— О-о-о! Как же теперь жить? Господи, помоги мне!

Свеча на столе оплыла, догорела, колыхала черный огонь.

— Господи, помоги мне! Грешная я.

Катя встала лицом к темному квадрату образа и сложила руки.

— Отче наш, иже еси...

Это не те слова... Не знала она слов, какими можно сказать Богу то, чего не понимаешь, и просить того, чего не знаешь...

Крепко зажмурив глаза, крестилась:

— Господи, прости меня...

И опять казалось, что не те слова...

Свеча погасла, но от этого в комнате показалось светлее. Белая ночь шла к рассвету.

— Господи, Господи, — повторяла Катя и толкнула дверь в сад.

Не смела пошевелиться. Боялась стукнуть каблуком, зашуршать платьем — такая несказанная голубая, серебристая тишина была на земле. Так затихли и так молчали недвижные пышные купы деревьев, как молчать и затихнуть могут только живые существа, чувствующие.

«Что здесь делается? Что только здесь делается? — в каком-то даже ужасе думала Катя. — Ничего этого я даже не знала».

Все словно изнемогало — и эти пышные купы, и свет невидимый, и воздух недвижный, — все переполнено было какой-то чрезмерностью, могучей, и неодолимой, и непознаваемой, для которой нет органа в чувствах и слова на языке человеческом.

Тихая и все же слишком неожиданно громкая трель в воздухе заставила ее вздрогнуть. Крупная, мелкая, неведомо откуда лилась, сыпалась, отскакивала серебряными горошинками... Оборвалась...

Соловей?

И еще тише и напряженнее стали после этого «их» голоса.

Да, «они» были все вместе, все заодно. Только маленькое человеческое существо, восхищенное до ужаса, было совсем чужое. Все «они» что-то знали. Это маленькое человеческое существо только думало.

— Июнь, — вспомнилась книга тайн несказанных... Июнь...

И в тоске металась маленькая душа.

— Господи! Господи! Страшно на свете Твоем. Как же быть мне? И что оно, это, все это?

И все искала слов, и все думала, что слова решат и успокоят.

Охватила руками худенькие плечи свои, словно не сама, словно хотела спасти, сохранить вверенное ей хрупкое тельце и увести из хаоса схлынувших его звериных и божеских тайн.

И, опустив голову, сказала в покорном отчаянии те единственные слова, которые единственны для всех душ, и великих, и малых, и слепых, и мудрых...

— Господи, — сказала, — Имя Твое да святится... И да будет воля Твоя...

Сердце Валькирии

В доме номер сорок три — событие. Умер мосье Витру.

Многие, которым эта печальная весть сообщалась, не сразу понимали, о ком идет речь: мосье Витру никогда при жизни своей «мосье Витру» не назывался.

Называли его «консьержкин муж». А иногда и просто по сущности его персоны: «этот пьяница», «этот бездельник». Потому что говорили о нем всегда недовольным тоном.

Поступков у мосье Витру никаких не было. Были только проступки. Не преступления, конечно, а именно проступки.

Он забывал натопить печь центрального отопления или, наоборот, в теплую погоду нажаривал так, что дышать было нечем. Он забывал подавать утреннюю почту или путал газеты и письма, а потом тыкался по квартирам и отбирал в уже распечатанном «по ошибке» виде.

После всех этих недоразумений забирался в бистро и просиживал там несколько дней подряд.

— Puisqu'on est toujours mécontent![1]

Внешность у него была непочтенная. Квадратный, красный. Выражение лица сконфуженное, потому что встречался с людьми или по дороге в бистро, или возвращаясь оттуда, а на этом пути торжествовать особенно нечего.

Все жалели консьержку, красивую, сдержанно приветливую, с нарядно седеющими волосами.

— Она на него работает. Уж скорей бы умер, старый пьяница.

Она не жаловалась и не ссорилась с ним, презирая его молча и брезгливо до отвращенья. Терпела его, как терпят шелудивую собачонку, которую противно прикончить.

И вот он заболел. Очень быстро из красного, квадратного обратился в худощавого, белого.

Сидел за дверью и уже не конфузился, а смотрел с упреком.

Потом слег.

— Теперь завалился хворать, — осуждали его в доме номер сорок три.

— Получает то, что заслужил, — говорили в доме номер сорок пять, где помещалось бистро.

И вот он умер.

Умер на рассвете, так что первые узнали об этом фам де менаж[2] и понесли вместе с молоком и булками по всем этажам.

---

[1] Потому что они всегда недовольны! (*Фр.*)

[2] Домработницы (от *фр.* femme de ménage).

Стали собираться группами около булочной, в мясной, в лавчонке итальянца, раскачивали сетками с провизией, ежились в вязаных платках.

— Умер муж консьержки из сорок третьего номера. Мосье Витру.

И сипели по-гусиному:

— Хххх-о, — выражая удивление и сочувствие.

Пугала своей необычностью фраза:

— Мосье Витру умер.

Слова «мосье Витру» вместо «консьержкин пьяница» приглашали признать его за человека, имеющего, как все прочие, собственное свое имя, а не ругательное определение проступков. И об этом человеке сообщалось, что свершил он нечто значительное и даже торжественное: он умер.

— Хххх-о!

Вот на какой поступок он оказался способным!

Жильцы дома номер сорок три притихли. Осторожно прикрывали входную дверь и быстро шмыгали на лестницу, косясь на окно консьержки.

Актриса из третьего этажа — фарсовая, но с трагическим характером, — всегда мучающаяся, что ее обошли ролью, и тут, в смерти Витру, почувствовала себя как бы обойденной. Она очень бы удивилась, если бы ей кто-нибудь объяснил, что ее подавленное настроение происходит от зависти к консьержкиному мужу, что ей неприятно то центральное место в умах жильцов дома номер сорок три, которое ему сейчас отводится. Вечером она сумела найти выход и разрядить нервы. Друг принес ей корзину орхидей, и она велела сейчас же отнести цветы на гроб бедного мосье Витру.

И когда друг, обиженно поджав губы, медленно нес вниз по лестнице пышный свой дар, и встречные дамы благоговейно посторонились, актриса, перевесившись через перила, быстро и весело притопнула каблучками. В комнате консьержки будут ахать, и сипеть, и удивляться. Да, в этой пьесе у нее нашлась красивая роль.

Сладкий, тошный запах хлора и формалина поднялся по лестнице, вошел в щели дверей, в мысли, в сны.

У старика из четвертого этажа сделался припадок астмы, и он заставил дочь до утра играть с ним в карты.

Актриса из третьего долго не отпускала своего друга. Она предчувствовала, что скоро, очень скоро умрет, и кротко улыбалась, закрывая глаза.

Две старухи из первого этажа до глубокой ночи бродили по комнатам и пугались друг друга.

Дети во втором плакали и не позволяли гасить лампу.

Утром сын консьержки разнес по квартирам приглашение на похороны. Огромный лист с черной каймой. Он лег на подушку старика с астмой, на кружевной столик актрисы, на комод двух старух, на чайную скатерть во втором этаже, и всюду задрожали над ним ресницы и остановились глаза.

Консьержка, мадам Витру, в первый раз увидела имя своего мужа торжественно напечатанным, на почетном месте. Первый раз совершил он общепринятый буржуазный, вполне почтенный поступок, который возбудил у всех интерес и даже благоговение. О нем говорят, о нем спрашивают, о нем думают во всех пяти этажах, и в доме рядом, и в доме напротив, и в булочной, и на углу.

Он — мосье Витру. Его женой сейчас быть почтенно. В первый раз она его, а не он ее. Она его вдова, а не он «муж консьержки». И кюре, с которым она говорила об отпевании, утешая, сказал: «не плачьте, но думайте о том, что скоро с ним встретитесь». Этими словами и кюре признавал как бы заслугу мосье Витру, как бы высшее его в сравнении с нею положение.

И те нечестивые думы, которые раздражали ее, когда она поняла, что муж умирает, — она отогнала прочь. Думы о том, что умирает он слишком поздно, когда она уже стара, что, будь это лет пятнадцать тому назад, когда вдовец-водопроводчик так сильно заинтересовался канализацией в их доме, что по два раза в день приходил проверять краны, — тогда было бы дело другое. У водопроводчика теперь собственная мастерская в Руане...

Но после смерти Витру, когда жизнь приняла такой торжественный оборот, она забыла о водопроводчике.

Запах хлора и формалина углублялся, расширялся, гудел глубоким аккордом.

Теперь страшные слова «мосье Витру умер» жили, и вся обычная жизнь перед ними умирала. У слов этих был теперь звук, шестисложный, понижающийся в тоне напев.

У них был цвет — широкая черная полоса на белом и был запах — этот страшный, тягучий и сладкий дух. Жильцы дома номер сорок три не хотели есть, не могли спать, читать, разговаривать. Они умирали от звука, от цвета, от запаха «мосье Витру умер».

Похороны вышли торжественные. Жильцы купили в складчину цветов — два огромных венка из иммортелей, намекавших на земное бессмертие, на незабвенность старого консьержа. А на почетном месте — в головах гроба — ядовито-развратные и жадные, дрожали орхидеи, существа из другого мира, пожаловавшие сюда, в среду мещанских розовых гвоздик, как очаровательная дама-патронесса спускается в подвал, чтобы навестить больную прачку.

Вдова Витру стояла впереди всех, но, полуобернувшись к гробу, через траурную вуаль видела, как торжественно и печально слушает толпа молящихся «De Profundis».

И многие плачут.

У старика из четвертого этажа голова тряслась отрицательно, точно он не одобрял этой затеи старого консьержа. Ему хотелось спать, но он приплелся, потому что ему казалось, что он этим как-то откупится от того противного и страшного, что вошло в дом.

Рядом горько плакала его дочь, думая о том, что уже никогда не выйдет замуж, что старик загрыз ее, а сам живет в полное свое удовольствие, заставляет в шесть часов утра варить кофе и выдумывает астму.

Плакала напудренная сиреневой пудрой актриса из третьего этажа. Она представляла себе, что она сама лежит в гробу, и как бы дублировала консьержа в его великолепной центральной роли.

— Цветы и слезы, — шептала она. — Цветы и слезы, а нам, покойникам, уже ничего не нужно.

Всплакнули старушонки из первого этажа. Они вообще бегали на все похороны, потому что это было для них самое интересное бытовое явление, так сказать — к вопросу дня.

Вдова Витру видела всю эту печаль и благоговение перед ее мужем, слышала никому не понятные, таинственные и мудрые латинские слова, которые говорил кюре ему, мосье Витру. И когда церковный швейцар, дирижируя парадом, стукнул булавой и стал медленно, очередью, пропускать

присутствующих для выражения соболезнования, и десятки рук протянулись к ней и к ее коренастым сыновьям Пьеру и Жюлю, чтобы пожать их руки в черных фильдекосовых перчатках, новых и скрипучих, — она вдруг заплакала, громко, искренно и горько.

Она плакала о своем муже, величественном и гордом, увенчанном бессмертными цветами, о «мосье Витру», перед которым все так благоговейно склоняются и благодаря которому так почтительно жмут ее фильдекосовую руку. Она плакала о мосье Витру, гордилась им и любила его.

И когда после похорон набившиеся в ее тесную квартирку родственники отдыхали и закусывали со вздохами, но и с аппетитом — что, мол, поделаешь, он ушел в лучший мир, а мы должны все-таки питаться, чтобы подольше продержаться в этом, худшем... — тогда вдова Витру, наливая кофе, сказала:

— Мой бедный Андре часто говаривал: «кофе надо пить очень горячий и с коньяком».

Изречение было не Бог весть какой мудрости, но произнесла она его тем тоном сдержанного пророческого пафоса, каким повторяют исторические слова великих людей.

И слушатели так и приняли его. Они многозначительно помолчали и глубоко вздохнули. И кому-то недослышавшему повторили с благоговением.

Охота

П. А. Т.

Вечером пришел из деревни синеглазый Антонио Франческо — они на Корсике все либо Антонио, либо Франческо, а этот оба сразу — и сказал, что охоту нам наладил.

Кроме меня и Дора, пойдут еще двое охотников. Кабан выслежен. Сбор в деревне на следующую ночь, в два часа. Ослы и собаки приготовлены, провизии брать на сутки.

— Хорошо, — сказал Дор. — Достаньте завтра ружья. В два часа мы придем.

И только! Точно его на блины приглашали. Нужно же было расспросить, в чем идти, далеко ли ехать, спокойные ли ослы, свирепый ли кабан, тяжелое ли ружье.

Ведь это же, действительно, не пустяк, такая история!

Сама я ни о чем спросить не решалась, потому что так как-то вышло, будто я и есть самый заправский охотник. Я всю эту кашу и заварила, а Дор только не протестовал.

— Вы ведь любите охоту? — спрашивала я.

— Когда-то был страстным охотником, — отвечал он нехотя. — Потом бросил.

— Почему?

— Так... Заяц на меня посмотрел. Подстреленный. С тех пор я бросил.

— А как же завтра?

— Завтра?.. Ну, конечно, если кабан на меня выйдет — уложу его. Иначе что же бы это за охота была.

— Вполне вас понимаю, — отвечала я, мрачно сдвигая брови. — Я тоже уложу.

На душе у меня было скверно.

Что касается провизии — это дело было для меня вполне ясно и даже приятно. Встать к двум часам ночи было уже хуже. Все остальное — сплошной мрак.

Есть нечто, в чем ни за что не признаюсь: боюсь лезть на осла. Как представлю себе, что он теплый и шевелится, — ведь ерунда это, а страшно. Если бы он еще не двигался, а ведь он зашевелит лопатками, а на лопатках я.

И еще второй ужас — стрельба. Стреляла я только один раз в жизни, и вышло это очень странно. На foire de Paris[1] зашла в тир. Стреляли там солдаты, человек семь, и прескверно — все мимо.

Вдруг хозяйка с любезной улыбкой протянула ружье мне. Я машинально взяла, приложила не к тому плечу, к какому полагается, закрыла не тот глаз, какой нужно, и под громкое ржанье солдат выстрелила. И произошло нечто совершенно неожиданное: фигурка, в которую я целила, вдруг затрещала и завертелась, точно кто-то попал в нее. Кто? Я растерянно оглянулась.

---

[1] Парижской ярмарке (*фр.*).

— Mais c'est vous, madame![1] — выпучила на меня глаза хозяйка и снова сует мне ружье.

Восторгу солдат не было предела. Они хлопали себя по бедрам. Один даже присел и завертелся волчком.

Я растерянная, испуганная, схватила ружье. Опять также по-идиотски не тем боком, не тем глазом.

Бах! Бах! Бах! Из пяти раз попала четыре.

Солдаты притихли и в благоговейном молчании пропустили меня к выходу.

Как все это вышло — сама не понимаю. И что это значит? Значит ли, что я умею стрелять?

Но рассказывать об этой истории было бы неосторожно. Дор может сказать:

— Ах, так вот вы какой охотник! Нет, уж вы лучше посидите дома, с вами еще в беду попадешь.

Лучше помалкивать.

Но вот как одеться? Понятия не имею.

Спросила хитро:

— А вы в чем пойдете?

Как будто о себе-то уже все давно знаю, а только, мол, в нем не уверена.

— Да хотя бы в этом самом костюме.

Удивительно! Белые брюки, белые башмаки, синий пиджак — пляж Ниццы и Биарицца. Странно.

Тут уж я рискнула:

— А мне, по-вашему, что надеть? Я ведь не знаю условий корсиканской охоты.

(Вот как тонко. Только, мол, «корсиканской» не знаю. Молодчина я!)

— Да надевайте что не жалко.

Удивительно хладнокровный человек.

«Что не жалко». Легко сказать!

Мне вот прошлогоднего муслинового платья не жалко. Так ведь не надевать же его!

Дальше советоваться было опасно. Вспомнила, к счастью, что в нашем же отеле живет бывший учитель географии Зябликов, родная русская душа, в сиреневом галстухе. Он все знает.

---

[1] Но это вы, мадам! (*Фр.*)

— Тук-тук! Monsieur Ziablikoff![1]

Ну, конечно, он все знает. Необходима короткая клетчатая юбка.

— Милый, спасибо! Спасибо! Никогда не забуду!

— Всегда к вашим услугам.

Бегу в деревню, покупаю в лавчонке, где колбаса, и уголь, и шоколад, и керосин, жуткую клетчатую «шотландку», бегу домой и, дрожа от усердия и спешки, шью небывалую юбку.

А какую шляпу?

Бегу к Зябликову.

— Можно на кабана белый фетр?

Молодец Зябликов, все знает. Фетр, оказывается, можно, всякий, кроме желтого. Почему? Но все равно — расспрашивать некогда. А серьги? Я привыкла к серьгам.

— Cher Ziablikoff![2] Простите... Можно на кабана надеть серьги?

Он не сразу понимает и смотрит с ужасом.

...Спала плохо, да и некогда было. До трех часов все укорачивала юбку. Укорочу, сяду, для примера, верхом на стул и опять укорачиваю.

Вышло очень недурно. Coupe élégante.[3] Немножко кривобокая, ну да в зарослях незаметно.

К вечеру Антонио Франческо принес ружье. Ну и тяжесть!

Дор пошел в горы, наметил цель, отошел далеко-далеко и — бах, бах, бах — всадил пять пуль одну в одну.

— Ничего, не забыл! А вы не попробуете?

Мне пробовать не захотелось...

Не отказаться ли, пока не поздно?

Завела с хозяйкой отеля разговор об охоте. Думала, что она заохает и станет меня отговаривать, скажет: «У вас сегодня такой усталый вид. К чему рисковать?»

---

[1] Господин Зябликов! (*Фр.*)

[2] Дорогой Зябликов! (*Фр.*)

[3] Элегантный покрой (*фр.*).

А она застрекотала: «Да, да, это очень интересно, это чудесно!»

Вот ведьма! Эгоистка!

В два часа ночи постучали.

Ночь теплая, душная, а я дрожу. Чуть-чуть задремала, одетая. Привиделся кабан, будто он намылил себе щеки и хочет бриться. К добру ли сон-то этот?

Надела на пояс кожаную сумку с необходимыми для охоты припасами — шоколад, пудра и губная помада.

Антонио и Дор уже на дороге — две тени: темная и белая. Сомнительно, чтобы этот пляжный вид подходил к охоте.

Антонио несет мое ружье. Идем в деревню.

Темно, жутковато. Я делаю вид, что я бывалый молодец, и, посвистывая, шагаю впереди. Ночь душная, густозвездная, горы подошли близко, столпились все около дороги. До деревни один километр, и там ждет меня осел. Стараюсь о нем не думать.

Тихо на улице. Темно. Только одно окошко светится. И около него темные тени, тихий говор. Это наши охотники. Их оказалось целых пять. И к чему так много? Это еще страшнее.

— Фррр!

И ослы здесь. Как они тихо стоят! Все такое зловещее.

Подошли ближе. Ослов шесть, а нас восемь человек. Я спасена!

— Я пойду пешком. Я очень люблю ходить пешком.

— Это невозможно, — спокойно говорит главный охотник.

Он в широкополой шляпе, за спиной дуло ружья, у пояса что-то блестит. С ним не поспоришь.

— Больше километра вы не пройдете, потому что мы свернем в горы, где придется карабкаться по камням впотьмах. Влезайте на осла.

Его ведут ко мне, этот живой эшафот. Он упирается, меня ведут к нему. Я тоже упираюсь. Мы не хотим друг друга, но злые люди соединяют нашу судьбу.

— Гоп!

Господи, Господи! Начинается. Вот оно, самое-то ужасное!

Седла нет. Вдоль ослиной спины три соединенные между собой планки, над шеей рогатка для прикрепления вьюков.

Ни луки, ни стремян... Куда девать ноги? Антонио советует подобрать их и упереть в продольную планку, а за рогатку держаться. Вот ужас! Хорошо, что темно. Благословенна тьма, и радостен мне сумрак! Напоминает мне все это что-то, но что — не могу вспомнить.

Осел зашевелился.

— Дор! Дор! На помощь! Бандиты уморят меня!

Небо темное, кружатся звезды. Прозрачной зеленью, ледяным хризопразом сквозит восток. А на черной, чернее неба, горе пылает костром утренняя звезда, обманная заря — Люцифер.

Перед моими глазами сказочный силуэт бандита. Широкая шляпа, ружье, вьюки, долбленая тыква с водой.

Торопливо, но осторожно, несет его усердный ослик. Впереди, подальше, чуть мрежет, поблескивая металлом, другой такой же силуэт. Шорох камней, тихие голоса. Отчего так тихо говорят? Разбудить здесь некого. Кабана боятся спугнуть? До него еще около двенадцати километров.

Тихо. Только когда чей-нибудь осел споткнется, и камни, щелкая, полетят куда-то вниз, громкий и словно испуганный окрик: «охэйо-о!» прорвет шепот ночи.

Куда летят камни? Неужели тут рядом обрыв?

Осел подо мной, как ладья в бурю, то взмывает наверх, то вдруг проваливается, и торчат из бездны длинные острые уши, и я сползаю к нему на шею до самой рогатки. Руки ноют, ноги свело, в сердце тоска и страх. Господи, Господи! А ведь это еще только начало.

— Дор, вы идете или едете?

— Иду-у.

— Отчего-о?

— Осла жаль.

Вот все мы такие! Осла жаль, а кабана прикончить и не задумаемся.

Измотал меня осел насмерть.

— Тпру!

Я даже не сказала, а, вернее, подумала это слово, а он уже остановился. Умница осел, красавец осел. Кубарем на землю. Раз Дор идет, так чего же тут. Я тоже охотник.

— Нужно ноги размять.

Бандиты ничего, не рассердились.

Один пошел около меня, поддерживает, когда я спотыкаюсь, и (откровенно говоря) подымает, когда валюсь.

Светает, голубеет. Справа, действительно, оказался обрыв, и синим дымом курится за острыми скалами море — глубоко-глубоко внизу.

А мы все подымаемся.

Думаю о кабане. Он, наверное, спит в своих корсиканских «маки». Один и ничего не подозревает. А тут восемь человек с ружьями, ночью подкрадываются, говорят шепотом. Он, конечно, подлец, этот кабан, он портит огороды, но и наша роль не из красивых — какие-то убийцы по призванию.

Вдруг все остановились, сбились в кучу, совещаются. Какие они все маленькие, щупленькие, эти корсиканцы. Дор около них кажется гигантом в белых штанах.

Разглядела четырех собак, привязанных попарно к седлу главного охотника. И еще какая-то маленькая собачонка, на которую я спотыкаюсь.

Бандиты наши о чем-то совещаются.

— Садитесь скорее, — говорит мне главный. — Надо торопиться.

Усаживает меня так спокойно и властно:

— Гоп!

Точно я не дама, а ученый кот.

И вот я снова на осле. Теперь, когда светает, я вижу свою клетчатую юбку, как она торчит веером на высоко согнутых коленях. Что же это такое мне напоминает?

Главный бандит вскочил на осла, как-то быстро, по-разбойничьи, повернул его, свистнул на собак и поскакал куда-то вбок. За ним двинулся еще один и побежал пеший.

— Он поставит посты, — объяснил мне Антонио Франческо.

Значит, кабан уже близко. Господи, Господи, что-то будет!

Дорога ужасна. Узенькая тропинка, вся заваленная камнями. С двух сторон колючие кусты рвут ноги, свистят по моей клетчатой юбке. Ее-то ничем не проймешь, а чулки разодраны в клочья. Осел прыгает с камня на камень, я все выше подбираю ноги, уцепилась руками за рогатку, мотаюсь,

сползаю... Вспомнила — какой ужас! В такой самой юбке, в такой самой позе скакала в цирке обезьяна на пуделе!

Скоро взойдет солнце. Уже светло. Маленькая собачка плетется под ногами осла и подвизгивает. Это она плачет, что главный охотник не взял ее вместе с важными собаками. Обидно.

Вдруг она залаяла, затявкала и побежала в кусты.

— Кабан?

Один из охотников бросился за ней и быстро вернулся со смехом, качая в руке серый комок.

— Еж! Моя жена его вечером зажарит.

Он туго перевязал лапки ежа. Этот охотник самый неприятный. Большой, костистый, рыжий, похож на Горького. Будет жарить ежа.

— Скорее дальше! — кричит Антонио. — Когда станет жарко, собаки не смогут идти по следу.

Отчего? Верно, нагретые травы слишком сильно пахнут. Путают след.

— Слезайте. Дальше ослы не пройдут.

Мы перед крутой, почти отвесной тропинкой. Ползем, цепляясь за камни. Позвякивают ружья. Разбойники мы! Внизу плачет маленькая собачка. Ее окончательно разобидели: привязали к ослу и оставили внизу. Мне видно сверху, как осел пасется, не обращая на нее никакого внимания, а она тащится за ним. Обидно.

...Вот мы наверху горы. Там, впереди, лощина в густых зарослях. Там кабан. Вдали кричит кто-то:

— А-га-га-га-га-а!

Что-то хлопает.

Это наш загонщик пугает кабана. Далеко коротким, плачущим лаем затявкали собаки.

Я сижу одна на камне, в кустах. Налево белеет Дор. Еще дальше торчит из-за скалы ружье притаившегося бандита. Кабана будут гнать прямо на нас.

Солнце взошло. Выкатилось сразу — желтое, яркое, мокрое. Начало свою долгую, летнюю страду.

«Целый день по голубой пустыне
Ходит солнце — одинокий царь...»

Рассвет всегда так неизъяснимо волнует меня. Час рассвета — страшный час. Во всей природе — и в живом существе особенно — вызывает он корневое, глубокое потрясение. Люди умирают чаще всего на рассвете. Ночь борется, стремясь остаться, овладеть миром, и каждый раз, когда свет побеждает, когда раздирается черная завеса и подымается пламенеющий гневом и радостью великий властелин, под пение, звон и ликующие клики своего царства, сколько бы мы ни глушили душу свою тусклостью «сознательной» жизни, какая бы блеклая и сухая она ни была, она не может не восприять этих эманации экстатического восторга, от которых дрожит вселенная в час рассвета.

Кусты и трава покрыты пленкой росы, точно сладости в бакалейном магазине слюдяной бумажкой. Роса блестит, дрожит, кипит под солнцем, шевелит стебельки. А дальше фимиамные голубо-розовые горы собирают последнюю дымку тумана с раскрывшегося торжествующего моря.

Восторг и благоговение!

Ведь лучшие качества человеческого духа сравниваем мы всегда спокон веку с ними — с морем, со скалами. «Непреклонный, как скала», «могучий, как море», «свободный, как ветер» и «радостный и жаркий, как солнце». А с чем сравнишь их? Ни высшего, ни даже подобного нет.

Собаки тявкают ближе. Гонят... Вдали выстрел.

Вот этот самый кабан, которого по легкомыслию своему я пришла убить, он сейчас проснулся в душистых мокрых кустах, хрюкнул, охнул, большой, корявый, пошел за сладкими корешками, завтракать. Блестит роса, пахучие колкие травы щекочут нос. Ковырнет землю рылом, чавкнет, покрутит завитушкой хвоста.

Еще меньше, чем я, может он думать о счастье чудесной земной жизни, но чувствует-то ведь не меньше и не иначе...

Что-то треснуло, скрипнуло, засипело.

Я схватила ружье.

Из травы выскочило что-то вроде смятой спичечной коробки, пошевелило на меня усиками и снова скакнуло боком в кусты. Цикада, что ли. Какую, должно быть, дикую картину я для нее представляла!

Сидит на глухой горе невиданное чудище в клетчатой юбке. У ног ружье — очевидно, разбойник, а, между тем,

разливается-плачет от любви, восторженной и нежной, к солнцу и кабану.

А зачем же схватилась за ружье? «Инстинктивно». Значит, инстинкт-то все-таки вот где! Какое уродство!

— Прости меня, урода Твоего, Господи! Прости и благослови!

Я видела, как Дор поднялся и выстрелил куда-то вбок, не туда, где лаяли собаки. Потом вылез на тропинку, прошел за скалу к бандиту, и оба подошли ко мне.

— Можно подыматься. Кабана упустили, — сказал он, глядя куда-то в сторону.

Потом долго объяснял бандиту, как собаки отогнали кабана в заросли.

У фонтана, чуть капающего тепловатой водой, сделали привал. Толковали о кабане, какой он хитрый.

Антонио Франческо посмотрел на меня внимательно и сказал:

— А мне кажется, что кто-то пожелал, чтобы кабан ушел. Он ему душою и помог.

Вот так бандит! Я, конечно, глазом не сморгнула, только уронила бутерброд и пролила воду. А Дор смеялся.

Какая страшная жара! Солнце не греет, а прямо жжет. Никогда не думала, что у него такая температура.

Молодой бандит уверяет меня, что он ни капли не устал. Что он способен сейчас же спуститься к морю (ходу кубарем по скале около часу), подняться (на четвереньках два часа) и потом еще всю ночь танцевать.

Дора уговорили сесть на осла. Но Дор огромный, а осел маленький, и издали кажется, будто он ущемил осла и тащит между колен.

После полудня — снова привал. Прижались к скале, пряча хоть голову в тень. Молодой бандит надвинул шляпу на нос и мгновенно захрапел — вот тебе и танцы на всю ночь. «Горький» развалился на щебне и тоже уснул. Маленькая собачка угодливо лизала его огромную растрескавшуюся ладонь. Ослы аппетитно хрустели репейником. У одного из них под седлом маленький серый комочек. Господи! Это

еж! Какая у него страшная мордочка. Совсем человеческое лицо. Черные глазки выпучены, из открытого рта течет какая-то жидкость. Мучается еж, издыхает.

— Дор! Я не могу. Еж умирает.

Дор сидит рядом на камне. Косится на бандитов.

— Молчите! Я сам весь день о нем думаю...

— Дор! Он с утра на солнце головой вниз! Дор, Дор, у вас глаза стали совсем голубые — вы его жалеете!

— Подождите!

Он засмеялся деланным смехом (очень скверно сделанным) и сказал охотникам:

— Хе-хе! Дама очень хочет купить у вас ежа.

Антонио отвечает галантно:

— Не надо покупать. Мы с радостью отдадим ей его, когда приедем.

Дор хохочет еще насмешливее.

— Да нет, она хочет отпустить его на волю. Она его жалеет. Хе-хе-хе!

Но бандиты и не думают смеяться. Ежа отвязывают, перерезывают веревку. Я беру его, дрожа от отвращения, за омертвелые резиновые лапки и отношу подальше в кусты.

Солнце палит, в ушах звенит. Снова мотает меня осел. «Горький» спросил озабоченно:

— Куда отнесли ежа?

Так я ему и скажу!

— Далеко в горы.

— Надо было положить в тень, он бы скорее оправился.

Смотрю на него удивленно. Нет, он уж не так похож на Горького.

Дор идет рядом.

— Дор, скажите правду, отчего вы не в ту сторону выстрелили?

Дор отворачивается и что-то долго разглядывает на горизонте.

— Ничего подобного, — спокойно отвечает он. — Я просто промахнулся. Тот, рыжий, тоже промазал. Вы ведь слышали, как охотники говорили, что, когда кабан в зарослях...

— Дор, я ведь видела!

— Значит, вам показалось.

Зябликов ждал нас у подъезда.

— Ну что? Убили?

— Нет, нет! — радостно кричу я. — Охота была очень удачна: никого не убили!

Лунный свет

И в этот вечер, как всегда, когда у Лихиных собирались гости, говорили про квартиры, про прислугу и про большевиков.

— А что ваша старушенция, еще жива? — спросила унылая дама с золотым зубом.

— Ничего, — улыбнулась хозяйка. — Хотя за последнее время сильно сдала.

— Наделает она вам хлопот.

— Что ж поделаешь! Катерина Павловна платит за нее аккуратно.

— Да, Катерина Павловна, действительно... — начала вторая гостья, усталая, с злыми глазами.

Но хозяйская Ирочка, худосочный, нервный подросток, до сих пор молча выковыривавшая изюм из сладкой булки, не дала ей договорить.

— Мама, мама, расскажи про католика. Мама...

Она вдруг оживилась, заерзала, задергалась.

— Мама!

— Катерина Павловна, — продолжала гостья, — святая женщина. Сама живет в грязном отельчике, а матери нанимает хорошую комнату.

— Мама! Расскажи про католика! Это ужасно смешно. Мы так хохотали. Мама!

— В чем дело? — спросила с золотым зубом.

— Да тут вышла забавная история, — начала хозяйка. — Анна Александровна, старушка наша, заснула днем и вдруг...

— Мы не знали, что она спит, — прервала Ирочка. — И вдруг слышим, она кричит: «Католик с постельки свалился. Католик плачет». Мы бежим, ничего не понимаем...

— Тише, Ирочка, она услышит.

— А пусть не подслушивает. Она любит подслушивать, я ее два раза поймала... Мы бежим, ничего не понимаем. Мама думала, что какой-то аббат свалился. Ха-ха-ха! А она сидит на постели, и плачет, и все бормочет про католика, и ничего не понимает.

— А потом оказалось, — вставила хозяйка, — что она Катерину Павловну называла Катуля, и ей приснилось, будто та еще маленькая Катуля. А нам послышалось...

— Катерина Павловна большая, толстая, — визжала Ирочка, — и вдруг «с постельки упала». Ха-ха-ха!

Ирочка вся дергалась, и в горле у нее пищало, как у просящей собаки.

— Бедная старушка, — сказала гостья со злыми глазами; и видно было, что не столько она жалеет старуху, сколько ей противна хозяйская дочка.

— Чего там! — ответила Ирочка. — Она презлющая. Обожает свою чайную чашку. А я ей говорю: все равно она разобьется. А она со злости вся затряслась.

— А у нее светлая комната? — спросила вдруг гостья с зубом.

— Очень светлая. Хотите взглянуть? Пойдемте. Ничего, она ведь не спит.

Лихина повела гостью в конец коридора и постучала в дверь.

За столом у лампы, завешенной сбоку темной тряпочкой, сидела маленькая старушка в халатике. Она дрожащей корявой рукой схватила со стола толстый клубок с каким-то вязаньем и спицами и суетливо вскочила. Лицо у нее было совсем белое и мелко сморщенное, словно обтянутое смятой папиросной бумагой.

— Простите, Анна Александровна, — извинилась хозяйка. — Вот мадам Чижова хотела взглянуть на вашу комнату. Вы ведь разрешите?

Она говорила громко, как говорят с детьми или с идиотами.

Старуха беспокойно встала.

— Очень милая комнатка, — похвалила гостья.

— А вот здесь окно. Хотя во двор, но смотрите, сколько простору.

Она отвернула портьеру. И вдруг старушка засуетилась, задохнулась.

— Задерните, задерните... Кто вас просил занавеску трогать... Напустите лунного свету, а потом возись с ним... Ах, ты, господи, да задерните же скорей... Заколите щелку булавкой, ведь видите, там булавка была... Ах, ты, господи!

— Ну что вы, Анна Александровна, чудачка какая. Ведь я же задерну, чего вы?

— И не кричите так, я не глухая.

Старушонка совсем разволновалась, и нижняя губа у нее так дрожала, что, по-видимому, и подобрать ее было трудно.

— Ну, мы уходим, уходим. Спокойной ночи! И не волнуйтесь по пустякам. Вам вредно.

— А она у вас, действительно, того... — шептала гостья в дверях.

Старушка, прислушиваясь к удаляющимся шагам, проверила — хорошо ли задернуто окно, потом положила вязанье на стол и села. Закрыла глаза и долго медленно растирала грудь с левой стороны.

Подвинула клубок и сказала ему:

— Разволновали меня эти дуры. Скучно без человеческих голосов, а и придут не обрадуешься.

Она говорила с клубком также просто и свободно, как говорят с человеком. Как все люди, прожившие долгую жизнь, она знала, что, в сущности, все равно, с кем разговаривать: с живым человеком, с клубком, со звездами или с куском тесемки — они слушают одинаково безразлично. Тесемка хоть не перебьет и не затянет про свое, ненужное, нудное.

Но, конечно, голоса слышать необходимо, так же как видеть двигающиеся предметы, потому что в этом жизнь. За голосами она ходит к двери в столовую. Там всегда кто-нибудь говорит. Она хитрит: берет кружку, как будто в кухню за кипятком, а сама остановится у двери и слушает. Слов не разобрать — да это и не важно. Слова все те же. Надоели главные слова человеческой жизни: «сколько», «дорого», «больно», «скучно», «некогда» и «зачем». «Зачем» чаще всего. Очень надоели слова. А голоса нужны для жизни. Чтобы сознавать, что живешь.

— А где чашечка?

Задохнулась, сердце забилось.

— Вот она... Чего я так пугаюсь сегодня.

Чашечка стояла тут же, за лампой. Тоненькая, фарфоровая, нежный синий рисуночек изображал на ней чудесную жизнь: во-первых, ручеек, кустарники — негустые, не таящие ни зверя, ни гада. Через ручеек мостик. На берегу человечек ловит рыбу, а рядом с ним, чтобы скучно не было, — мальчик с собачкой. А подальше корова пьет, и тут же теленок. Тоже и ей не скучно. А по берегу, вверху, дорожка к домику. На крыльце стоит женщина с ребенком, протянула руку, верно, кличет того, что рыбу ловит. А перед домиком служанка рвет какие-то плоды, и идет по дорожке человек с корзинкой, и веселая собачка лает на него. В корзине какая-нибудь радость, подарок, что-нибудь такое. И птицы летают над домиком. И никого не ждет ни болезнь, ни горе, ни старость — всегда они все такие и будут. И рыбка, которую ловят, не погибнет. Вечна их милая радость.

— Вот и от чашечки устаю. От всего устаю.

Почудились шаги, и она потянулась к вязанью. Она уже давно, больше года, не могла вязать, но не хотела в этом признаться и притворялась будто работает. Ни в чем «таком» нельзя признаваться. Когда узнают, у них в глазах что-то забегает и остановится. Что-то поставит точку. Они все понимают, и от этого еще хуже.

Если бы было около нее маленькое существо, глупое и от нее зависимое, для которого она была бы сильной и властной, — все равно: ребенок, котенок, птица или собака, ей было бы легче. Впрочем, собаку нельзя. Собаки видят невидимое. Уставится в угол и ощерится либо завоет. С собакой может случиться жутко. Кошки непривыкливые, да и вообще с живым существом уже теперь не сладишь. Силы нет. И живое может умереть.

— А ваша чашечка все равно разобьется, — вдруг пискнул из памяти голос хозяйской девчонки. Подлая! Злющая! Уродина будет, в маменьку.

Опять закрыла глаза.

Надо думать о приятном.

Завтра праздник. Зайдет Катуля.

Слово «Катуля» вызвало образ маленькой толстенькой девочки, веселой и ласковой, в пузатом передничке.

Вот если бы она пришла такая. А придет пожилая, усталая, озабоченная, чужая.

— Ну что же, мама, вы пожаловаться не можете, у вас тепло и светло.

— Я и не жалуюсь, друг мой. Я очень тебе благодарна и за тепло, и за свет.

У Катули лицо тяжелое, напудренное, подрумяненное. Этой пудрой борется Катуля со старостью, одиночеством и тоской. А если бы не убили ее мужа, она теперь с мужем задумывалась бы — кто раньше умрет: он или она. В этом трагедия любящих. Сначала мучаются — «кто первый разлюбит». Потом, под старость, — кто умрет.

У нее была трагедия — смерть мужа. Потом архитектор, который застрелился. Как его звали? Суета сует. Попросту — суетня. Всю жизнь вертятся люди, как собака за хвостом, перед тем как улечься.

Есть великие задачи, конечно. Анна Александровна Столешина сама работала «на общественной ниве», устраивала библиотеки «на разумных началах». Конечно, это пустяки и мелочь, но если бы даже самого Коперника посадили в комнату в конце коридора, больного астмой, в семьдесят восемь лет, одного — небось, тоже исторических слов бы не произносил, а, пожалуй, тоже ходил бы с чашечкой за кипятком голоса послушать.

Хорошо, когда приходит доктор. Доктор говорит про простое, про внешнее, про астму. Ничего торжественного в этом нет. Хуже всего — торжественное. Из-за этого, если бы даже силы были, нельзя в церковь ходить. Церковное пение, возгласы, слова значения великого и бессмертного, отрывают от земной жизни — а много ли ей, старой, больной, нужно, чтобы оторваться… Надо бороться и держаться крепко. Слушать простое, земное, житейское, смотреть на земную жизнь, на кота, на чашку, на людей, озабоченно жующих. Не надо думать о том, что с земли уводит. Уведет — не вернешься.

Да… Завтра праздник, вот о чем надо думать. О веселом. Придет Катуля. Она будет торопиться — ей ведь далеко домой, да и хочется немножко развлечься, труженица она.

— Я вам помешала отдыхать? Лежите, лежите, я в другой раз зайду.

Ее и удерживать грех. Пусть думает, что старуха отдыхает. Хотя ведь она этого и не думает...

Пусть лучше придет доктор. Даст какие-нибудь порошки.

— Я больна и вот принимаю порошки. Все так просто и ясно. И молодые хворают.

Если бы чувствовать только боль, только болезнь, а не чувствовать «того», чему и названия-то нет.

— Того, чего я не хо-чу. Не хо-чу.

Не надо об этом. Завтра праздник, придет Катуля. Да Катули нет. Никого нет. А вот болезнь есть.

Огромное, тяжелое сердце росло и раздвигало грудь. Холодный пот залип в складках щек около носа.

— Господи!

Да — «Господи»... Старухи в церковь ходят: «Религия утешает». Анна Александровна передовая женщина. Да и некогда было подумать об этом. Ее поколение об этом не подумало.

— Воздуху мало. Окно бы открыть...

До окна не добраться. Далеко до окна. И за ним, за окном, — ужас. Там огромное небо, на нем острый силуэт черного храма и черные ветки зимних деревьев на мертвом лице луны.

Сколько счастья, сколько пьяного земного счастья нужно, чтобы взглянуть на эту тоску и не захлебнуться ею.

— Воздуху нет! Все равно...

Поднялась, долго стояла, держась за ручку кресла, боясь отделиться, потом закачалась, пошла, дернула раму и опустилась на пол, опираясь спиной о косяк.

— Все.

Все силы ушли.

Огромное было небо. Через тихие тучи, не двигаясь, бежала луна. И оттого, что бежала и не двигалась, бег ее чувствовался вечным.

Анна Александровна опустила глаза, увидела свои позеленевшие руки, безобразные, с пальцами скрюченными и закостеневшими. Нет, не безобразными. Здесь, в луне, они были тоже недвижимые и тихие, долгой жизнью приготовленные, чтобы уйти в бессмертие земли.

Она на минуту закрыла глаза и увидела себя сидящей за столом у лампы, завешенной темной тряпкой. И жалко стало себя, ту, у лампы.

— Чего она так боится? Окна? Видно, предчувствует... И за что она так цепляется, эта Анна Александровна? Ничего у нее нет.

Вспомнить бы ей что-нибудь...

Что-то набежало на душу — теплое, ласковое, пушистое. Имя чье-нибудь. Может быть, просто мягкий пуховой платок... Кажется, был когда-то...

Открыла глаза в огромное лунное небо.

— Вот оно — торжественное жилище мое, покой мой. Так прими, Господи...

И назвала себя торжественно и просто:

— Рабу твою Анну.

Катерина Петровна

В те годы моего далекого детства проводили мы лето в чудесной, благословенной стране — в Волынской губернии, в имении моей матери.

Я была еще совсем мала, только что начала учиться грамоте, — значит, было мне около пяти лет.

Жилось весело. Огромный дом, большая семья.

Всегда что-нибудь новое и интересное: кто-нибудь уезжает, кто-нибудь приехал, кто-нибудь обварился, кого-нибудь наказали.

То, что у больших, у взрослых, проскальзывало быстро, то у нас в детской изживалось бурно, сложно, входило в игры и в сны, вплеталось цветной нитью в узор жизни, в ее первую прочную основу, которую теперь с таким искусством и прилежанием разыскивают психоаналитики, считая важнейшей первопричиной многих безумий человеческой души...

Помню потрясающую новость: в деревне, верст за шестьдесят от нас, бешеная собака искусала детей.

Как изживали мы эту бешеную собаку!..

Ходили с палками по столовой, выгоняли страшного зверя из-под буфета, запирали его в мышеловку. Это была игра долгих дней и страх многих ночей.

— Чего вы, глупые, боитесь? — говорила нянька. — Ведь Лычевка далеко.

— Ах, нянюшка, бешеные-то, они ведь бегают скоро!

И вошла эта собака в мой сон и много раз на продолжении многих годов возвращалась. И всегда во сне этом бежала я по длинному коридору, а она гналась по пятам. Я знала, что у нее мутные глаза и изо рта бьет ядовитая пена... И вот последняя дверь. Я изнемогаю, из последних сил захлопываю ее, но зверь успел просунуть морду. Я нажимаю на дверь еще, еще немножко и он будет раздавлен. Но тут всегда самое ужасное: я опускаю голову и вдруг вижу его глаза — тусклые, голубые, человеческие, с таким отчаянием, с таким страданием смотрящие на меня, а из страшной раскрытой пасти бьет ядовитая желтая пена. Смотрят на меня глаза издыхающего зверя, и понимаю я, что не своей волей мерзок он и страшен, что в отчаянии и муке исходит он ядовитой пеной, и чувствую, как уходят от меня сила, и страх, и злоба; нечеловеческая боль и жалость сжимают сердце.

«Не могу раздавить тебя. Иди!» И отпускаю дверь.

Я всегда просыпаюсь в эту минуту. И как знать — может быть, пробуждение и было дверью, открываемой перед звериной пастью...

Но главное и самое интересное событие того года был разбойник, пан Лозинский.

Разбойник этот был легендарный, разъезжал по всей губернии на подводах, грабил богатых и награждал бедных, — словом, все как легендарному разбойнику полагается. И никак не могли его поймать — ловкий был и смелый.

Об этом пане Лозинском разговаривали и в гостиной, и в девичьей, и на черном крыльце, и, конечно, в детской, где мы с криком и визгом грабили друг друга, скача верхом на стульях.

Раз ночью я проснулась от страшного грохота. Огромные железные колеса, подпрыгивая, гремели по булыжнику двора.

— Разбойник!

И вдруг вся комната озарилась огнем. И еще раз, и еще. И опять загрохотали колеса тяжелых разбойничьих подвод.

Огонь — значит, у него форейтор с таганцом. Я таганец видела несколько раз. Когда вечером уезжали от нас гости, всегда снаряжался форейтор, к седлу которого привешивалась зажженная плошка, чтобы освещать дорогу... Плошка качалась, вспыхивало красное чадное пламя, зловещие бежали тени по кустам и канавам.

Вот и разбойники с таганцом.

Я не смела кликнуть няню. Как перейдет она ко мне с того конца детской через этот свет, и грохот, и разбойничий ужас?

Утром за чаем говорили, что была ночью сильная гроза. Толковали еще всякие премудрости о том, что шелк дурной проводник электричества.

— У кого есть что-нибудь шелковое, того никогда громом не убьет, — сказала тетка.

«Слава Богу, — подумала я. — Слава Богу, что у меня есть шелковая ленточка. Если даже в лес заберусь, так и там меня громом не убьет, потому что у няни в коробочке лежит моя ленточка...»

Но все эти ученые мудрости, как и весь разговор о грозе, прошли спокойно. Впечатление страшной ночи осталось во мне на всю жизнь не как гроза, а как разгульный и могучий грохот огромных разбойничьих телег, скакавших по булыжникам при вспышках зловещего таганца.

Слухи о пане Лозинском так и не смолкли. Рассказывали все новые и новые истории. Одна из них очень всех растрогала: разбойник дал большое приданое бедной благородной сироте.

Эта история привела в какой-то болезненный экстаз нашу гувернантку, тихенькую, тоненькую Катерину Петровну.

Описать Катерину Петровну я не смогла бы. Облик ее ускользнул из моей памяти. Помню нежную руку с темной родинкой около пульса. Вышитый воротничок. Ее саму не помню. Помню впечатление от нее: робость, нежность, как бы тихий испуг. Помню ее слова, что семь лет тому назад она кончила институт. Значит, ей было не больше двадцати пяти лет; по тогдашнему времени — старая дева. Читала она маленькие книжки с коротенькими строчками — теперь

понимаю, что это были стихи. Одну из них, в голубом переплете, она называла «Кернер».

Вот эту тихую Катерину Петровну ужасно взбудоражила легенда о пане Лозинском.

— Как вы думаете, нянюшка, — говорила она, — ведь он может и к нам приехать?

Няня успокаивала ее, но она не хотела верить и настаивала на том, что может.

— Ведь здесь есть и деньги, и бриллианты. Он ведь все это знает — отчего же ему не приехать?

И, помню, как-то после такого разговора взяла она меня к себе на колени, гладила ласково мою голову и тихо умоляла:

— Адя, детка, ты ребенок, у тебя душа чистая, и молитва твоя скорее до Бога дойдет. Адя! Попроси Боженьку, чтобы пан Лозинский к нам приехал. Попросишь? Помолись вечером...

И вечером, стоя перед строгим ликом Спаса Нерукотворного, я крепко прижимала сложенные ладошки, не зная, как молиться о разбойнике. Я знала «Отче наш», и «Богородицу», и первую детскую молитву: «Пошли, Господи, здоровья папе, маме, братцам, сестрицам и мне, младенцу Надежде». Которая же из этих молитв годится для разбойника?

Я сокрушенно вздыхала и, сложив руку горсточкой, дотрагивалась ею до полу, как няня в церкви. Все это было за разбойника, но слов для него так и не нашла.

Настала осень.

Мама со старшими братьями и сестрами уехала в Москву. Повезла одних учиться, других — двух старших сестер — веселиться, или, как тогда называлось, «вывозить в свет».

Остались в деревне зимовать мы, две маленькие, а с нами нянюшка, Катерина Петровна для наук и Эльвира Карловна, давно жившая в доме, безбровая, курносая, заведовавшая «общей администрацией».

Закрыли огромную холодную гостиную, перенесли из оранжереи лимонные деревья и кактусы и расставили на зимовку в передней и столовой. По вечерам на черном окне классной комнаты отражались огонек висячей лампы и две

стриженые детские головы и, блестя, шевелились спицы в темных скрюченных пальцах.

А вдруг это и не мы? А вдруг это другие дети там, за стеклом, только днем мы их видеть не можем?

Как-то в сумерки необычно быстрыми шагами вошел наш старый лакей Бартек и сказал Эльвире Карловне:

— Там какой-то барин не то человек, разобрать не могу, но вернее, что не человек.

Ушел и привел с собой гостя.

«Нечеловек» был румяный, плотный, с мокрыми усами и блестящими, веселыми глазами. Всем приветливо поклонился (и мне тоже) и попросил разрешения переночевать. Остановился он в деревне, в корчме, лошадей отправил обратно, а утром за ним пришлют лошадей из Зозуленец, куда он едет по делу. В корчме ночевать не хочет.

Эльвира Карловна согласилась, но как-то довольно холодно. Катерина Петровна не обратила на гостя никакого внимания. Тут же было решено, что ночевать он будет во флигеле, где ему натопят комнату. Пригласили поужинать; он поблагодарил, все очень весело и приветливо, с большим аппетитом поел, много и громко говорил и сразу после ужина отправился спать.

И вот тут-то началось.

Вошла ключница, приложила палец к губам, заглянула за все двери и сказала свистящим шепотом:

— Это он!

— Кто?

— Шшшш... Он. Пан Лозинский.

Немая картина, которой так тщетно добивался когда-то Гоголь в последнем акте своего «Ревизора». Все замерли. Сколько времени продержались бы мы так, я не знаю, если бы не громкий рев сестры Лены, которую нянька схватила на руки.

Дверь распахнулась, и влетел Бартек:

— Повар говорит, что это, наверное, он самый и есть. Пан Лозинский. А то кто же?

— Господи! Что же нам делать? Няня, уведите детей!

Няня встала, держа Лену и ловя другой рукой мою руку, но я крепко уцепилась за Катерину Петровну, решив дорого продать свою свободу.

Катерина Петровна обняла меня и прижала к себе. Носик у нее покраснел, и в широко открытых глазах слезинки. Слезинки, а глаза испуганные и счастливые.

— Не понимаю, — говорила между тем Эльвира Карловна, — что же он один может здесь сделать?

— И очень просто, — отвечал Бартек. — Вот как все заснут, он встанет и свистнет. А как свистнет, так сейчас его молодцы из корчмы прибегут да начнут.

— Так ведь до корчмы больше версты, как же они услышат?

Бартек усмехнулся и пожал плечами, показывая, что удивляется наивности вопроса. Вообще он вел себя совсем не так, как всегда. Это был другой Бартек. Все было другое, «разбойное».

— Это вы полагаете, что молодцы своего атамана не услышат? Ха! Они, разбойники, так свистят, что аж листья с деревьев сыплются. Вот как! Стекла в окнах лопаются, вот как! Глаза у человека из-подо лбу выскакивают, вот как! А вы говорите!

И с каждым «вот как» сильнее прижимала меня к себе Катерина Петровна, и бантик на ее груди бился как живой.

— Надо охрану, — решила Эльвира Карловна. — Ночной сторож ходит? Послать с колотушкой и садовника. А во флигеле в сенях пусть кучер ляжет и конюх.

— Конюха нельзя. Они лошадей сведут.

— Тогда пусть повар и водовоз ложатся.

— Можно пастуха кликнуть.

— Да, и пастуху трещотку.

— Нет больше трещоток. Дадим сковороду, пусть в нее бахает. А я сам на крыльце сяду. Небось, живо смекнет, что все его раскусили. Может, и пронесет Господь.

Катерина Петровна вскочила и, все прижимая меня к себе, бросилась в свою комнату.

Там выдвинула она сундучок и достала с самого дна мятый, слежавшийся кисейный капотик с голубыми лентами. Знаменитый капотик, о котором я много раз слышала, но никогда не видала. А слышал я, что когда выходила она из института, как раз умерла ее бабушка и оставила ей в приданое дутую браслетку и этот капотик, к выпуску сшитый.

— Лежал, лежал, — шептала Катерина Петровна, расправляя руками зажелкшие оборочки, — и долежался...

Я скоро уснула. Но помню ночью свечу в белой тонкой руке и складки пышной белой кисеи. Помню шепот няни:

— Да вы спите, вы не бойтесь, ваша комната в стороне, он туда не залезет.

И помню опять свечу. Она на подоконнике. И тонкая белая фигура прильнула к стеклу...

Рано утром за чаем я вижу ее, Катерину Петровну, в этом удивительном кисейном наряде, и волосы у нее завиты локонами и стянуты голубой лентой.

— А он... этот человек, придет к чаю? — прерываясь, словно плача, спрашивает она, входя.

Эльвира Карловна смеется. Смеется и Бартек.

— Ох, как он хохотал! — рассказывает Бартек. — Так это вы, говорит, меня так хорошо стерегли? Чувствительно, говорит, благодарен.

— Он боялся в корчме ночевать, — вставляет Эльвира Карловна. — При нем были большие деньги...

— Ух, до чего же он хохотал! С Зозуленец лошадей за ним прислали, так и ихний кучер хохотал. Ко-мэ-дия!

Я так заслушалась Бартека, что только после чая заметила пустой стул Катерины Петровны.

Я нашла ее в ее комнате. Она забилась в угол дивана, закуталась в большой серый платок, такая худенькая, точно больная.

Я подошла к ней, но она не приласкала меня.

— Иди, девочка, иди.

И я ушла...

И ничего больше не помню о ней, Катерине Петровне.

Зыбкой, воздушной тенью колыхнулась в воздухе моей жизни и сникла.

Нежная рука с темной родинкой около пульса... кисейные оборочки, ленты... голубая книжечка «Кернер», вы, поэтической меланхолией объявшая далекие мгновения моих дней, может быть, потом, много лет спустя, в бурном и сумбурном потоке зазвенела и ваша тихая струя?

Бессмысленная, голубая, серебряная печаль...

Сентиментальность...

Романтика...

Мать

Благословенны страдания разлуки, и унижения, и обиды, и горький восторг самоотречения. Благословенна всякая любовь. И тысячи раз благословенна та, самая жертвенная, самая обиженная, единственная, в оправдание слов апостольских, «не ищущая своего», — любовь материнская.

Любовь влюбленных нарядна и празднична. В пурпуре и виссоне. Поет и пляшет. Она украшает себя, чтобы овладеть, взять и чтобы сохранить взятое.

Любовь материнская отдает свой пурпур и свой виссон.

В тусклых буднях, в лохмотьях и рубище подымается по высоким скалам, куда ведет ее тихая тень с огненным венчиком на голове, закрывающая бедным плащом грудь свою, пронзенную семью мечами.

И я хочу рассказать о благословенной любви, огромной, могучей, прекрасной, прозвучавшей в нашем тусклом мире божественно звездной, не услышанной нами симфонией, — о любви мадам Бове к ее маленькому мальчику Полю.

В представлении любящего — не замечали ли вы этого? — у любимого есть всегда свой метафизический возраст. Какой-нибудь запечатленный сердцем момент живет в нем вечно. Так, помню я, одна любящая жена, которую муж ожидал в ресторане, спросила у швейцара:

— Не проходил ли здесь сейчас худенький брюнет с черными усиками?

— Нет, — отвечал швейцар. — Старичок один толстенький сейчас пришел — лысый и бритый. Да вот он сидит.

Она обернулась и узнала своего мужа...

Для Шарлотты Бове ее Поль навсегда остался двухлетним мальчиком, толстым, капризным и беззащитным. Он «маленький мальчик Поль». Глядя на кряжистого, коренастого молодого человека с квадратным лицом на короткой шее, она видела пухлое личико с ямочками на щеках. Она мылит его кудрявую голову, он стоит, коротыш-обрубышек, в лоханке. Он не плачет, а только кряхтит и, вытянув короткую ручонку, со всей силы щиплет ей грудь. Ей больно. Маленькие пальцы, с острыми, как стеклышки, ноготками, впива-

ются крепко, и давят, и рвут кожу, а она смеется от нежности и умиления, что он, такой жалкий, защищается и не может изничтожить ее, как бы хотел, за то, что она его моет...

— Поль! Маленький мальчик!

Мадам Бове молодость свою прожила в России. Была бонной. Вышла замуж за француза-кассира. Похоронила мужа и, после революции, привезла своего Поля, уже семнадцатилетнего юношу, в Париж.

Продолжать образование Поль не захотел. Решил заниматься делами. Продавал в рестораны русскую наливку и копченую рыбу. Мадам Бове вязала шарфы и кофты. Жили в предместье Парижа и голодно, и холодно. К Полю ходили два товарища — француз и русский. Съедали все, что было в доме, а иногда оставались и на ночь. С мадам Бове они никогда не разговаривали и даже как бы не замечали ее присутствия. Курили, играли в карты. В разговорах часто упоминали слово «индюк».

— Поль, прикажи индюку!..

— Ты совсем распустил индюка.

— Нельзя ли выдрать из индюка хоть два перышка на метро?

— Негодяй индюк. Набил себе брюхо каштанами, а о других и не подумает.

Она скоро поняла, что «индюк» — это ее прозвище, но не смела обидеться. Она боялась мальчишек, боялась, что они уведут Поля из дому. Он постоянно грозился уйти, был требователен, и груб, и всегда всем недоволен.

— Лакай сама свой кофе — я этой мерзости пить не стану.

— Пополь, милый. Ведь я же тебе отдала весь сахар. Видишь — я сама пью совсем без сахара.

— Идиотское рассуждение. Мой-то кофе от этого не стал слаще.

Пришла пора, когда мальчишки окончательно прогорели и засели у Поля прочно. Валялись, курили и от нечего делать издевались над индюком, совсем уже не стесняясь.

И вот на мадам Бове нашло вдохновение: она долго и усердно рылась в старой картонке, в мешках и тряпках и разыскала тетрадку с адресами. Затем пошла. Так началась новая эра ее жизни.

Она разыскала русских эмигрантов, которых знала когда-то, и выклянчивала по нескольку франков. В первый день она сразу получила целых сто и, задыхаясь от стыда и гордости, принесла деньги Полю. Радостно блеснувшие глаза были ей упоительной наградой. Он даже обнял ее.

— Индюк, милый, да ты у меня молодец.

Она улыбалась, поджимая губы, чтобы не кричать, не визжать от чрезмерного счастья.

С этого дня она словно вошла в компанию мальчишек. Даже держать себя стала как-то молодцевато.

— Индюк раздобудет двадцать франков.

— Индюк молодчина.

Она чувствовала себя старшим товарищем, с которым считаются, на которого рассчитывают. За долгие годы унижения она была вознаграждена признанием. И работала на совесть. Уходила в город с утра. Выпивала стоя в бистро чашку кофе, часто без хлеба — это был ее обед, — и обходила свою клиентуру. Она занимала у самых безнадежных людей: у булочницы, которой была должна, у старой русской няньки, у бедной учительницы, у французского генерала, у портнихи, которая когда-то в первые парижские дни переделала ей платье, у русского писателя, у польского парикмахера. Не двадцать франков, так десять, не десять, так два. Все равно. Она уже не смущалась неласковым приемом. Она его и не замечала. Садилась и начинала без всяких предисловий нудным, скрипучим голосом:

— Мальчику обещано место. Нужно переждать только девять дней. Но ведь нужно же чем-нибудь питаться эти девять дней. Если считать только... восемь франков в день, то и то...

— Через четыре дня мальчику велено прийти на службу. А в чем он пойдет? Пальто заложено за тридцать, да проценты...

Или:

— Мальчик устроился великолепно. Надо только дотянуть до первого жалованья, а консьержка ждать не соглашается...

Скоро все издали узнавали ее серую фигуру, шляпку с фазаньим перышком, по которому, как по желобу, стекал дождь

на правое плечо, ее худые пружинящие ноги на криво стоптанных каблуках. Узнавали и перебегали на другую сторону. И если она не успевала догнать, то пряталась в подъезд, ждала, пока жертва вернется.

Скромная и честная по природе, она не чувствовала ни стыда, ни своей лжи. Она работала для «маленького мальчика» — коротышки, капризного и беззащитного. Он вырос, но ведь, в сущности, он тот же самый.

— Мой маленький мальчик! Смотри, что тебе принес твой верный индюк! Семнадцать франков. Рад?

Но «работа» становилась все труднее. Жертвы все спокойнее и резче отказывали и хладнокровно захлопывали дверь перед носом. Заработки упали до пяти-шести франков в день. И сразу круто изменилось ее, с таким трудом завоеванное, домашнее положение. Мальчишки ушли. Поль перестал с ней разговаривать. Потом стал пропадать по два, по три дня. Из отрывочных слов она поняла, что он служит в каком-то гараже... Потом раз пришел после долгой отлучки принаряженный и припомаженный и сказал, что женится на Эрнестине, дочке владельца гаража, но что новой родне показываться незачем.

«Он стыдится меня, бедный мальчик!» — подумала мадам Бове, и сердце ее сжалось печалью и нежностью.

«Да, мною не погордишься, Пополь, крошечный мой...»

Пошли длинные мертвые дни в тихой комнате. И так было тихо, что она сама стала ходить на цыпочках — был бы страшен стук, как шаги в склепе — в доме мертвых.

Она получила печатную карточку о свадьбе Поля Бове с мадемуазель Эрнестиной Клу.

Эрнестина... Какое страшное, сердитое имя. Злое «р». Она должна быть черная, с длинным носом. Некрасивая. А если красивая, то тем хуже, тем сильнее отнимет маленького мальчика. Вот он даже не зашел перед свадьбой. Верно, та не пустила его, не хотела, чтобы мать благословила. Эрнестина... Эрнестина...

Она разговаривала с Эрнестиной, прощала ей все за то, что мальчик ее полюбил, и за это же ее ненавидела. Особенно мучила мысль, что ведь он, наверное, с ней разговаривает...

«Но ведь супружеское счастье редко бывает длительно. Мальчик разочаруется и придет к своему верному индюку отдохнуть душой. Хоть на минутку, да придет».

И она мечтала, как пятнадцатилетняя девочка, представляла себе неожиданную катастрофу.

«Эрнестина утонула, сгорела, но маленький не горюет, потому что уже разлюбил. Эрнестина нечаянно отравилась... нечаянно...»

Она вздрогнула — так испугал ее свалившийся с колен клубок.

Мертвые дни убивали. Она постарела, опустилась, стала неопрятна, забывала причесаться. Выходила раз в неделю, чтобы отнести работу и купить хлеба, сыра, яиц. Работала плохо, просчитывала петли, распарывала, приносила вязанье затрепанное и грязное. Так и жила в своих мертвых днях.

И вот раз утром постучали в дверь настойчиво и твердо.

Нехотя открыла:

— Маленький!

Зазвенела, запела, закружилась вся комната. Зашевелились занавески на окнах — дышать, дышать! — загудел кран, задребезжала крышка кофейника, запищали половицы, затрещал старый шкаф, заскрипело соломенное кресло, расправляя сиденье и ручки... Живет, живет, все живет!

— Садись, маленький, крошечный мальчик! Вот ты и пришел.

Он с недоумением и неудовольствием смотрит, как она плачет.

— Какая ты вся старая и грязная...

Его голос. Он говорит. Какая все-таки чудесная штука — жизнь!

Пополь оставался недолго. Ничего определенного не рассказал, но она сердцем узнала, что он Эрнестину не любит.

Узнала еще, что гаражист стар и хворает, что все дело перейдет к Полю. Но это не главное. Главное для нее было то, что маленький Эрнестину не любит.

Пошли дни живые и мертвые.

Иногда так ясно чувствовалось, что мальчик сегодня придет. И тогда она причесывалась и наряжалась.

Может быть, он полюбил Эрнестину? Пусть. Она сама готова помочь ему внушить, что Эрнестина милая и хорошая. Только бы он был счастлив. А ведь ей все равно, кто опустошил ее жизнь — хорошая или злая. Умерла ли она от меча или от укола грязной булавки. Та же смерть. Та же пустота...

Долго шли дни живые и мертвые. Потом оборвались: приехал Поль. Одутлый, бледный и растерянный.

— Они меня обманули, — сказал он. — Эрнестина беременна, и старик все оставит ребенку. А я буду всю жизнь на них работать. Мать! Помоги мне. Придумай что-нибудь.

Эрнестина беременна. Вот ужас, о котором она, мадам Бове, и думать не смела. Ребенок! Ведь ребенка можно так сильно полюбить... Вот это, вот это то, что страшнее всего. Это уведет Поля навсегда... Но надо ответить ему. Он смотрит злобно и жалобно и ждет.

— Чего же ты хочешь, маленький мой? Может быть, все будет хорошо и ты полюбишь своего ребеночка.

Она потом часто видела во сне его дрожащее мелкой зыбью, страшное яростью лицо.

А через несколько дней пришло от него письмо по-французски.

«Милая мама! Моя жена и я едем завтра в Шартр. Мы заедем за тобой. Целую. Поль».

Странное письмо. Точно по заказу.

Они приехали вечером.

— Мы переночуем у тебя, а утром поедем. Ты прокатишься.

Эрнестина — высокая, плоская, серая, очень некрасивая. Жена мальчика... Мадам Бове хочет обнять ее и заплакать. Жена мальчика... Вот это тепло минутное в груди своей она потом долго помнила. Все остальное, такое необычайное, небывалое, чудовищное и простое, легло зыбким туманом на самое дно жизни.

Помнила — они ночевали, и во сне Эрнестина плакала. Рано утром выехали. Поль на руле, она с Эрнестиной рядом. Эрнестина справа.

Потом в лесу Поль вдруг остановил машину и слез. Лицо у него было испуганное и упрямое, мучительно на-

пряженное. Он подошел с правой стороны. Она хотела спросить, что случилось, но не посмела — ужасно страшно было его лицо, так страшно, что раздавшийся выстрел даже не испугал мадам Бове — этот выстрел она видела в его лице.

Потом он быстро вскочил на свое место и двинул автомобиль, а Эрнестина опустила голову и осела к плечу мадам Бове. Ощущение этого тела и запах шерстяного шарфа Эрнестины мадам Бове помнила и чувствовала много, много дней.

Когда показались дома селения, Поль повернулся к ней и крикнул:

— Ее подстрелили бандиты, но мы не видали их. Поняла?

И пустил машину.

Когда ее вызывали как свидетельницу на допрос и она увидела арестанта с лицом грубым и толстым на короткой шее без воротничка, она не сразу узнала в нем сына.

«Это преступник», — подумала она с отвращением.

Идиотская выдумка о бандитах была сразу разбита. Поль привлекался как убийца.

— Но ведь он очень, очень любил свою жену, — тупо повторяла мадам Бове.

— Я невиновен, — жалобно сказал Поль.

Она повернула голову на этот голос и увидела его глаза.

Его глаза спрашивали ее: «Ну что же ты?»

Молили: «Помоги! Придумай!»

Она смотрела спокойно и думала с отвращением:

«Преступник».

И вдруг что-то дрогнуло у него в губах, шевельнулось в бровях, чуть заметные ямочки наметили щеки... Мальчик! Маленький мальчик, это он... Это он!

И вдруг, не помня себя, не зная, что делает, она рухнула на колени и закричала голосом всего своего тела:

— Прости меня, маленький, прости меня!

И он ответил громко:

— Мама, бедная.

И тихо прибавил:

— Я прощаю тебя.

Этого чудовищного «я прощаю тебя» она уже не слышала. «Мама, бедная» таким звоном кимвальным оглушило душу, что она потеряла сознание.

Когда через много дней ее везли из тюрьмы в суд, усиленный конвой охранял от «народного негодования ведьму, убившую невестку из ревности к сыну».

Она была страшна. Сухое лицо, острое, как сабля, выглядывало из-под шляпки со сломанным, отслужившим службу фазаньим пером. Покрытое красными пятнами нервной экземы, оно казалось пылающим. Сизые губы улыбались, и в черных орбитах, дрожа, исходили жемчужным светом глаза.

Ревела толпа:

— Она смеется, чудовище!

— На гильотину!

— Смерть старому верблюду!

— Смерть старому верблюду...— повторяли ее губы и улыбались блаженно.

Может быть, она и не понимала в полной мере, что она повторяет. Даже наверное не понимала. Свет и звоны наполняли ее мир. Огромная симфония ее жизни, божественная и жестокая, разрешалась наконец аккордом, благодатным и тихим.

— Так и должно было быть. Только так — мудро и прекрасно. Вот он отец, утоляющий жажду распятых.

Благословенна любовь.

Жена

«Надо работать, надо спешить...» — думал Алексей Иваныч, с тупым любопытством разглядывая свою рваную войлочную туфлю, из которой сбоку вылезала красная суконка.

«Почему они внутрь вшили красную суконку? Для красоты, что ли?.. О чем я думал? Ах, да: надо работать, надо спешить...»

В дверь быстро, коротко стукнули:

— Алексей! Завтракать!

Значит, все утро уже прошло... И ничего не сделано. Ниче-го!

Он вздохнул и вышел в столовую. Сел за стол. Не глядя, видел короткие пухлые руки, подвигавшие к нему нож, вилку, хлеб.

— Работал?

Вот оно, самое неприятное.

— Как тебе сказать... Очень уж плохо спал сегодня.

— Не надо было вечером кофе пить. Ведь знаешь, что не надо, а пьешь.

Она поставила перед ним тарелку с куском жареного мяса, твердо, упруго блестевшего, как кусок футбольного мяча.

— Бифштекс.

Алексей Иваныч уставился на бифштекс так же тупо, как только что смотрел на войлочную туфлю.

— Чего же ты? — спросила жена.

— Гм... Бифштекс. А не найдется ли у тебя чего-нибудь другого? Вроде печенки, что ли.

— Печенки в рот не берешь. Ешь бифштекс.

— Гм... Пожалуй, это верно. Только, видишь ли, я, говоря про печенку, подразумевал что-нибудь вроде макарон или спаржи...

— Ешь бифштекс, — искусственно спокойно отвечала жена. — Ты любишь бифштексы.

Он покосился на нее. Увидел пухлые, вялые щеки, упорно сжатый рот и опущенные глаза. Сердится.

Он вздохнул.

— Да? Люблю? Ну ладно. Если люблю, буду есть. Только отчего он такой голый и черный... как негр?

И сейчас же испуганно прибавил:

— Впрочем, он отличный, отличный.

Пилил упругое мясо тупым железным ножом, смотрел на противный розовый сок, сочившийся из надреза, и, преодолевая тошноту, вяло думал: «Надо работать. Как странно, как тяжело спит душа...»

— Советую тебе после завтрака сразу сесть к роялю и сочинять, — сказала Маня. — Не забудь, что в три часа придет француз из газеты, а в четыре ученик.

Алексей Иваныч молчал.

Жена заговорила снова, и голос ее задрожал:

— Что... есть надежда, что ты к четвергу закончишь ноктюрн?

Алексей Иваныч покраснел:

— Ну разумеется. Времени бездна. Главное, ты не волнуйся... И отчего ты ничего не ешь?

— Не хочется. Я с удовольствием выпью кофе.

Она встала и подошла к буфету, повернувшись к мужу спиной. Потрогала на буфете чашки и снова села. Ясно было, что просто спрятала на минутку свое лицо. Что это значит? А ведь, пожалуй, у них просто денег нет...

«Я насильно ем бифштекс, от которого меня тошнит, а она сидит голодная, — подумал он. — А если заговорю, начнет раздражаться. Да и нет сил заговорить...»

— Не забудь побриться, — говорила жена. — И переоденься, нельзя же так. А сейчас иди и сочиняй. Помни, что нотный издатель велел к четвергу, иначе ноты к концерту не поспевают и тебе же будет хуже. В четверг, как пойдешь к нему, заодно можешь там сняться рядом в фотографии. Ты не сердись на меня. Надо же, чтобы кто-нибудь обо всем этом подумал.

Он поднял на нее глаза. Какая она усталая. Губы совсем голубые... Надо сказать ей что-нибудь ласковое.

— Манюся! Какая у тебя славная кофточка! Очень тебе идет.

Она посмотрела на него даже с каким-то ужасом:

— Эта кофточка? Да я ее ношу второй год. Бумазейная рвань. Что, ты ее сейчас только заметил, что ли?

— Нет... нет... я только хотел в том смысле, что ты вообще умеешь одеваться. Ну, я иду заниматься.

В салончике было холодновато, и черный лак пианино блестел официально, жестоко и требовательно. Исчирканные листы нотной бумаги оползнями свисли с крышки.

Алексей Иваныч запер поплотнее дверь, шумно двинул табуретом, взял несколько совершенно к делу не относящихся аккордов и затих.

Вот здесь, в этих пачках, его ноктюрн, который он должен закончить. Да. Закончить. Но сегодня он не сможет дотронуться до него. Не может проиграть, услышать,

войти в этот мир, который он, как Бог, создал из ничего. Там пение звезд, и взлеты серебряных крыльев, и холодное небо, льющее из золотой чаши лунное вино, мертвое и страстное.

Человек в этот мир входит трепетно, весь отрешенный, белый-белый, идет медленно, не помня, не зная, ощупью... И вот есть момент, когда звук, созвучие, созвучное не только звукам, составляющим его, но и тому неизъяснимому мелодийному колебанию, которое «ноет», поет в самой неосознанной глубине, возьмет и поведет, и уведет... Господи.

— Я тебе не помешала?

Жена приоткрыла дверь.

— Я только хотела сказать, что все ноты с полу я положила сюда, наверх. Может быть, ты их как раз и ищешь...

Ушла.

Сердце заколотилось с перебоями...

Да. Нужно работать.

Если бы здесь был диванчик, можно было бы прилечь на минутку... Хотя она может войти... Бедная Маня!

Маня убрала посуду, вымыла в кухне пол. Посмотрела в ужасе на свои руки.

— Ручки, ручки, гордость моя...

И тут же строго одернула себя:

— Все равно. Ничего не жаль. За все слава Богу, лишь бы он, Алеша...

Теперь, значит, нужно привести себя в порядок. Придет француз из газеты. Нужно, чтобы беседа появилась до концерта в Лондоне, чтобы легче было получить аванс. Да. Аванс. Купить фрачную рубашку, лакированные башмаки... Что бы он делал без меня? Совсем несмышленыш.

Вспомнила, как он похвалил ее грязную кофту, засмеялась, и тихое умиленное тепло обволокло душу.

«Маленький ты мой, глупый ты мой! Грубо я с тобой сегодня говорила... Да что поделаешь. Измучилась я. От бедности все это, маленький мой. И пусть измучилась, пусть облик человеческий потеряла, лишь бы тебе помочь хоть как-нибудь».

Захотелось взглянуть на него.

Он сидел у пианино, низко опустив голову, закрыв глаза.

— Алеша! Испугала? Чего ты так все горбишься? Ты и на эстраде всегда согнешься, как карлик. Пластрон этот самый крахмальный колесом выпрет и коленкор наружу тянет. Сидишь, как горбун. Смотри, Рахманинов как красиво сидит, а он длинный, ему труднее...

Алексей Иваныч молча смотрел на нее непонимающими тусклыми глазами.

— Чего ты? Устал? А знаешь, по-моему, этот твой ноктюрн будет прямо замечательный. Я бы только на твоем месте играла его гораздо громче. Публика любит, когда громко играют. Могущественно. И еще ужасно любит публика колокола. Громко на басах и колокола. Все всегда потом в антракте хвалят. И еще хорошо, если очень тоненькое пиано... Понимаешь, они все считают, что это очень трудно и что именно это надо хвалить. Уж ты мне верь. Я в антрактах все разговоры подслушиваю. Что тебе стоит — пусти им колокола.

Алексей Иваныч все так же бессмысленно молчал.

В передней затрещал звонок.

— Боже мой! — вскочила Маня. — Француз пришел! Беги скорее в спальню... Башмаки... Пиджак...

Вошел приятный молодой француз. С восторгом и благоговением окинул взором два рваные кресла и пианино. Остановил взор на портрете Чайковского и, понизив голос, спросил:

— Достоевски?

Маня торжественно предложила сесть. Села сама, заложив юбку складкой на масляном пятне и прикрыв шарфиком дыру на блузке.

— Муж сейчас выйдет.

— О! О! Маэстро, наверное, работает, — застонал француз.

Но маэстро сейчас же выскочил.

«Так и не переоделся», — вздохнула Маня.

Опустила глаза и замерла: на одной ноге у маэстро был желтый башмак, на другой лопнувший лакированный.

Алексей Иванович сел и от смущения очень непринужденно заболтал лакированной ногой.

— Мосье много работает? — деловито нахмурив бровь, спрашивал француз.

Алексей Иванович добродушно усмехнулся и стал чесать за ухом, готовясь к откровенному признанию.

Но Маня не дала ему времени.

— Очень, очень много, — отвечала она. — У нас сейчас масса работы... Заказы из Вены, из Нью-Йорка.

Алексей Иванович смотрел на нее в ужасе. Француз безмятежно записывал в книжечку.

— Масса работы, — делая вид, что не замечает взгляда мужа, продолжала Маня. — Да, да... и задумана большая опера... К ней приступят летом, на юге... Тема? Современная. Только это пока секрет. Переговоры ведутся с Америкой...

— Маня! Что же это за брехня? — робко по-русски прошептал Алексей Иванович. — Нельзя же так...

— Убедительно прошу не мешать. Все так делают...

— Чьим учеником считает себя маэстро? — спрашивал француз.

— Ничьим! — гордо отрезала Маня. — Он самобытный. Он говорит: у меня учатся, а мне учиться не у кого и нечему.

Алексей Иванович набрал воздуху, втянул губы и со стоном выдул:

— У-ф-ф-ф!

— Любимый автор мосье?

— Э-э-э... Дебюсси! — отчаянно неслась Маня... — Дебюсси. Молчи и не перебивай. Для французов нужно, чтобы ты любил французскую музыку. Молчи.

— А из русских авторов?

— Мусоргский. Молчи. Французы больше всего уважают Мусоргского.

Сразу после француза пришел ученик. Алексей Иванович уныло смотрел на худощекого мальчишку, унылого, уши лопухом, и думал решительно и горько:

«Я подлец. Если бы я был честным человеком, я сегодня же пошел бы к его маменьке и сказал бы: маменька, ваш сын безнадежно бездарен, поэтому считайте, что я три раза в неделю залезаю в ваш карман и краду у вас по тридцать франков. Три раза... Раз, два, три, раз, два, три...»

— Что это вы играете? — очнулся он. — Что за брехня! На сколько делится?

— На четыре четверти, — уныло протянул ученик.

— Так зачем же вы считаете на три?

— Это вы считаете, — робко ответил тот.

— Я? Форменное идиотство... Кстати, вы разве любите музыку?

— Мама любит.

— Может быть, лучше бы она сама и играла...

Ушастый мальчик ушел. Хорошо бы прилечь... Но Мане будет обидно. Ей всегда кажется, что он валяется в те часы, когда мог бы «творить». А никогда не поймет, что именно в те часы, когда творить не может...

— Маня, кажется, у меня этот урок сорвется. Мальчишка бездарен.

— Да тебе-то что? Хочет учиться, так и пусть.

— Нет, я так не могу. Это мне тяжело.

Она опустила голову, и он видел, как задрожало ее лицо.

— Маня! — крикнул он. — Только не плачь! Голубчик! Я на все согласен, только не плачь.

Тогда она, видя, что все равно слез уже не спрячешь, громко охнув, повалилась грудью на стол и зарыдала.

— Тяжело! Ему тяжело!.. Мне очень легко! Я молчу... я все отдала... Разве я женщина? Разве я человек? Отойди от меня! Не смей до меня дотрагиваться... Не за себя мучаюсь — за теб-бя-а! Ведь брошу тебя — на чердаке сдохнешь! Уй-ди-и!

— Милая... Милая!.. — мучился он. Топтался на месте, не знал, что делать... — Милая... Ты успокойся. Ну, хорошо, я уйду, если тебе мое присутствие... и немножко пройдусь...

Она оттолкнула его обеими руками, но когда он был уже на лестнице, она выбежала и, свесившись через перила, прокричала:

— Надень кашне! Ненавижу тебя... Не попади под трамвай.

Был вечер ясный и радостный, не конец дня, а начало чудесной ночи.

Алексей Иванович закинул голову и остановился.

— Умрешь на чердаке... — прошептал он, подумал и улыбнулся. — Собственно говоря, так ли уж это плохо?

Он повернул лицо прямо к закатному пламенно-золотому сумраку, вдруг запевшему, загудевшему для тайного тай-

ных души его таким несказанно блаженным созвучием, что слезы восторга выступили на глазах его.

— Господи, Господи! Бедная ты моя, милая... Так ли уж это плохо?

Лавиза Чен

Прошли по земле страшные годы. Пронесли события огромного мирового значения.

Почернела, осклизла земля от крови и дыма.

Но, если оторваться от нее, от земли нашей, подняться до Марса, до Урана, до планетоидов, еще дальше, еще выше в Безымянное — не покажется ли оттуда весь ужас, весь хаос отчаяния наших войн и революций просто чем-то вроде сумбурной неразберихи неудачного хозяйственного предприятия...

В ту весну, о которой я говорю, когда порозовели рассветные облака и сладострастно всей грудью застонали голуби под крышей над окошком шестого этажа, произошло также событие огромного мирового значения, но в мире, нами не знаемом, закрытом от нас столь же чудесно, как непостижимые миры запланетного пространства.

Вот в этом самом окошке шестого этажа произошли катаклизмы, столкнулись светила, дрогнула вселенная, раскололся хаос, родилось солнце. Катя Петрова, ученица консерватории по классу пения, сказала пианисту Евгению Шеддеру слова библейской Руфи:

— Пойду за тобой, и твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом.

Но пианист Шеддер, кажется, этих слов не расслышал...

Они познакомились на концерте. Вместе вышли, и он проводил ее домой, на другой день зашел сам, без зова. С этого и началось.

Катя удивлялась, пугалась — почему он приходит. Не чувствовалось, что она ему понравилась. Он на нее не смотрел и ни о чем не спрашивал. Он все время говорил сам, и вдоба-

вок о своей любви к другой женщине, к какой-то певице Лавизе Чен, которой он аккомпанировал на концертах. О себе и о Лавизе Чен. О Кате Петровой, испуганной и покорной своей слушательнице, он не говорил ни слова.

Он рассказывал о таланте Лавизы Чен, еще больше о ее очаровании, умении нравиться, покорять и властвовать, говорил загадочно и поэтично.

— Она дала мне только одно утро и один день и только один вечер и одну ночь — но это путь солнца.

Катя Петрова пудрила свое узенькое личико и прикалывала бантик то к плечу, то к поясу (один только бантик и был), но он ничего этого не видел. Он садился у окна, в профиль. Его резкий горбатый нос четко вырисовывался на розовом небе белой ночи. Катя ежилась на своей оттоманке и слушала о чудесной любви к чудесной другой женщине, которая умела выбирать духи, цветы, умела одеваться и внушать чудесную любовь.

У Кати был милый голосок, но ни разу не посмела она спеть при Шеддере.

— Когда поет Лавиза Чен, вы слышите не голос, а могучий зов из вечности в вечность через путь восторга и страсти.

Ну где ж после этого петь.

Она узнала обо всех платьях, обо всех ариях и обо всех поклонниках Лавизы. Она узнала о ее привычках, манерах, любимых словах и улыбках. А потом, ставши женою Шеддера, о поцелуях Лавизы, о ее родинке на левой груди, о ее любовных капризах и ласках.

Говоря о Лавизе, Шеддер иногда вставал с места, садился около Кати на оттоманку и задумчиво гладил ее по руке. И это легкое прикосновение точно перебрасывало легкий хрустальный мостик, по которому, дрожа и холодея, переходила она в неизъяснимый мир чудесной любви, входила в него этим своим трепетом, и биением сердца, и всей, доселе неизведанной, сладкой мукой любовного томления.

И когда он приходил усталый (время было тяжелое, и каждый шаг его был сложен и труден) и молчаливый, она сама говорила:

— Расскажите мне о ней, о Лавизе Чен...

Случился такой вечер, что Шеддер не мог прийти. Улицы были почему-то оцеплены, кто-то на кого-то восстал, не то меньшевики, не то эсеры — не все ли равно? — главное, что его на Катину улицу не пропустили.

На следующий вечер, очевидно, эсеры успокоились, и Шеддер пришел.

— Это очень неудобно, — сказал он. — Меня могут опять не пропустить. Может быть, нам лучше жить вместе.

Она хотела что-то ответить, покраснела, задохнулась и, прижавшись к его плечу, заплакала.

Оба они молчали. Он от удивления и некоторой растерянности, она — от того, что слушала, как душа ее говорит слова библейской Руфи: «Пойду за тобой, и твой Бог да будет моим Богом, и твой народ будет моим народом».

А на другой день они пошли в комиссариат, где под портретом Маркса и незнакомого еврея — кажется, Троцкого — худосочная девица в истрепанном кружевном платье, очевидно когда-то бывшем бальным, обвенчала их, пришлепнув печатью паспорта.

А вечером Евгений Шеддер перевез в комнату Кати Петровой свое имущество: рваный чемоданчик, ноты и одиннадцать портретов певицы Лавизы Чен, все в рамках.

У певицы было довольно тяжелое лицо с резко выдвинутым подбородком и толстые плечи.

— Ни один из этих портретов не передает ее. Ее передать можно только гениальной музыкой и разве еще... виртуозной лаской.

Но его ласки не были виртуозны. Кате иногда казалось, что торопливыми и точно рассеянными поцелуями он старается поскорее отделаться от чего-то ненужного и лишнего. И никогда не говорил он ей ласковых слов и, если чувствовал себя утомленно-разнеженным, отходил к своему любимому месту у окна и с большим умилением говорил о самом себе: о своем таланте, который людьми не оценен, о своем уме, о своем отце, замечательном и гордом аптекаре, о женщинах, любивших его нечеловеческой любовью, и жестокой судьбе, не давшей ему того, на что он имел право.

И потом снова о Лавизе Чен...

Когда он засыпал, Катя садилась на его место у окна, слушала шорох просыпающихся голубей и сладострастные

их стоны, смотрела на розовеющие облака ночи и думала о мутной воде своего счастья.

Мутная вода. Такой воды кони не пьют...

Пьют кроткие овцы да вьючные животные.

Жизнь там, внизу, на земле, была тяжелая, хлопотливая и голодная.

Шеддер получил приглашение в Одессу, играть в оркестре.

Уложили бедное свое тряпье и одиннадцать портретов Лавизы Чен и поехали.

Там, в Одессе, на каком-то концерте Катя в первый раз услышала игру Шеддера. Он играл сухо, твердо, сердито. Словно бранился пальцами.

— Хорошая техника, — сказал кто-то.

Вечером Шеддер долго хвалил перед Катей свое исполнение. В Одессе вообще он стал реже вспоминать о Лавизе Чен и больше говорил о себе. И после каждого такого разговора относился к Кате презрительнее и холоднее.

С первой эвакуацией они попали в Константинополь и оттуда в Берлин.

Шеддер службы не нашел. Жил случайными аккомпанементами. Катя, знавшая кое-как немецкий язык, поступила продавщицей в книжный магазин. Там неожиданно встретилась с бывшей подругой по консерватории.

— Почему же ты бросила пение? — удивилась та. — У тебя прелестный голос. Могла бы устроиться здесь в каком-нибудь хоре.

Катя сама не понимала почему.

— Кажется, я потеряла голос, — растерянно ответила она.

Но, вернувшись домой, вспомнила о разговоре и, подойдя к пианино, на котором Шеддер разыгрывал свои сухие сердитые упражнения, взяла несколько тихих аккордов и, подбирая по слуху, запела когда-то любимый романс: «Мне грустно потому, что я тебя люблю».

И, слушая, как чудесно и полнозвучно встал ее голос на второй ноте, на длинном глубоком «у», она вдохновенно и восторженно допела романс, как помнила, путая слова, и повторяя мелодию, и радуясь. И вдруг почувствовала что-то страшное, остановилась и обернулась.

Страшно было — Шеддер, его лицо. Он стоял в дверях и смотрел в злобном недоумении.

— Что это? Что это значит? Ты поешь, как прачка, перевираешь мелодию. Что это за аккомпанемент?

— Я не знала... что ты вернулся, — бормотала Катя.

Это все, что она могла сказать себе в защиту.

Он пожал плечами.

— А если соседи слышали? Хорошенькое мнение они составят о твоей культурности.

И, уходя, уже повернувшись спиной, прибавил:

— И глупо лезть в закрытую дверь. Искусство не терпит посредственностей.

Очень редко вспоминал он о Лавизе Чен. И не жаловалась больше Катя розовому небу на мутную воду своего счастья. Счастья совсем не было.

Шеддер похудел, почернел — его дела были очень плохи. Жили на бедный заработок Кати. Почти не разговаривали. Самим было странно, почему живут вместе в одной комнате унылая Катя и вечно раздраженный пианист.

Как-то утром, когда Шеддер еще лежал в постели, Катя, проходя через комнату, задела его башмак.

Он привскочил на своей постели, побелевший от злости, с выкаченными глазами:

— Вы... вы задели мой башмак, — дрожа и задыхаясь, кричал он. — Вы нарочно задели мой башмак!

Катя в ужасе глядела на его бешеное лицо, и смеялась, и плакала, и кусала себе руки, чтобы не слышали соседи ее исступленного визга, сдержать которого она не могла.

А когда он ушел, она подошла к камину и ласково и грустно стирала пыль с одиннадцати портретов Лавизы Чен, точно убирала цветами дорогую могилу.

— Странное мое счастье, ты, ты — Лавиза Чен.

И вот случилось необычайное.

В воскресенье, когда свободная от службы Катя была одна дома, вбежал Шеддер, восторженный и бледный.

— Катя, приготовь мне скорее фрак. Боже мой! Боже мой! Если бы ты знала! Я вернусь только ночью.

Он задыхался. И вдруг, подойдя к Кате, обнял ее, крепко прижал к себе, как никогда, и сказал, закрыв глаза:

— Лавиза здесь, Лавиза Чен.

И Катя обняла его голову и целовала глаза, как никогда.

— Катя, меня вызвал Дагмаров. Она в Берлине. Сегодня выступает в концерте и узнала, что я здесь. Сейчас он везет меня к ней прорепетировать, и потом прямо вместе в концерт. Катя! Лавиза Чен...

Он метался по комнате, как пьяный, собирал ноты, одевался, смотрелся в зеркало, и видно было, что не видит себя.

— Лавиза Чен! Единственная в мире Кармен!

Когда он ушел, Катя подошла к одиннадцати портретам и тихо спросила:

— Что же мне теперь делать?

Она не знала даже, как быть с концертом. Пойти? Как же она увидит Лавизу? Он, он, Евгений Шеддер, будет рядом с ней на эстраде. Запоет, зазвенит, засверкает весь тот чудесный мир, одна тень которого была ее солнцем.

Отчего он не позвал ее на концерт? Даже не сказал, где это... Надо пойти. Сесть где-нибудь подальше и оттуда глядеть на них, на обоих вместе... видеть их вместе в их чудесном мире.

Концерт был в небольшой зале и не очень блестящий по составу. Кроме Лавизы Чен, Катя не знала ни одного имени в программе.

Но... «Лавиза Чен, ария из оперы “Кармен”».

Когда сверкнуло на эстраде вышитое блестками платье, Катя закрыла глаза.

— L'amour est un enfant de Bohéme[1], — закричал резкий надорванный голос.

Катя вздрогнула.

На эстраде стояла коротенькая, очень толстая дама с большой, тяжелой головой и, выпятя вперед подбородок и яро ворочая глаза, лихо разделывала:

— «Qui n'a chamais, chamais connu de loi...»[2]

— Chamais![3] — не выговаривала «j».

[1] Любовь — дитя богемы (*фр.*).

[2] Никогда, никогда не знавшее закона... (Искаж. *фр.*)

[3] Никогда! (Искаж. от *фр.* «jamais».)

— Chamais!

А у рояля черная скрюченная фигурка долбила крепким носом по клавишам.

Дятел. Долбонос.

Кто-то в публике свистнул. Кто-то засмеялся. Зашептали, шикнули...

— Лавиза Чен! Лавиза Чен! Горькое счастье моей жизни. Лучшая в мире Кармен! Иди спать, старая дура!

Публика с последних рядов с удивлением оборачивалась на маленькую бледную женщину, которая глядела на эстраду, сама с собой разговаривала и горько плакала.

В антракте, когда она пробиралась к вешалке, ее окликнул Шеддер.

— Куда же ты? Пойдем, я тебя познакомлю. Она все-таки может быть полезной, если ты захочешь заняться своим голосом.

Он был растерянный и ужасно жалкий.

— Ты слышала ее? Она очень изменилась... Да...

Он криво усмехнулся и вдруг погладил Катину руку.

Она уныло отвернулась.

Залебезил долбонос. Чего ему от меня нужно?

— Так пойдем к ней?

Маленький, кривоносый дятел.

— Нет, я устала. Оставьте меня! Только об одном и прошу — оставьте.

И, сжавшись, чтобы не дотронуться до него плечом, прошла к выходу.

Мара Демиа

В пограничном австрийском городке, в шесть часов вечера, в лучшей гостинице этого городка, в третьем этаже, на подоконнике выходящего во двор окна сидела маленькая женщина, вся в ленточках и оборочках, вся подкрашенная и раздушенная, и просто и прямо, как древний Израиль, говорила с Богом.

Правда, смешно?

Говорила не ритуальным молитвенным языком, а как человек человеку, в отчаянии беспредельном — спокойно и страшно.

— Ты видишь сам, что я больше не могу. И ничего невозможного в моем желании не было, потому что ведь так на свете бывает. Ты знаешь Сам, что силы мои кончились, все притворство мое знаешь, всю страшную работу, и что я надорвалась и больше не подымусь. Презренная и пошлая моя жизнь, та, которую Ты мне дал, и то, от чего гибну суетно и пусто. Что же делать? Одни тонут в великом море, другие в луже. Одни умирают от удара меча, другие от укола грязной булавки. Но смерть одна. Не дай же мне умереть! Дай мне мое идиотское счастье. Я потом как-нибудь искуплю, если уж все так коммерчески надо ставить... Кощунство? Нет... нет. Нас ведь никто не слышит. Это не кощунство. Это горе.

Молодую женщину звали по сцене Мара Демиа. Неопределенного, зависящего от настроения возраста, хорошенькая, с прелестным голосом. Остановилась она в этом городке по дороге в Милан, куда была приглашена петь. Остановилась, чтобы встретиться с тенором Вилье, который любил ее и должен был отказаться от контракта на пять лет с Америкой, чтобы ехать вместе с ней, с любимой, в Милан, в вечность.

Маленькая женщина была Мария Николаевна Демьянова, пожилая, одинокая, измученная, теряющая голос певица, когда-то любительница, теперь профессионалка, истерически влюбившаяся в красивого тенора, который бросил ее и не приехал за ней в пограничный городок.

Мара Демиа с утра наряжалась, душилась, красилась, ходила на вокзал по три раза к трем поездам. Всю ночь в постели дрожала Мария Николаевна и давно понимала то, чему по легкомыслию не верила Мара с ее духами и новеньким несессером.

Напряженно улыбаясь, проходила она мимо швейцара. Она ждет друзей из Берлина, чтобы вместе ехать дальше.

Вокзальный сторож, парень с выбитым зубом, уже узнавал ее и кивал головой. Она пряталась от него, так как он входил каким-то слагаемым в этот вокзальный кошмар. Все-таки лучше, если хоть его не было.

Народ из поездов вылезал серенький — ну кому в такое захолустье нужно? — с котомками, корзинками, мешками. Никто не улыбался. Шли понуро, словно выполняли тяжелую работу, упорно и злобно.

Мара быстро взглядывала в карманное зеркальце, встречала в нем тяжелые горем глаза Марии Николаевны и, задыхаясь от быстрых ударов сердца, провожала толпу. Шла за ней одна, отступая, как за покойником.

— Телеграммы не было?

Швейцар спокойно ищет на полочках под ключами:

— Нет.

За́втра утром надо уезжать. Через два дня петь в Милане. Она еще успеет встретить семичасовой утренний поезд — последнюю свою надежду.

Странная кровать в этом номере. С колонками, с балдахинчиком, какая-то средневековая. Много, много снов, полуснов видела Мария Николаевна под этим балдахинчиком за две ночи. И в снах всегда на вокзале, но не встречает, а провожает. И не может в толпе найти того, для кого пришла.

Она приготовила фразу:

— Я ведь ужасно любила вас.

И сама плачет от этих слов, их красоты и печали.

И не может найти того, кому должна их сказать.

Уходят поезда на огромных черных колесах.

Оборвется сон стоном, и другой такой же настигает его...

И вот вечером второго дня села маленькая женщина на подоконник и заговорила с Богом, как древний Израиль. А потом услышала стук в дверь. И шорох по полу — это под дверь подсунули листок. Телеграмму.

Марья Николаевна опустилась на колени, перекрестилась, крепко прижимая пальцы ко лбу, до боли крепко и долго к груди и плечам.

— Спаси и помилуй!

И сейчас же, устыдившись перед Богом своей суетности, пояснила опять, как древний Израиль, просто и человечно:

— Ну что же мне делать, если в этом мое все?

Телеграмма путаными французскими словами извещала о том, что отказаться от контракта impossible[1], о том, что тенор спешно уезжает, хотя désobé[2], и вдобавок toujors fidéte[3], и напишет обо всем подробно.

Марья Николаевна долго читала слова глазами, потом стала понимать, читать душой. Самое страшное слово, которое, как ключ, повернулось и закрыло дверь наглухо, стояло наверху телеграммы, перед цифрами слов и часов. Это было — Hambourg. Название города, откуда послана телеграмма и откуда отплывают корабли.

Кончено.

Она тихо поднялась, огляделась. И вдруг увидела на ковре, около стола, свою перчатку. И потому ли, что она была такая маленькая, бедная, или потому, что сохраняла форму ее руки, и от этого как бы близкая ей телесно, но вид этой перчатки такой невыносимой болью рассказал ей ее горе, что она кинулась к кровати, охватила руками идиотский резной столбик, по-русски, по-бабьи, как бабы охватывают березку и, качаясь, причитают, так и она, Марья Николаевна, качалась.

— Ой, больно! Ой, больно мне, больно!

И потом снова сидела на подоконнике, и недоуменно и обстоятельно, словно решая задачу, обдумывала.

— Значит, так. Как же я буду умирать? Что я должна сделать?

О том, что именно произошло, она думать не могла. Казалось, словно трамвай пролетел через ее голову, со звоном, гулом и грохотом. Осталась пустота, тишина и необходимость выяснить, что теперь делать.

Внизу, в глухом колодце двора что-то звякнуло, закопошилось. И вдруг резкий, скрипучий, как сухое дерево, голос запел:

Das scöhnste Glück, das ich auf Erdenhab,
Das ist ein Rasenbank auf meiner Eltern Grab.

«Лучшее счастье мое на земле — это дерновая скамья на могиле родителей».

---

[1] Невозможно (*фр.*).

[2] Против воли (*фр.*).

[3] Всегда верный (*фр.*).

Дребезжащие струны фальшивой арфы сопровождали скрипучую горечь слов.

Марья Николаевна нагнулась.

Там, внизу, словно раздавленный гад, охватив арфу корявыми лапами, шевелилась длинноносая горбунья. Она ползала по ржавым струнам, и горб ее кричал деревянным нечеловеческим голосом о предельной земной скорби.

Марья Николаевна закрыла глаза. Одну минуту замученной душе ее показалось, что заглянула она в настоящий колодезь и увидела в воде его свое отражение. И закричала, содрогнувшись:

— Не хочу!

Вскочила, осматривала свои руки, ноги, как чужие. Ощупывала свое гибкое, легкое тело.

— Ужас какой! Не хочу! Не хочу!

Бросилась одеваться, хватала вещи. Скорее уйти, уехать, разорвать проклятый круг. Она здорова. Она талантлива, она может жить. Все-таки может.

Раскрыла сумку, достала деньги, не считая, не жалея, завязала в платок, бросила в окно тому уродливому, хрипящему ужасу.

Скорее! Скорее прочь!

На вокзале ждал ее поезд, медленный, товарно-пассажирский. С дощатыми платформами, нагруженными живыми телятами для какой-то далекой бойни. Она быстро влезла в пустой грязный вагон, забилась в угол и закрыла глаза.

— Я, в сущности, очень, очень счастливая.

И долго тащил тихий, тяжелый поезд жалко и покорно мычащих телят и бледный полутрупик Марьи Николаевны...

— Наконец-то!

Горбунья вошла в пивную, и Франц радостно поднялся ей навстречу.

— Чего же так долго?

Горбунья смотрит с удовольствием на здоровенного Франца, но отвечает гордо:

— Нужно было спрятать деньги. Я сегодня очень много заработала.

Франц взял ее за руку.

— Больше не будешь тянуть со свадьбой?

Горбунья гордо подняла острый нос и молчала, как длинноклювая священная птица.

— Ты виделась со слесарем? — задыхаясь, спросил Франц и схватил ее за руку.

Горбунья пожевала губами. Он ревновал, и это забавляло ее.

— Я все отлично понимаю, — с горечью сказал Франц и выпустил руку.

— Ну, нечего! — прикрикнула горбунья. — Закажи мне пива.

Как женщина опытная, она понимала, что помучить возлюбленного следует, но слишком накручивать пружинку не годится.

— Значит, ты все-таки любишь меня?

Нос горбуньи поехал вниз. Она усмехнулась.

— Doch![1]

Счастье

Вчера был удивительный день. Вчера я два раза встретила счастье.

И если бы оба раза счастье не увело мою душу, я, может быть, всю свою жизнь улыбалась бы от радости.

Бывают, вы знаете, странные человеческие души. Они «странные» от слова «странствовать». Они сродни душам индусских йогов. Но йоги напряжением воли могут уйти душой в зверя, в бабочку, в стебель цветка. А наши простые «странные» души уходят сами, без воли, без оккультной медитации. И никогда не знаете, что может увести ее, и почему, и зачем, и когда она вернется.

Заметишь где-нибудь в метро скромного старичка в пестром галстучке и вдруг подумаешь: «А какой у него голос, когда он говорит?»

И вот начало положено.

---

[1] Как же! (*Нем.*)

Как он покупал этот галстучек? Верно, не сразу решился... Подумал — не пестро ли... Он женат. Кольцо... Он дома толковал об убийстве ювелира — у него в кармане газета. Старичок не сделал карьеру. Выражение лица у него привычно унылое. Складки скорби лежат глубоко и покорно — давно легли. Он едет домой — иначе бы читал свою газету, — но он уже успел ее прочесть. Дома ждет его суп из овощей и строгая старуха.

Мутный суп, мутные глаза. Может быть, у них есть кот, или чижик, или сын где-нибудь в Мондоре, сын, жену которого они ненавидят. Если кот или чижик, тогда еще не все пропало... Но если...

— От Марселя уже целый месяц нет писем.

— Это ее влияние.

— Она его разорит и, конечно, потом бросит.

Старуха дрожащей рукой в буграх и веснушках наливает себе кисленького винца.

— Если бы я ее убила, суд бы меня оправдал.

На буфете гипсовые Амур и Психея. Рядом — пыльные тряпочные цветы.

Старик развязывает вот этот пестренький галстучек и отстегивает воротник.

На шее у него под острым кадыком зеленое пятно от медной запонки.

Отдай мне мою душу, старик! Не хочу идти за тобою!

Сегодня праздник. Я два раза встретила счастье.

Утром в Булонском лесу. Весеннее солнце припекает. Какое-то сумасшедшее дерево распушилось целым букетом именинно-розовых цветов.

По дорожкам, вскользь оглядывая друг друга, гуляют нарядные дамы и, в одних пиджаках, щеголяя презрением к простуде, красуются кавалеры. Элегантные амазонки в рейтузах, подобранных в тон лошадиной масти, гарцуют вдоль лужаек.

К длинной линии ожидающих своих господ автомобилей подкатывает темно-синяя «Испано-Сюиза». Шофер спрыгивает, открывает дверцу и выпускает пожилую парочку. А вслед за парочкой (вот тут-то и началось!) кубарем выкатываются три мохнатых собаки.

Выкатились и обезумели. Такой сумасшедшей радости бытия, такого раздирающего душу восторга, такого захлестывающего, заливающего все существо, через голову, счастья — я никогда не видала.

Они бросались с разбега в траву, купались в ней, ныряли, задыхались, тявкали коротким лисичьим, бессмысленным лаем, вдруг пускались бежать распластанным галопом, прядая, как хищный зверь: падали, катались, они разрывались от счастья и не находили в слабых своих возможностях — как выразить, как излить, как, наконец, освободиться от этой силы, слишком могучей, почти смертельной для слабой земной твари.

И снова тявкали особым, бессмысленным звериным лаем. Если перевести его на человеческую речь, то тоже не много бы вышло. Вышло бы: «О!»

О, жизнь! О, лес! О, солнца луч!
О, сладкий дух березы!

Словом, «О!» и кончено! И поэт большего высказать, как видите, не смог.

Душа пошла за милыми зверями.

Недолог их путь. Еще лет пятнадцать, а может быть, и меньше.

А там старость. Задние ноги начнут отставать, тянуться. Морда станет серьезная и унылая, точно познал пес суету сует и одумал тщету земного. Вздохнет, ляжет. В каждом движении видно сознание своей слабости, ненужности, уродства.

Долгая дрема. И сны. Во сне отрывистый лай, и быстро шевелится передняя лапа. Ух, как она во сне шибко бежит! Не снится ли ему то утро, утро счастья в Булонском лесу?

Воспоминаний нет в блаженной звериной старости. Дрема, и сны, и сновидения.

Милые звери! Прощайте!

Около моего «quartier»[1] — ярмарка.

Русские горы, качели, карусели. Одна карусель совсем маленькая, для маленьких детей. Сиденья на ней все в

[1] Квартала (*фр.*).

виде колясочек и тележек, запряженных зайцами, рыбами, петухами.

Перед этой каруселью долго стоял совсем маленький мальчик, лет двух-трех.

Коротышка, туго одетый, гриб-боровичок. Стоял, смотрел и переживал. Был очень серьезен. Изредка, верно по ходу мыслей, чуть-чуть перебирал губами и шевелил рукой. Вся душа ушла в созерцание этого торжествующего, роскошного видения: в звоне, в треске, в золотом гуле плывут, чередуясь, взмывают, качаясь, ласковые звери, веселые птицы, удивленные рыбы, нарядные, пестрые.

И среди них живые дети кружатся тоже, тоже в звоне, в гуле, в радости невиданной и даже страшной.

Карусель замедлила ход, остановилась. Боровичок, предчувствуя события, ухватился за юбку няньки. И вот его подняли, понесли и посадили в тележку. Мало того — в его руку всунули вожжи. Это было, пожалуй, уже слишком. А когда в другую руку втиснули кнутик, то за бедного боровичка стало немножко жутко. От наплыва необычайных впечатлений он весь застыл. Как сел с неловко повернутой вбок головой — так и не шевелился. Недвижный взор уставился исподлобья в одну точку. Лицо... что могло выражать это маленькое, детское, пухлое личико, когда душа, которую оно должно было отразить, ушла в тот хаос восторга и ужаса, где переживания уже не классифицируются, в экстаз нездешней, а как бы загробной жизни.

И он так, не шевелясь и словно не дыша, проплыл эти три, четыре божественных круга, и только когда его сняли и вытащили из закостеневшей ручонки кнут, он глубоко, с дрожью вздохнул. Потом тихо и покорно заковылял домой. Раздавленный счастьем.

И моя душа пошла за ним. Она видела, как он играет всегда поближе к няньке. Он не бегает, он больше копает ямки. Мир для него всегда огромный и страшный. Слишком огромный, потому что он измеряет его и в глубину.

Он подрастет и разочаруется в дружбе. В большом школьном коридоре будет стоять один, с застывшим лицом, и смотреть исподлобья вслед ушедшему неверному другу.

Потом он полюбит. Испугается, замучается. Шея к тому времени у него подрастет и он сможет закинуть голову, когда будет смотреть на торжественное и роскошное видение своей любви.

Он будет очень смешон. Тонкий слой пудры Коти и румян Institut de Beauté[1] номер пятый — он станет измерять в глубину. И кроме того, он из тех, которые непременно проливают красное вино на платье любимой женщины...

Все равно. Он задохнется от счастья и женится.

Закружатся рыбы, птицы, звери. Ударят в сердце лучи и звоны.

Он не поверит ни сплетням, ни анонимным письмам.

Потом, когда его снимут с карусели, он вберет голову в плечи, маленький боровичок, и поплетется куда-то «к себе», раздавленный, один.

А ведь ему давали в руки и кнутик, и вожжи. Только он ничего не смел. Он мерил в глубину и задохнулся.

Моя душа долго провожала его.

И как она устала, как устала!

Волчок

И. Е. Репину

Покупательницы так сдавили Неплодова, что он как прижался к ящику с заводными игрушками, так и стоял — ни вперед ни назад.

Из ящика торчали жестяные ножки, колесики, ключики, шарики.

— Какое множество наготовлено! Неужто все это раскупят? А если не раскупят? Разорение, банкротство, беда.

Чья-то рука потянулась к ящику, пошарила и вытащила блестящее, круглое, такое знакомое...

— Волчок!

Сколько лет не видал!

---

[1] Институт красоты (*фр.*).

Напирающие дамы продвинули Неплодова вперед, и он увидел, как быстрые руки продавщицы накрутили пружину волчка, как он звякнул, стукнул о прилавок, зажужжал, запел и закружился воздушным, радужным, певучим вихрем.

— А-ах!

Волчок зачаровал Неплодова. Он засмеялся, оглянулся на соседей — смеются ли они тоже.

Волчок описал последний медленный полукруг, поскакал боком и упал.

— Ишь! Пока кружился — держался и даже пел. Как остановился — так все и кончено.

Он взял волчок из рук продавщицы, накрутил пружинку и пустил. Как он радостно прыгнул на свою острую тонкую ножку, закачался, запел! Золотые, зеленые, синие круги разливаются в воздухе, дрожат, жужжат, играют. Он схватил игрушку, и она забилась в руке, зажужжала живой пчелой.

— Сколько?

Шел, и улыбался, и качал головой.

— Вздор какой-то. Точно никогда волчков не видал! Прямо наваждение. Дети большие — куда им.

Жена строго запретила покупать подарки. Сама купит. И то сказать — он на это дело не мастер. В прошлом году купил семилетнему Петьке бумажник, а у Петьки и капиталу-то всего полтора франка звонкой монетой. А десятилетней Вареньке и того глупее — подарил мундштучок. Прельстило, что прозрачный и с искорками. А Варенька, конечно, оказалось, не курит. Ну словом — вздор. А теперь вот волчок... Ну так все и вышло.

— Тратишь деньги на такую ерунду, когда дома каждый грош считан, — сказала жена.

Петька, уткнув нос в книжку, смотрел исподлобья и волчком не заинтересовался. Варенька умоляюще поворачивала от матери к отцу свое острое бледное личико. Всегда за всех мучается.

Неплодов притворился равнодушным к волчку, льстиво хвалил макароны, но, как всегда, ел с трудом.

— Воздухом напитался. Гулял много. Ничего. После праздников за работу.

От воздуха нос у него припухал и краснел, и от этого щеки казались еще зеленее.

После завтрака жена увела Петьку сапоги покупать. Неплодов позвал Вареньку.

— Посмотри, дружок!

Завел пружинку, нажал.

Дззз...

И началось чарование.

— Ты только посмотри, Варенька, дружок мой. Ведь вот в руках в неподвижности — простая красная жестянка — ну просто дрянь. А вот я сообщаю ей силу — смотри — поет, кружится, красота. Ну разве не чудо это? А вот кончилась сила, и опять простая жестянка. Вот, я еще заведу, смотри.

Дззз...

— Ах, Варенька, девочка моя нежная! Сколько чудес на свете и не видим мы их, не замечаем, не думаем. А ведь всюду, всюду! Ты там что? Уроки готовила? Ну, иди, иди, готовь. А я тут еще...

Варенька пошла, быстро перебирая тонкими ногами в штопанных чулках.

Через час он позвал ее снова.

— Я вот тут отдыхал, Варенька, и кое о чем думал. Хочешь, я еще заведу волчок? Видишь — вот он, мертвый и неподвижный. И вот я, властью, мне данною — замечаешь эти слова? — властью, мне данною, дарую ему жизнь и радость. Здесь большая философия. Я человек не особенно ученый, но если дать эту мысль разработать настоящим философам... Большая книга могла бы из этого выйти. Ах, Варенька, друг мой! Ты еще ребенок, но я чувствую, что ты понимаешь меня. Ведь понимаешь? Да?

— Понимаю, — покорно вздохнула Варенька и опустила глаза.

— Сколько чудес! Господи, сколько чудес! Вот смотри, например, — в комнате уже темнеет. И вот, я подхожу к стене и поворачиваю этот крошечный рычажок. И что же? Вся комната вдруг озаряется светом. Разве это не чудо? Да покажи это чудо дикарю, так он у тебя мгновенно в Бога уверует. И кто это чудо сделал? Кто сейчас наполнил бедный дом своим неизъяснимым светом? Потому что,

конечно, свет этот неизъясним. Знаю, знаю — они скажут «анод и катод». Знаем, сами учили. Но от названия дело не становится ясным. Назови мне анод хоть «Иваном Андреичем» — все равно, все сие неизъяснимо. Погоди, Варенька. Так вот: кто сейчас, на твоих глазах, так просто и спокойно сотворил это чудо, озарил светом надвигающийся мрак ночи? Я! Кто я? Я, Трифон Афанасьевич Неплодов. Взгляни на меня.

Неплодов встал прямо перед растерянно улыбавшейся Варенькой и беззащитно развел руки.

— Видела? Конечно, я твой отец, но все-таки надо правду видеть. Плюгавый, невзрачный, болезненный человек. Малообразованный. Вот и костюмчик у меня не того-с. Штиблеты... Словом, что уж там. В герои не лезу. И вот, я, властью, мне данной, делаю чудо. Люди думают, что солнце — это великое дело, а лампа пустяки. Солнце, конечно, большое, но и оно, и лампа моя скудная тою же силою зажигаются и горят. Всякий свет дается Господом, и другого, кроме Господнего, нет. И солнце чудо, и лампа моя такое же чудо. Только, конечно, понять это трудно. Ну, иди, иди, деточка, Господь с тобою. Там кто-то звонит.

...Вечер прошел тихо.

Неплодов молчал.

Только ночью, укладываясь спать, сказал жене:

— А странное дело, Леля, живем мы с тобой дружно, а ведь никогда ни о чем не разговариваем. О глубоком.

— Есть нам время разговаривать. За день наработаешься, намучаешься и слова-то все перезабудешь. Вот уж одиннадцатый час, а завтра в семь вставать, успеть до службы на базар сбегать.

— О земном печемся, как Марфа евангельская, о земном!

И вдруг жена Неплодова злобно швырнула на постель подушку, на которую натягивала свежую наволочку, швырнула и крикнула:

— Опять Марфа! Надоела мне ваша Марфа! Всю жизнь только Марфами тычут.

— Леля, дорогая, не сердись! Ты пойми только, что Мария сидела...

— Отлично я понимаю, что Мария сидела... А небось когда чай пить позвали, так, наверное, впереди всех побежала!

— Леля, что ты говоришь! Опомнись! Господи, прости и помилуй!

— Я к тому говорю, что Марфа тоже Христу служила. По своим силам, по своему пониманию. Душою-то возноситься куда интереснее, чем сковородами греметь.

— Леля! Леля! Ну как ты не понимаешь! Бога она, Марфа, не почувствовала, Бога!

Неплодова взглянула на мужа, потом пригляделась пристальнее и уже с простой, обычной заботой сказала:

— Зеленый ты до чего! Надо будет больше молока брать.

Неплодов держал в руке только что довертевшийся волчок и говорил Вареньке, уныло прижавшейся к косяку окна. Говорил шепотом, чтобы не услышал из соседней комнаты Петька, который еще ничего понять не может.

— И вот что еще пришло мне в голову, дружок ты мой Варенька. Пришло мне в голову, что все эти профессора и Эдисоны, все они только орудие в руках Божьих, вот как этот рычажок электрический. Решил Господь показать через них свет — и показал. Они-то воображают, вычисляют, измеряют. Ха-ха-ха! Вот скажут — радий открыли. А что такое радий, позвольте вас спросить? Сила. Много объяснили? Вот то-то и есть. Ты подумай только, Варенька, представь себе картину: сидит такой Эдисон у себя в кабинете. Ты ведь все понимаешь, что я говорю?

— Все понимаю, — прозвенел дрожащий голосок.

— Так вот — сидит Эдисон, может быть, тоже лысый какой-нибудь, плюгавый, со вставными зубами, и, черт его знает, какой еще у него пиджачишка, — сидит и нажимает рычаги, и идут от них по всему миру и свет, и тепло, и голоса человечьи, и музыка. И не понимает старикашка, что через него решил Господь послать нам чудеса эти, чтобы мы, огражденные от ужасов природы — природа, Варенька, враг наш... Все думают — ах, птички чирикают, ах, травка зеленеет, — а она, смотри-ка: то землю трясет, города рушит, то водой заливает, то лавой, огнем подземным

палит — злющая, враг она человеку до последнего своего издыхания. И вот, когда становится Господу жаль человека, посылает он ему чудо через плешивых профессоров, через Эдисонов. Вон... слезы у меня... это ничего... Это от внутреннего восторга. Посылает человеку чудо, чтобы он хоть на минутку юдоль свою темную благословил. Варенька! Одиноки мы все, но ты меня понимаешь, дочечка, родная кровинка моя!

— Понимаю, — всхлипнул голосок.

— Ну, иди, Бог с тобой. Я прилягу.

Очнувшись от полудремоты в сумерках, встал Неплодов и, не зажигая огня, пошел в столовую.

Он видел у освещенного стола Петьку и Вареньку за книжками. Петька поднял голову, прислушался.

— Варя! — быстро зашептал он. — Папа идет! Волчок несет! Прячься скорей!

И видел он, как вскинула руками Варенька, как повернула свое искаженное тоскою и ужасом острое личико и застыла, глядя в темную дверь.

Неплодов закрыл глаза, постоял минутку, качнулся и бодро вошел в столовую.

— Ага, еще не поздно, — громко сказал он, взглянув на часы. — Вот что, Петруша, дружок мой, возьми ты этот самый... как его... волчок и отнеси швейцарихину мальчишке. Я для него это и купил, да все никак не собрался... Отнеси, друг мой. А я еще отдохну. Нездоровится что-то.

Повернулся, неловко задев о косяк плечом, и плотно закрыл за собой дверь.

Тихий спутник

На днях ушел от меня маленький друг, тихий спутник последнего десятилетия моей жизни, следовавший за мной преданно и верно по всем этапам тяжелого беженского пути. Ушел так же загадочно, как и появился когда-то.

Где он? Почему бросил меня?

Может быть, он уже давно исчез, а я только теперь заметила. Я ведь никогда не обращала на него внимания, я только терпела его присутствие, это он сам следовал за мной. Маленький, корявый, неопределенного цвета, неопределенной формы — обломок цветного сургуча.

Первый раз заметила я его весной семнадцатого года. На моем большом нарядном письменном столе, сверкавшем ледяными кристаллами хрустального прибора, с левой стороны, между пепельницей и пресс-папье, спокойно и сознательно поместился этот закопченный, чужой и ненужный огрызок. Я удивилась, как он ко мне попал, хотела сейчас же выбросить, потом забыла, и он остался. Я, вероятно, просто не замечала его в рассеянности своей и, не замечая, привыкла, и вид его не раздражал и не привлекал моего внимания. Так он жил, и ничего в этом удивительного нет. Я не замечала, а он жил. Разве это редко в нашей жизни?

Прислуга, стирая пыль со стола, бережно укладывала его на то же место, верно, думала, что он предмет нужный и важный, за который, пожалуй, и ответить придется.

Первый раз поняла я его преданность, когда, приехав из Петербурга в Москву на несколько дней по делам, открыла чемодан и увидела сразу, сверху, на саше с носовыми платками, очевидно, втиснутый наспех в последнюю минуту, этот огрызок закоптелого сургуча. Я ничего не взяла с письменного стола и уж, конечно, не сама положила абсолютно мне не нужную ерунду. Сам он залез, что ли?

Я бросила его на отдельный столик и забыла.

Вернувшись в Петербург, разбирая чемодан, нашла его, испуганно забившегося в складку кожи. Куда я его выбросила, — но, конечно, выбросила — не заметила сама. Вечером он уже лежал на своем обычном месте. Я ли машинально положила, или прислуга нашла и, помня, что это вещь нужная, водворила его на место. И я снова перестала его видеть — привычно не замечала.

Подошли страшные дни. Под окнами стоял грузовик с пулеметом; он трещал по ночам железным горохом, от которого дребезжали стекла и дрожали висюльки абажура мертвой лампы над моим столом. Электричества не давали. Холодным сталактитом в мутном уличном свете леденела

огромная граненая чернильница и длинная, никогда не нужная, любимая только за красоту, хрустальная линейка и тяжелое, как надгробный памятник, пресс-папье, погребавшее мелкие квитанции навек так, что их и найти нельзя было. Они не двигались, эти тяжелые камни, но дребезжащий, дрожащий абажур выдавал настроение всего стола: ему было страшно.

Загрохотали ворота — в них били прикладами. И на столе зазвенело что-то: это стеклянная марочница, тонкая и нервная, упала в обморок и скатилась со стола. И, ставя ее впотьмах на прежнее место, руки мои нащупали маленький, гладкий, непонятный кусочек. Я осторожно, спрятавшись за дверь, чтобы не было видно с улицы, зажгла спичку и посмотрела: это был мой обломок сургуча. Я бросила его около печки. Утром он лежал с левой стороны стола.

Черные, сонные дни, белые, бессонные ночи. Уходили, пропадали люди. Уходили и не возвращались вещи. И те и другие не заменялись, и обнажалась жизнь, голая и безобразная.

С письменного стола первой ушла чернильница. Как Соня Мармеладова, завернулась в драдедамовый платок, пошла на базар и продалась для поддержания существования близких: лампы, линейки, марочницы и меня.

Потом ушли и другие. Осталось пустое сукно с начертанными пылью воспоминаниями о том, что когда-то здесь было. И с левой стороны стола один, только один маленький обломок. Он. Сургуч.

Я уехала, взяв только самые необходимые вещи. Среди них вылез из чемодана и улегся на обшарпанный отельный стол — мой верный урод, сургучный огрызок. Это было в Москве.

Потом была поездка в Киев на самый короткий срок, чтобы прочесть на вечере свой рассказ. В чемодане только бальное платье да сургуч.

Киев. Петлюра. Обыски. Путь на север отрезан. Катимся ниже, ниже. И вот мы с сургучом уже в Одессе. Паника, стрельба. Приветливые ослы черных белозубых войск, ослы, только вчера шедшие головами к нам, хвостами к

морю, бегут, подбодряемые палкой, и хвосты их уже повернуты к нам.

Новороссийск. В пустом чемодане один он, выброшенный мной собственноручно в Одессе кусок сургуча. Надоел. Неужто в целом мире не найдется никого, чтобы проводить меня?

Константинополь.

Веселый разговор:

— Может быть, можно что-нибудь еще продать? Боюсь, что скоро окажемся на дне.

— Господа, не бойтесь. Ведь мы уже все на дне. Это и есть дно. Видите, как просто и совсем не страшно. Разломаем этот бублик на четыре части...

— Может быть, у вас что-нибудь найдется?

— У меня флакон из-под духов и вот... кусочек сургуча.

Париж. Берлин. Я совсем забыла о нем. И вот в тревожный день, когда вся душа дрожала, как те висюльки на абажуре, — я написала письмо мирового значения (мирового для моего мира, единственного, в котором живет человек и вместе с которым гибнет). Письмо мирового значения надо было запечатать сургучной печатью. И вот первый раз взяла я его в руки, этот бурый комок, взяла не для того, чтобы бросить, а чтобы использовать. Он зашипел на свечке, оплыл черной лавой, и вдруг упала на бумагу ярко-лазурная нежданная капля.

Так странно это было, и для души дрожавшей — благословенно, как чудо.

— Так вот ты какой!..

И опять бросила, и опять забыла.

И вот долгая, тяжкая болезнь, больница.

Красные туманы горячки. Круглая голова ласкового тигра без шеи, лежащая на круглом кружевном плато, как усекновенная глава на блюде. Наклоняется надо мной... Ах да — это бывшая квартирная хозяйка фрау... фрау... не помню. Это она в кружевном праздничном воротнике. Она протягивает мне что-то.

— После вашего отъезда, — говорит она, — я нашла в столе вот это. У меня ничто не должно пропадать — я принесла.

Всматриваюсь через колыхающуюся красную мглу — он! Обломок сургуча. Нашел меня, пришел. Столько прожили вместе...

И в эту минуту, в озарении огненной свечи стоявшего у ног моих Архангела Уриила, скорбного ангела смерти, тогда пожалевшего меня, увидела я в этом маленьком корявом кусочке то, что в обычной жизни люди видеть не могут: существо безликое, выражающее обликом нечеловеческим человеческую печаль, заботу, и ласку, и страх за меня, и преданность.

— Сколько прожито вместе!

Кто сказал это? Я? Он? Все равно, друг мой маленький, неживой урод, единственный — иди ко мне!

И вот теперь он ушел. Может быть и не теперь, а давно, а я только случайно сейчас заметила это...

Кука

Клавдия всю жизнь была «подругой».

Есть такой женский тип в комедии нашей жизни.

«Подруга» всегда некрасива, добра, не очень умна. Ей поверяют тайны, когда трудно молчать, она хорошо исполняет поручения. «Подруга» часто влюбляется вместе со своей госпожой, за компанию. Говорю «госпожой», потому что в женской дружбе почти никогда не бывает двух подруг. Подруга только одна. Другая — госпожа.

В Париже Клавдия попала в подруги к Зое Монтан, умнице, красавице, женщине с прошлым, с настоящим и будущим. Настоящее у Зои было, очевидно, хуже других времен, то есть прошлого и будущего. Пробовала сниматься в кинематографе, пробовала танцевать в ресторане, но все как-то не ладилось, пришлось остановиться на комиссионерстве: продавать жемчуг и шарфы.

Тут-то и прилипла к ней Клавдия, рисовавшая, вышивавшая, самоотверженно бегавшая по поручениям.

Зоя относилась к Клавдии чуть-чуть презрительно, но ласково. Узнала, что в детстве Клавдию звали Кукой. Понравилось.

— Это меня так младший братец прозвал. Сокращенное, говорит, от кукушки. Оттого, что я такая веснушчатая.

У Зои в ее маленькой отельной комнате всегда толклось много народу. И делового — с картонками и записками, и бездельного — с букетами и театральными контрамарками. Среди бездельных Кука отметила высокого, широкоплечего, с красивыми большими, очень белыми руками. Нос с горбинкой и брови со взлетом.

— На сокола похож.

Думала, что такой должен бы Зое понравиться. Но только раз проговорилась Зоя, рассказывая о какой-то пьесе:

— Такую блестящую роль отдали толстому увальню. Здесь нужен актер-красавец, обаятельный, властный, чтобы сердце дрожало, когда он взглянет. Кто-нибудь, вроде нашего князя Танурова.

— Князь на сокола похож, — сказала Клавдия.

Зоя нервно задергала плечами, неестественно засмеялась:

— Кука, моя Кука! Ну до чего ты у меня корявая, так это прямо на человеческом языке выразить нельзя.

И Кука поняла, что Зое князь нравится. И как только поняла, сразу за компанию и влюбилась.

Князь Куку совсем не замечал. Маленькая, рыженькая, хроменькая, одевалась она всегда в какие-то защитные цвета и благодаря этим цветам и собственной естественной окраске так плотно сливалась с окружающей средой — со стеной, с диваном, что ее и при желании нелегко было заметить. Душа у нее тоже принимала окраску «среды». Зоя весела, и Кука улыбается. Зоя молчит, и Куки не слышно. Так где же ее выделить из этого фона, звонкого и яркого?

Зоя нервничала, похудела. Стала рассеянной. О князе никогда не говорила, но, если Кука о нем упоминала, она сразу затихала и настораживалась.

Раз неожиданно сказала:

— Здоровое животное. У него, наверное, как у лошади, селезенка играет.

И лицо ее стало злое и несчастное.

Кука мечтала о князе. Мечтала не для себя, а за Зою. Разве смела она — для себя?

Вот Зоя утром сидит с ним на балконе где-то у моря. На ней розовый халатик, тот самый, который Кука сейчас разрисовывает для американки. Плечи у Зои смуглые, душистые, сквозят через золотое кружево. Князь улыбается и говорит... Кука совсем не может себе представить, что он говорит. Может быть, просто «счастье! счастье! счастье!»

Настали тревожные дни. Зоя двое суток пролежала в постели, ничего не ела и молчала. На третий день пришел князь, и Зоя хохотала, как пьяная, и все приставала к Куке:

— Князенька, посмотрите, какая моя Кука чудесная! Сидит, веснушками шевелит.

А когда князь ушел, она долго сидела с закрытыми глазами и на вопросы не отвечала. Потом, не открывая глаз, сказала:

— Уйдите же! Вы видите, что я устала.

Но вот настал вечер, когда Зоя сама пришла к Куке, бледная, словно испуганная.

— Друг мой, — сказала она. — Сегодня Господь сотворил для меня небо и землю. Сегодня Константин сказал мне, что любит меня. И он меня поцеловал.

Кука, похолодев от восторга, встала перед ней на колени и заплакала.

— Господи! Господи! Счастье какое!

— Я так и сказала ему — небо и землю, — повторила Зоя в экстазе. — Небо и землю.

А Кука ни о чем не расспрашивала. Молилась и плакала.

Утром Кука забежала в церковь поставить свечечку за рабов Божьих, Константина и Зою. Хотела поставить перед Распятием, но подумала, что лучше не у страдания гореть ей, а у торжества и радости, и поставила к Воскресению.

Потрогала листки — с красными надписями за здравие, с черными — за упокой.

— За упокой для души умершей. А почему нет за покой для живой и томящейся? И почему есть о здравии и нет о счастье?

Помолилась, всплакнула от радости.

— Какое счастье, что есть на Божьем свете такая красота, как эти люди и их любовь. Вот и я, маленькая, корявенькая, все-таки что-то для них сделала.

Пошли дни новые, похожие на прежние. Раб Божий Константин возил рабу Зою завтракать на своем, говорил он, «гнусном фордике». Иногда брали с собою и Куку.

Зоя никогда не возвращалась к откровенному разговору с Кукой и не вспоминала о том дне, когда Господь сотворил для нее небо и землю. Как будто ей даже было неприятно, что она так тогда размякла. Потом Кука поняла, что у князя есть жена.

— Какая трагедия! И как прекрасна Зоя в своей самозабвенной жертве. Такая красавица! Такая гордая!

Шли дни. И потом настал день.

Зоя с вечера попросила Куку отвезти заказ в Сен-Югу. Князь предложил, что довезет ее на своем «гнусном фордике». Кука и обрадовалась, и испугалась. Как так — вдвоем... О чем же она с ним говорить будет?

Ночью придумывала всякие предлоги, чтобы отказаться, но как-то ничего не вышло. Утром с отчаянием в сердце и с картонкой в руках ждала у подъезда, чтобы он не поднялся и не увидел ее ужасной комнатушки.

Князь сам управлял автомобилем и поэтому, слава Богу, говорил немного. Кука исподтишка любовалась его бровями, его сильными руками.

«Князь-сокол!»

Он мельком взглянул на нее. Усмехнулся. Взглянул еще.

— Сколько вам лет?

— Двадцать девять, — испуганно ответила Кука.

— Я думал — четырнадцать.

Подъехали к дому заказчицы. Князь нажал несколько раз резину своего гудка, и элегантный лакей в полосатой куртке и зеленом переднике выбежал к воротам. Князь отдал ему картонку и повернул автомобиль.

«Как все сегодня нарядно, — думала Кука, пряча в рукава свои руки в нитяных перчатках. — И как я не подхожу ко всему этому».

— Ну-с, а теперь, — сказал князь, — я предложу вам следующее: мы никому ничего не скажем и поедем завтракать.

Кука совсем перепугалась. Что значит «никому не скажем»? Впрочем, это, может быть, какая-нибудь смешная поговорка или цитата,

— Нет, мерси, я не голодна, мне пора домой.

— Кука! Маленькая эгоистка! Она не голодна! Зато я голоден. Надо же мне какую-нибудь награду за то, что развожу ваши картонки. Неужели нельзя опоздать на полчаса? Мы никому ничего не скажем и живо позавтракаем.

Опять это «никому ничего»... Князь повернул, не доезжая до моста, и остановился около маленького ресторанчика, нарядно украшенного фонарями и гирляндами зелени.

Кука старалась настроить себя на радостный лад. Так все необычайно. Она сидит, как настоящая дама, с этим удивительным человеком. Он наливает ей какого-то крепкого вина. Какая красивая рюмка. Но нет радости. Растерянность и страх. Скорее бы кончилось. Как много вилок... Которую же надо взять? Неужели он не понимает, что ничего мне этого не нужно?..

Она подняла глаза и встретила его взгляд, пристальный и веселый.

— Я гляжу на вас, маленькая моя, не меньше пяти минут. О чем вы думаете?

Кука молчала. Чувствует, что краснеет до слез.

Он вдруг взял ее руку.

— Маленькая моя! Необычайная! Смотрите, как ее ручка дрожит. Словно крошечная птичка. И пульс бьется. Господи! Бьется сердце маленькой птички. Кукиной руки!

Он прижал ее руку к своей большой горячей щеке, потом стал целовать ее быстрыми твердыми поцелуями.

— Кука, маленькая, как я люблю вас.

И, точно в пояснение, прибавил:

— Серьезно, сейчас я вас одну в целом мире люблю.

Кука не шевелилась.

Он обхватил рукой ее плечи и, быстро нагнувшись, поцеловал ее в губы.

Кука закрыла глаза.

«Господи! Что же это? Это ли счастье — этот ужас? Зоя, красавица, гордая, и я, бедненькая, рваненькая. Зоино счастье красивое, где же оно? Куку, которая «веснушками шевелит», целуют теми же губами...»

И вдруг поняла, что значит «никому ничего не скажем»...

— Ну, маленькая моя! — говорит ласково-насмешливый голос. — Ну можно ли так бледнеть?

Лакей убирал со стола закуску, и князь, слегка отодвинувшись от Куки, сказал, наливая уксус в салатник:

— Сегодня удивительный день. Я бы мог выразиться, что сегодня Бог сотворил для меня небо и землю. Ай, что с вами?

Он схватил ее за руку выше локтя. Ему показалось, что она падает. Но она вырвалась и встала, бледная, страшная, с открытым ртом, задыхающаяся. И вдруг подняла стиснутые кулаки, прижала их к щекам, закричала, качаясь:

— Подлый! Вы подлый! Обнимали меня здесь, как портнишку, как швейку... пусть... это пусть... это забавлялись... чего со мной считаться... А ее святые слова вы не смеете повторять! Не смеете!.. Убью!.. Убью!..

Голос у нее хрипел и срывался, и чувствовалось, что, будь у нее силы, она кричала бы звенящим отчаянным криком.

Князь, криво улыбаясь, налил в стакан воды. Взял ее за плечо. Она отскочила, словно обожглась:

— Не смей прикасаться ко мне, гадина! Не смей! Убью-у-у!

И была в ее дрожавшем бескровном лице такая безмерная боль и такое гордое отчаяние, что он перестал улыбаться и опустил руки.

Не сводя с него глаз, словно как зверя держа его взглядом на месте, она обошла стол и вышла, стукнувшись о притолку плечом.

— О-о-о! — со стоном вздохнул он.

Попробовал насмешливо улыбнуться:

— Quelle corvée![1]

Но вдруг заметил на столе Кукины перчатки. Простые, бедненькие, рваненькие Кукины перчатки.

---

[1] Какая тягомотина! (*Фр.*)

Слишком маленькие и ужасно бедные на твердой холодной скатерти, рядом с хрустальным бокалом, рядом с резным серебром прибора.

И, не понимая, в чем дело и что с ним происходит, князь почувствовал, что тут уж никак не устроишь так, чтобы все вышло забавно и весело.

— Но ведь, право же, я не хотел ее обидеть. Неужели я был некорректен?

Кафе

Весна.

Медленнее идут прохожие — греются, дышат.

Кафе выставили на террасы все запасные столики. Все переполнено.

И густая, медленно, полноводно плывущая толпа любуется этим привычным парижским видом своих тротуарных берегов.

Вот пристань — «Café Napolitain», вот другая — «Madrid», вот «Café de la Paix». И везде как будто те же лица, точно они переходят на гастроли из одного помещения в другое.

На первом плане — задумчивая, тщательно расписанная девица перед стаканом пива. Она ждет легкомысленного знакомства. На ней модная, но недорогая шляпка и всегда новые башмаки, так как ноги — это ее аванпост, разведка, которая высылается за пленными.

Второе постоянное лицо — тучный пожилой господин с нафабренными усами и красным жилетом рытого бархата. Поэтически подвязанная шелковая тряпочка заменяет галстух и свидетельствует о художественной натуре тучного господина. Воротничок слишком перекрахмаленный, ломкий, с обтертыми перегибами, выглажен, очевидно, не очень опытной, но любящей рукой. Перед господином крошечная рюмочка коньяку.

Ну кто из нас не видел его? Ведь это тот самый милый парижский бульвардье, которого так любили романисты

мопассановской плеяды. Он даже как будто старается сохранить тот старый запечатленный литературный облик.

За ним дама с большой узкой картонкой, которую она поставила под стол. Дама принаряжена, усталое ее лицо подмазано.

— О, эти дамы! Они готовы до обморока бегать по магазинам.

Перед ней чашка кофе и бриошь.

Иногда к ней подсаживается другая дама. Тогда усталая начинает что-то рассказывать. По жестам видно, что говорят о платьях. Говорят сосредоточенно, как могут говорить о нарядах только женщины и только в Париже.

В углу сидит старик с седой бородой и играет сам с собой в шашки. Перед ним в стакане ярко-зеленое зелье и целый графин воды. Хватит старику до вечера.

Иногда пробегает веселый, щупленький, уличный шансонье и, неожиданно остановившись, начинает хриплым говорком, торопливо глотая слова, петь шансонетку:

Cousine, cousine...
T'es fraîche comme une praline...[1]

Оближет сухие губы и еще быстрее:

Cousine, cousine...

А бегающие под морщинистыми веками глаза не перестают мерить расстояние, отделяющее его от медленно, но стойко пробирающегося к нему метрдотеля.

Оборвав пение на высокой и до того сиплой ноте, что самому делается смешно (с комическим отчаянием махнул рукой), он спешно тычет публике просаленную шляпу, все с теми же прибаутками.

— Merci, jeune homme[2], — пожилому господину,

— À vous, la gosse[3], — сердитой, толстой старухе.

---

[1] Кузина, кузина...
Ты аппетитна, как конфетка... (*Фр.*)

[2] Благодарю, молодой человек (*фр.*).

[3] Вы, девушка (*фр.*).

И бежит дальше сипеть и хрипеть в следующем кафе.

Только на парижских бульварах вы можете встретить таких смешных оригиналок, как эта дама с попугаем на плече. Ее многие знают и, смеясь, показывают друг другу.

На даме длинное обшмыганное драповое пальто, к которому идет название «бурнус» — оттого ли, что оно бурое (значит, по созвучию), оттого ли, что старинного, «теткиного» фасона. Шляпа на даме мятая, расшлепанная и вся обшитая мелкими перышками. В перышках этих хлопотливо долбит и роется клювом сидящий на плече у дамы небольшой попугай. Попугай сидит словно на насесте, спокойно, привычно и ни в чем не стесняясь — длинные засохшие потеки, словно на скале — пристанище чаек, украшают плечо и бок «бурнуса».

Лица дамы не видно. Что-то тоже бурое, в тон пальто. Грязные клоки седоватых волос и обвислые поля шляпы закрывают его. Она почти не шевелится, низко нагнувшись к столу, хлебает кофе и жует хлеб. Попугай вертится, чешется, чувствует себя вполне на месте. Мелкие перышки летят изпод его клюва со шляпы дамы.

Весело смеются парочки над забавной картиной.

А солнце, милое, молодое, желтое, только что вылупившееся из зимних туч, с детской невоспитанностью лиловит нафабренные усы бульвардье, зеленит перекрашенное манто дамы с картонкой и ярко выделяет две горькие морщинки у нарумяненного рта жрицы веселья.

Озабоченно бегают гарсоны, высоко над головами поднимая подносы. Звенят стаканы. Солнце. Весна. Жизнь.

Весело!

Как странно сидит этот «парижский бульвардье». Он сидит не меньше ста лет. Помните, у каких старых романистов мы его уже встречали?

У него бессмысленные, но совсем не веселые глаза. Ведь он сто лет ждет чего-то от этого солнца, и толпы, и бедной рюмочки коньяку.

Та, чьи неумелые, но усердные руки крахмалили ему этот воротничок, вероятно, не хочет, чтобы он уходил из дому, и он ссорится с ней и врет, что это необходимо для его дел. Кроме того, ему нужно выпросить у нее несколько грошей,

чтобы заплатить расходы. Эта рюмочка коньяку дорого ему достается.

И вот он одолел. Завоевал. Сидит и смотрит. Глаза бессмысленные — он ни о чем не думает. Смотрит. Если бы он был калмыком, он бы затянул песню:

«Солнце светит, народ ходит, стакан дребезжит...»

Сидит. Смотрит. И для этого невеселого дела мучает кого-то. Зачем?

...Расписанная девица устала и озябла. Она бесконечное число раз проверяет карманным зеркальцем, не посинел ли у нее нос. Ей хочется спать и хочется пить, но хлебнуть из своего стакана она не смеет. Ведь придется заказывать новый, а заработки неважные. Новые башмаки жмут ноги, и от этого они совсем застыли.

Она жмурится. Закрыть бы глаза... Кругом все парочки. О, они все смотрели бы на нее, если бы не эти дамы, которые следят за ними, как полицейские собаки. Гарсон сочувственно кивает ей головой... Уснуть бы...

Старик переставляет шашки. Он уже заметил, что соседняя парочка пересмеивается на его счет. Все равно. Пусть. Только бы не сидеть дома, в нетопленной комнатушке, за которую, если признаться честно, не заплачено уже второй месяц. Об этом глупом и неинтересном факте хозяйка говорит с хозяином за стеной... Все слышно... Здесь тепло и светло, и никто ничего не знает... Веселое солнце... Вот эта парочка все оборачивается... Смейтесь, смейтесь, молодой человек, с вашей барышней. Мне самому давно уже смешно.

Веселый шансонье бежит дальше. Дрожат его щуплые плечи. Он на ходу пересыпает на ладонь мелочь из шляпы.

— Около двух франков...

Так мало, кажется, еще никогда не было. И кашель, кашель. Может быть, снова грипп. Allons rigoler.[1]

Cousine, cousine!
T'es fraîche...

[1] Посмеемся (*фр.*).

Наверное грипп. Merci, jeune homme!

Дама с картонкой говорит по-русски.

— Они обещали купить, сами назначили прийти ровно в три. А швейцар говорит, что уехали утром. Мы шили всю ночь. Крепдешин купили самый дорогой...

— Совсем уехали? — спрашивает собеседница.

— Совсем. В Америку.

— Вытрите глаза. На нас смотрят.

— Я рассчитывала послать немножко в Москву Сереже. Думала — купить себе хоть хлебца.

— У вас пудра есть? Неловко. На нас смотрят.

Смешная оригиналка с попугаем на плече подняла голову.

У нее серое, давно немытое лицо и мертвые, светлее щек, глаза.

— Гарсон! — позвала она. — Гарсон!

Она хотела платить.

И вдруг ее же голос, но полный невыразимой муки, громко и страшно закричал:

— Je ne te reverrai jamais! Ah que je souffre![1]

Это кричала птица.

Так кричат попугаи слова, которые очень часто слышат.

Веселое солнце прыгает по столикам веселого кафе.

Волей Непостижимого созванные статисты играют свои веселые роли.

Мой маленький друг

Не каждый может похвастаться, что у него есть друг на всю жизнь.

У меня есть.

Мой друг черноглаз, молод и прекрасен. Ему пять лет. Он носит клетчатую юбку в двадцать пять сантиметров длины, подстриженную челку и круглый берет.

---

[1] Я никогда тебя не увижу! О, как я страдаю! (*Фр.*)

В дружбу его я верю.

Вчера, когда его отвозили в школу, куда-то за Париж, он сказал матери:

— Передай ей (это значит мне), что я ей друг на всю жизнь.

Это было сказано очень серьезно, и не верить нет никаких оснований.

Познакомились мы в прошлом году. Друга моего привезли из Лондона с настоящим английским паспортом, с первой страницы которого в радостном изумлении глядят четыре круглых глаза: это портрет моего друга с кошкой на руках. На следующей странице написано, что паспорт выдан мисс Ирен Ш. с правом разъезжать по всему Божьему миру без всяких виз. Я позавидовала и мисс, и кошке...

Порог моей квартиры переступила эта самая мисс, уцепившись одной рукой за юбку матери, а другой прижимая к себе большую книгу — сказки Андерсена.

Окинув меня зорким взглядом, сказала деловито:

— Я вас могу очень легко обратить в лебедя.

Этот проект, конечно, страшно меня заинтересовал.

Обычно гости, входя в первый раз в мой дом, говорят такую ненужную дребедень, что даже не знаешь, что и ответить.

— Мы давно собирались...

— Как вы мило устроились...

— Мы столько слышали...

Отвечаешь по очереди:

— Благодарю вас.

— Вы очень любезны.

Иногда и некстати.

Спросят:

— Вы давно на этой квартире?

Ответишь:

— Вы очень любезны.

Спросят:

— Как вам удалось найти?

Ответишь:

— Благодарю вас.

Но ведь первые любезности журчат так одинаково, что никому и в голову не придет в них вслушиваться.

А тут вдруг сразу такое деловое предложение. И видно, что человек опытный, — одного беглого взгляда было достаточно, чтобы оценить во мне самый подходящий материал для производства лебедей.

— Как же вы это сделаете? — спросила я с интересом.

— Очень просто, — ответил мой будущий друг, влезая всем животом, локтями и коленями на кресло. — Очень просто: я пришью вам гусиное лицо, куриную шею, а в руки натыкаю перьев из подушки.

Гениальная простота изобретения поразила меня.

Я пригласила гостью сесть.

Гостья села, сейчас же открыла своего Андерсена и стала читать вслух. Читала плавно, иногда чуть-чуть улыбаясь, иногда щуря глаза, вглядывалась в строки. И странное дело — случайно подняв голову и заметя на столе варенье, с интересом на него уставилась, а голос продолжал так же плавно читать. Тут-то и выяснилась удивительная штука: будущий друг мой оказался особой абсолютно безграмотной, но обладающей феноменальной памятью, и читал сказки наизусть.

Познакомившись поближе, мой друг усаживался иногда на диван, закидывал ногу на ногу и принимался читать мне вслух газету. В газете, конечно, много места уделялось политике.

— Большевики ассигновали декларацию, — старательно выговаривал мой друг и бросал на меня быстрый взгляд исподлобья: оценила ли я красоту стиля.

— Последнее известие: в Берлине разрезалось яблоко с червяком. И все куры упали в обморок.

Иногда за чтением непосредственно следовала декламация. Декламировались с чувством и жестами стихи Саши Черного:

— Кто живет под потолком?
— Гном!

Когда мать моего друга уходила по делам, мой друг спрашивал:

— Идешь зарабатывать сантимы? Заработай только один сантим. Нам его на сегодня хватит. И возвращайся поскорее домой.

Потом начиналась дружеская беседа. Самая неприятная часть этой беседы была часть вопросительная.

— Отчего деревья зеленые?

— Отчего рот один, а уха два? Надо два рта. Один ест, а другой в то же время разговаривает.

— Как лошади сморкаются?

— Отчего у собаков нет денег?

— Куда девается огонь, когда дунуть на спичку?

— Кто такое икс?

— Икс, — отвечаю, — это вообще неизвестное.

— Его никто не знает? Никто в целом мире... А, может быть, все-таки кто-нибудь?

— Нет, никто.

С последней надеждой:

— Может быть, Милюков знает?

Уныло:

— Никто в целом свете его не знает...

Вздох:

— Вот, должно быть, скучно-то ему!

Самая интересная часть его беседы фантастически научная. Иногда в проектах о реформах я замечала у моего друга даже некоторое влияние ленинизма и коммунизма.

— Хорошо бы устроить на улице большую дырку, налить в нее чернил. Кому нужно написать, тот сразу побежал бы на улицу и обмакнул перо.

Потом помню интересный проект о всеобщем образовании у животных:

— Послать укротителей (выговаривалось почему-то «прекратителей») прямо в леса. Они бы там и научили зверей всяким штукам.

Обо всем, обо всем приходилось самому подумать — этому маленькому человеку в клетчатой юбке.

Одеть лошадей в штаны.

Пересаживать деревья с места на место, чтобы им не было скучно.

Выстроить отдельный домик для всех мышей.

Чтобы мореплаватели собирали ветер, когда его много, в бутылки, а потом, когда нужно, дули бы им в паруса...

И вот друга моего отдали в школу.

Через три недели он пришел вытянувшийся, побледневший и очень ученый. В особой, разграфленной тетрадке он умел писать чудесные ровные палочки — прямые и косые.

Из прочих наук он умел петь какую-то очень шепелявую песню. Можно было разобрать:

Petit arlequin
Dans sa robe de satin...[1]

— Может быть, что-нибудь почитаете вслух? — робко предложила я.

Друг взглянул строго:

— Я еще не все буквы знаю. Надо подождать!

— О!

— Я умею считать до пяти.

Как быть?

— «Кто живет под потолком»?

Вместо ясного ответа: «Гном» — набитый шоколадиной рот презрительно пробормотал:

— V'a des bêtises![2]

— О! О! О!

Что же теперь будет дальше... Я уже не смела и вспомнить о пересадке деревьев и «прекратителях». Пожалуй, и это окажется пустяками.

Да. Холодная, суровая наука стала между нами.

— У вас палочки выходят уж очень толстые, — решаюсь заметить я, исключительно для того, чтобы показать, что и я не чужда области знания.

Взгляд снисходительного презрения.

— Вы этого не знаете. Это знает мадмазель Роше.

Кончено. Вырыт ров между нами. Там наука, свет знания, прочная основа — жизнь. А на этом берегу я, с Андерсеном, мышами, волками, принцессами и чудесами. Темная и жалкая.

Конечно, мне правильно переданы слова, сказанные на вокзале, слова о вечной дружбе. Но дружба — это равенство, а здесь я чувствую столько презрительной жалости...

---

[1] Маленький арлекин
В атласном платье... (*Фр.*)

[2] Глупости! (*Фр.*)

Ну, хорошо, даже если дружба, то ведь не в этом дело. Не так уж я самолюбива. Нет, здесь другое…

— Маленький друг мой! Как спокойно уходите вы все с разграфленной тетрадкой под мышкой и даже не оглянетесь на того обиженного, брошенного, которого только что обманули мечтой о крылатом лебедином счастье.

Маленький друг мой — живи!

Гурон

Когда Серго приходил из лицея, Линет отдыхала перед спектаклем. Потом уезжала на службу в свой мюзик-холл.

По четвергам и воскресеньям, когда занятий в школе нет, у нее бывали утренники. Так они почти и не виделись.

На грязных стенах их крошечного салончика пришпилены были портреты Линет, все в каких-то перьях, в цветах и париках, все беспокойные и непохожие.

Знакомых у них не было. Иногда заезжал дядюшка, брат Линет. Линет была теткой Серго, но ему, конечно, и в голову не могло прийти величать ее тетушкой. Это было бы так же нелепо, как, например, кузнечика называть бабушкой.

Линет была крошечного роста, чуть побольше одиннадцатилетнего Серго, стриженная, как он. У нее был нежный голосок, каким она напевала песенки на всех языках вселенной, и игрушечные ножки, на которых она приплясывала.

Один раз Серго видел в салончике негра и лакированного господина во фраке. Лакированный господин громко и звонко дубасил по клавишам их пыльного пианино, а негр ворочал белками с желтым припеком, похожими на крутые яйца, каленные в русской печке. Негр плясал на одном месте и, только изредка разворачивая мясистые губы, обнажал золотой зуб — такой нелепый и развратный в этой темной, звериной пасти — и гнусил короткую непонятно-убедительную фразу, всегда одинаково, всегда ту же.

Линет, стоя спиной к нефу, пела своим милым голоском странные слова и вдруг, останавливаясь, с птичьей серьезностью говорила «кэу-кэу-кэу». И голову наклоняла набок.

Вечером Линет сказала:

— Я работала весь день.

«Кэу-кэу» и золотой зуб была работа Линет.

Серго учился старательно. Скоро отделался от русского акцента и всей душой окунулся в славную историю Хлодвигов и Шарлеманей — гордую зарю Франции. Серго любил свою школу и как-то угостил заглянувшего к нему дядюшку свежевызубренной длинной тирадой из учебника. Но дядюшка восторга не выказал и даже приуныл.

— Как они все скоро забывают! — сказал он Линет. — Совсем офранцузились. Надо будет ему хоть русских книг раздобыть. Нельзя же так.

Серго растерялся. Ему было больно, что его не хвалили, а он ведь старался. В школе долго бились с его акцентом и говорили, что хорошо, что он теперь выговаривает как француз, а вот выходит, что это-то и нехорошо. В чем-то он как будто вышел виноват.

Через несколько дней дядя привез три книги.

— Вот тебе русская литература. Я в твоем возрасте увлекался этими книгами. Читай в свободные минуты. Нельзя забывать родину.

Русская литература оказалась Майн Ридом. Ну что же — дядюшка ведь хотел добра и сделал, как сумел. А для Серго началась новая жизнь.

Линет кашляла, лежала на диване, вытянув свои стрекозиные ножки, и с ужасом смотрела в зеркальце на свой распухший нос.

— Серго, ты читаешь, а сколько тебе лет?

— Одиннадцать.

— Странно. Почему же тетя говорила, что тебе восемь?

— Она давно говорила, еще в Берлине.

Линет презрительно повела подщипанными бровями.

— Так что же из этого?

Серго смутился и замолчал. Ясно, что он сказал глупость, а в чем глупость, понять не мог. Все на свете вообще так сложно. В школе одно, дома другое. В школе — лучшая в мире страна Франция. И так все ясно — действительно, лучшая. Дома — надо любить Россию, из которой все убежали.

Большие что-то помнят о ней. Линет каталась на коньках, и в имении у них были жеребята, а дядюшка говорил, что только в России были горячие закуски. Серго не знавал ни жеребят, ни закусок, а другого ничего про Россию не слышал, и свою национальную гордость опереть ему было не на что.

«Охотники за черепами», «Пропавшая сестра», «Всадник без головы».

Там все ясное, близкое, родное. Там родное. Сила, храбрость, честность.

«Маниту любит храбрых».

«Гуроны не могут лгать, бледнолицый брат мой. Гурон умрет за свое слово».

Вот это настоящая жизнь.

«Плоды хлебного дерева, дополненные сладкими корешками, оказались чудесным завтраком»...

— А что, они сейчас еще есть? — спросил он у Линет.

— Кто «они»?

Серго покраснел до слез. Трудно и стыдно произнести любимое имя.

— Индейцы!

— Ну, конечно, в Америке продаются их карточки. Я видела снимки в «Иллюстрации».

— Продаются? Значит, можно купить?

— Конечно. Стоит только написать Лили Карнавцевой, и она пришлет сколько угодно.

Серго задохнулся, встал и снова сел. Линет смотрела на него, приоткрыв рот. Такого восторга на человеческом лице она еще никогда не видела.

— Я сегодня же напишу. Очень просто.

Линет столкнулась с ним у подъезда. Какой он на улице маленький со своим рваным портфельчиком.

— Чего тебе?

Он подошел близко и, смущенно глядя вбок, спросил:

— Ответа еще нет?

— Какого ответа? — Линет торопилась в театр.

— Оттуда... Об индейцах.

Линет покраснела.

— Ах, да... Еще рано. Письма идут долго.

— А когда может быть ответ? — с храбростью отчаяния приставал Серго.

— Не раньше как через неделю, или через две. Пусти же, мне некогда.

— Две...

Он терпеливо ждал и только через неделю стал вопросительно взглядывать на Линет, а ровно через две вернулся домой раньше обычного и, задыхаясь от волнения, прямо из передней спросил:

— Есть ответ?

Линет не поняла.

— Ответ из Америки получила?

И снова она не поняла.

— Об... индейцах.

Как у него дрожат губы. И опять Линет покраснела.

— Ну, можно ли так приставать? Не побежит же Лили как бешеная за твоими индейцами. Нужно подождать, ведь это же не срочный заказ. Купит и пришлет.

Он снова ждал и только через месяц решился спросить:

— А ответа все еще нет?

На этот раз Линет ужасно рассердилась.

— Отвяжись ты от меня со своими индейцами. Сказала, что напишу, и напишу. А будешь приставать, так нарочно не напишу.

— Так, значит, ты не...

Линет искала карандаш. Карандаши у нее были всякие — для бровей, для губ, для ресниц, для жилок. Для писания карандаша не было.

— Загляну в Сергушкино царство.

Царство было в столовой, на сундуке, покрытом старым пледом. Там лежали рваные книжки, перья, тетради, бережно сложенные в коробочку морские камушки, огрызок сургуча, свинцовая бумажка от шоколада, несколько дробинок, драгоценнейшее сокровище земли — воронье перо, а в центре красовалась новенькая рамка из раковинок. Пустая.

Вся человеческая жизнь Серго была на этом сундуке, теплилась на нем, как огонек в лампадке.

Линет усмехнулась на рамку.

— Это он для своих идиотских индейцев... Какая безвкусица.

Порылась, ища карандаш. Нашла маленький календарь, который разносят почтальоны в подарок на Новый год. Он был весь исчиркан; вычеркивались дни, отмечался радостный срок. А в старой тетрадке, старательно исписанной французскими глаголами, на полях по-русски коряво, «для себя», шла запись:

«Гуроны великодушны. Отдал Полю Гро итальянскою марку.

«Черес десядь дней отвед из Америки!!!

«Маниту любит храбрых. Севодня нарошка остановился под самым ото[1]».

«Еще шесть дней».

«Купил за 4 francs».

«Через четыре дня».

«Она еще раз peut être[2] не написала, но уже скоро напишет. Отвед будет черес quinzaine[3]. Отме. 4 Mars[4]. Гуроны тверды и терпиливы».

— До чего глуп, до чего глуп! — ахала Линет. — Это принимает форму настоящей мании. И как хорошо я сделала, что не написала в Америку.

Была весна...

На второй день праздника купец Простов предоставил, как всегда, свою таратаечку в распоряжение Марельникова, смотрителя земской арестантской. Четыре года тому назад сидел купец Простов двенадцать дней за буйство и за эти двенадцать дней полюбил тихого Марельникова, Ардальона Петровича, заходившего к нему в комнату по вечерам тихо потренькать на гитаре:

---

[1] От *фр.* «auto» — автомобиль.

[2] Может быть (*фр.*).

[3] Две недели (*фр.*).

[4] Март (*фр.*).

Ты скоро меня позабудешь,
А я никогда, никогда.

И вот с тех пор — уже четвертый раз — дает купец Простов Марельникову на второй день праздника покататься в своей таратаечке.

И каждый раз, проезжая по шоссе мимо монастырской рощицы, вдоль покрытых зеленой щетинкой полей, думалось Марельникову, что он помещик, объезжает свои владения и обдумывает хозяйство.

Человек он был городской, в городе выросший, дальше Боровицкого уезда никуда не выезжавший, но что поделаешь — жили в душе его какие-то «озимые», «умолот», «яровые» и «запашки», и вот так, распустив вожжи, упершись расставленными ногами в передок таратайки, вдыхая широкими ноздрями запах весенней воды, душистый, как разрезанный первый огурчик, а несет этот запах молодой ветерок, просеивает через лиловую голую рощицу, вздувает Марельникову бороденку — вот так, поглядывая на луга и овражки, до того чувствует себя Марельников настоящим хозяином, что, окликни его какая-нибудь великая земная власть — исправник, губернатор: «Эй, кто таков будешь?» — кликнул бы от всей оторопи своей: «Землевладелец-с!»

И ничего в этом нет удивительного. Много на Руси встречалось и встречается таких не то что мечтателей, а духом живущих другой жизнью и порой столь напряженно и реально, что даже не знаешь, какое за таким человеком существование следует утвердить — помощник ли он провизора или реорганизатор русского флота?

Марельников был землевладельцем. Купцова лошадь, новокупка, сытая, с глубоким желобом посреди крупа, свободно и легко несла легкую таратаечку и не обращала никакого внимания на седока: сама прибавляла шагу, где считала нужным, сама переходила на ту сторону дороги, где посуше.

Марельников нюхал веселый ветерок и думал о хозяйственном. Знаний у него по этой части не было, но зато были планы и советы.

— Пчельник завести. Всем советую заводить пчельники. Образцовые. Без всяких трутней. Трутней отделить, посадить на меньший рацион, а то и просто поморить голодом.

Небось, живо заработают. Почему все твари приспособляются, один трутень не может. Эдак всякий распустится. Развалится, а другие за него работай. Так вот что, если обратить на это серьезное внимание, то пчельник можно поднять до самых высоких ступеней продукции.

Из придорожной монастырской часовенки вышел монашек с зеленой бороденкой, в прозеленевшей ветхой ряске, разглядел сытого конька прижмуренными глазами и поклонился, держа двумя руками подаянную книжечку.

Марельников тпрукнул на лошадь, достал пятак. В другое время не подал бы. Ну а помещик Марельников подает на Божий храм.

За часовенкой пора было повернуть к городу. Поворачивать было страшновато — дорога узкая, не вывернуться бы на сторону. Но сытый конек — и откуда это ему? — живо понял, в чем дело, и не успел Марельников потянуть левую вожжу, как тот сам повернулся круто, чуть не на одном месте, и помчался домой.

«Неприятная лошадь», —думал Марельников, крепко держась за вожжи.

Подъезжая к городу, он вдруг насторожился и у третьего дома, маленького, деревянного, облупленного, серого, решительно потянул вожжи, остановился и вылез.

Поднялся во второй этаж, где в сенцах на подоконнике стояли выставленные на холод, хозяйственно прикрытые дощечками крыночки, горшочки и лоточки. Посмотрел, усмехнулся, приосанился и дернул ручку звонка.

Дверь открыла девчонка, опрометью кинувшаяся куда-то вбок. Потом чей-то голос сказал:

— Ишь! На ночь глядя...

И вошла она.

В сумерках полное лицо ее казалось бледнее и глаза темнее и больше. Кроме того, на ней было что-то новое, невиданно прекрасное, вроде тюлевого шарфика, завязанного под подбородком пышным бантом.

— Христос Воскресе! — начал было помещичьим бравым тоном Марельников и даже лихим вывертом расправил усы, собираясь целоваться, но сумерки, и томность, и бледность сразу подсекли и погасили его удаль. И тихим голосом спросил он:

— Разрешите на минуточку, Лизавета Андреевна... только справиться о здоровье.

— Спасибо! — печально ответила хозяйка. — Я здорова.

И она вздохнула.

Там, в земском кооперативе, стоя за кассой в перчатках с обрезанными кончиками пальцев, в гарусном платке на плечах, она была совсем другой. Конечно, и там она была очаровательна, но то, что здесь, — это даже чересчур.

— Изволили быть у заутрени? — совсем уж робко спросил Марельников.

— Мы же в церкви виделись, чего же вы спрашиваете?

Марельников смущенно кашлянул:

— В монастыре служба лучше, чем в соборе. Хотя в соборе дьякон преобладает.

Хозяйка в ответ только тихо вздохнула и, повернув лицо к окну, стала смотреть в прозрачное зеленое небо.

Марельников снова кашлянул:

— А я сегодня, знаете ли, проехался немножко...

Она молчала, и он прибавил уже совсем безнадежно и отчаянно:

— По-помещичьи...

И замолк тоже.

Потом она, не поворачивая головы, сказала:

— Получила вчера письмо от Клуши. Она сама ушла из труппы, так что для меня амплуа уже найти не сможет.

И снова замолчала.

Марельников притих и слушал душой ее думы.

Думала она о том, как приезжала два года тому назад фельдшерова Клуша, бывшая подруга ее по прогимназии, теперь актриса, приезжала с труппой, как заболела одна из актрис, и Клуша предложила ей, Лизавете Андреевне, попробовать свои силы. И сыграла она в пьесе «Съехались, перепутались и разъехались» горничную так хорошо, что даже сам земский начальник признавался открыто, что совсем ее не узнал. Потом труппа уехала. А Лизавета Андреевна осталась брошенная. Клуша как будто обещала... И вот два года прошло, два года.

Марельников двинул стулом, и рядом в углу что-то отозвалось звенящим стоном.

— Гитара!

Он встал и на цыпочках сделал шаг, взял гитару, сел. Тихо заговорили струны под толстыми осторожными пальцами. Запел убедительным говорком в нос:

Ты будешь, Агния, томиться,
Ты будешь ужасно страдать.
Ты будешь рыдать и молиться,
Но с любовью нельзя совладать...

И повторили струны убедительным говорком:

Нельзя совладать...

— А скажите, Лизавета Андреевна, — вдруг сказал он и замолчал, испугавшись своего громкого голоса.

Но надо было продолжать, потому что она повернула голову.

— Скажите, вы согласились бы быть женой помещика?

Она покачала головой:

— Зарыть себя навсегда в деревне? Навеки отказаться от мечты? Я знаю — жизнь актрисы тяжела. Интриги. Закулисные дрязги. Но человек, который посвятил себя искусству, должен быть выше этого. И должен быть прежде всего свободен.

Марельников встал, с шумом отодвинул стул и голосом, каким говорят в большой компании, бодрым и громким, сказал:

— Разрешите откланяться, милейшая Лизавета Андреевна... С самыми лучшими пожеланиями. Всего доброго и до скорого-с! Хе-хе!

Она проводила его до сеней, он снова расшаркался и громко застучал сапогами по лестнице.

На дворе было уже темно, а в небе ясно различалась серебряная в зеленых лучиках звезда.

Холодно!

Купцов конек задумался у крыльца, слившись с сумерками, стал тихий. Звякнул подковой по мостовой.

На повороте Марельников обернулся.

В сером домике засветилось теплым жилым оранжевым светом окошечко.

— Живет! Ну что ж! Пусть. Пусть живет...

Он тронул конька вожжей и уже бравым помещиком крякнул молодецки:

— Э, чего там, брат! На актрисах, брат, не женятся!

И, колыхнувшись на ухабе, повернул к купцову дому сдавать таратаечку.

— До будущего, значит, года? Хе-хе! До будущего...

Гудок

Поздно ночью, когда Париж стихает, тянется по улицам вереница телег, груженных овощами. Везут их лошади, стуча о камни крепкими подковами, и этот странный здесь, в Париже, стук — дает мне Россию. Этот стук был одной из мелодий нашего города, деловой и грубый летом, когда сливался с дребезжанием дрожек и грохотом груженого железа, и такой страстно-тревожный, когда, пробивая водянистый последний снег, звенит обещанием весны, особенно звонкий на рассвете, когда еще спят труд и забота и еще не спит счастье.

А позже, когда взойдет солнце, — помните, чирканье дворницких скребков, счищающих снег?

Тоже наш, русский звук, мелодия нашего города.

Но самое вечное, самое незабываемое для меня — это гудок, рассветный, фабричный гудок, долгий, тоскливый, безысходный...

Я помню его очень рано. Вижу себя маленьким ребенком, в кровати с плетеными стенками. Я тогда часто просыпалась на рассвете, в это самое страшное время, когда тихая тьма ночи начинает клубиться туманом, шевелится тенями, ползет прочь от мутнеющего окна, забивается в углы, за шкаф, за лежанку, колышется, зыбится. Борются свет и мрак, Ормузд и Ариман, и злая рать черной силы бьется, умирая, и душит тоской.

Помню, как лежала я, не смея шевельнуться, и даже холодно было глазам, так широко они были раскрыты, смотря в этот бесшумный, жуткий хаос рассвета.

Помню, самое страшное было на лесенке, на трех ступеньках высокого порога. Там чернел большой мутный котел, клубился дым, и безногие бородатые тени нагибались и мешали в нем длинными костылями. Тихо. И вдруг, несказанной тоской ущемив душу, долгий, зловещий, голодный, вливался в жуткие видения рассвета вой фабричного гудка.

И тогда оцепенение мое проходило, сменялось острым ужасом, и я садилась, съежившись комом, и кричала звериным криком без слов:

— А-а-а-а!

Я знала, что это гудок, что он зовет на работу фабричных.

— Чего боишься, глупая, — ворчала няня. — Это рабочие подымаются.

Но здесь, глядя на клубящиеся враждебные тени, я слышала в нем их вой, волчий вой горя и злобы.

Потом, через много лет, как странно услышала я его снова...

Это было весной в Петербурге. Помню слезливый, липкий, похожий на насморк, день, не холодный, но знобкий, когда трясет человека в самой теплой шубе. Бродим по улицам тихо, как рассветные тени, колышемся на месте, тянемся вдоль и поперек. Улица тиха, пуста и свободна, и мы можем медленно и зыбко ходить прямо по мостовой. И все молчат, но молча понимают друг друга по каким-то неуловимым движениям. Так разговаривают лошади, стоя рядом в упряжке.

Все мы ждем чего-то, но не показываем друг другу, что ждем. Точно по какому-то тайному договору должны притворяться.

Сизая мгла проплывает в арку Гостиного Двора, слепого, глухого, с закрытыми окнами. Часы на городской Думе показывают три. Но как мутно, как тихо идет день. Беззвучный. И вдруг тихий, долгий, безысходный вой. Колыхнул ужасом сизые тени. Это гудок. Он пришел днем, этот вопль моих рассветных призраков. Пришел днем, вошел в наш день, в нашу жизнь. Когда мы замолчали, он закричал за нас.

И чьи-то посиневшие губы повторили слова, слышанные давно:

— Это рабочие подымаются.

Гудок выл, тянул, звал, собирал.

Заклубились рассветные тени, выползли уроды, нежить моих зловещих предчувствий, тоскливый ужас моей далекой детской души.

Гудок созывал.

Приползли нищие и калеки недавней войны, терзая стыдом и жалостью; сбежались убийцы, палачи, бесноватые из тюрем, из больниц и сумасшедших домов, и среди них — самые страшные — здоровые и разумные.

Замешали мутное варево моих рассветных кошмаров. Застывшие, не смея шевельнуться, глазами широко, «до холода в них», раскрытыми, смотрели не дыша.

Помню записанное тогда, отрывки помню:

Бродят страшные тени
По мертвому городу.
Ноги обрублены по колени,
Костыли наступают на бороду...
Трубит мотор.
Слепят фонари.
Летят упыри.
Спешат до зари —
Таков их обычай —
За свежей добычей.
— А-а-а... где-то стрельба-а...
          — Ну, что же,
Упокой, Боже,
Душу убиенного раба...
...На Марсовом поле парад:
Шагают, за рядом ряд,
          Тени солдат,
Блестит шитье их мундиров.
— Ать! два! Ать!
Хорошо шагать!
Равненье держать,
Под команду расстрелянных командиров!
Шагают за рядом ряд,
          Тени солдат
Армии старой, убитой...
— А кто там впереди,
С крестиком на груди
Стоит, окруженный свитой?

— Нет, это лунный свет...
Там никого нет.
Нет...
...А под землей шепчут трупы:
«Были мы глупы,
Вот нас и обманули —
В лоб по пуле,
Да по сажени земли.
— Вре-ошь! Мы не надолго легли.
Мы еще встанем —
Делить станем...
Дели-и-ить...»
Клубится рассвет...
Желтый скелет
На стенки клеит декрет:
«Про-ле-та-риат,
Спеши, стар и млад,
Под серп и молот,
Все равны,
Всем равные чины
И по куску ветчины».
Подписано: «Голод».
— Господи, Ты, Которого нет,
Покажи нам свет!

Жанин

Теплый, душистый воздух дрожит от жужжащих электрических сушилок. Запах пудры, духов, жженых волос и бензина томит, как полдень в цветущих джунглях.

Двенадцать кабинок задернуты плюшевыми портьерами. Портьеры шевелятся, дышат. Там, за ними, творятся тайны красоты — рождаются Венеры из пены... мыльной.

Мосье Жорж, высокий, с седеющими височками, больше похож в своем белом халате на хирурга, чем на парикмахера, светски улыбаясь, откидывает портьеру и приглашает клиентку.

— Чья очередь?

Толстая старуха, тряся щеками, подымается с кресла.

— Моя.

— Завивка?

— Нет, — отвечает старуха басом. — Остригите меня мальчиком.

Мосье Жорж почтительно пропускает ее в кабинку.

Мадемуазель Жанин, одиннадцатая маникюрша, долго смотрит им вслед. Ей безразлично, что дама, которую сейчас будет стричь мосье Жорж, стара и безобразна. Он будет дотрагиваться до ее волос своими белыми ласковыми руками, и Жанин ревнует.

Может быть, дама скажет ему: «Мосье Жорж, вы так прекрасны, что я предлагаю вам квартиру, автомобиль и огромное жалованье, а кроме жалованья я выйду за вас замуж и назначаю вас своим наследником».

— Мадемуазель! Вы мне делаете больно! Не сжимайте так мой палец!

Жанин смотрит на свою клиентку и не сразу понимает. Ах да! Маникюр.

— Мадам хочет немножко лаку?

— Я уже два раза ответила вам, что не хочу.

У клиентки сердитые круглые глаза. Она не даст на чай.

Жанин изящно улыбается и начинает мило щебетать.

— Сегодня чудесная погода. Мадам любит хорошую погоду? Да, да, все наши клиентки любят хорошую погоду. Даже странно. Хорошая погода очень приятна. А когда дурная погода, тогда идет дождь. А летом бывает гораздо жарче, чем зимой и солнце быва...

Она запнулась.

В дверях между складками драпировки внимательно смотрит на нее косыми глазами желтое лицо.

— Ли!

Лицо скрылось.

Как смеет он смотреть на нее! Ведь она отказала ему наотрез. Быть женой китайца! Правда, он много зарабатывает. Он делает педикюр. Все в парикмахерской смеются и дразнят ее... Мосье Жорж не дразнит. Он сделал хуже. Он серьезно сказал:

— Что ж, Ли хорошо зарабатывает. Об этом стоит подумать.

Это было больнее всего...

— Довольно, мадемуазель! Смотрите, вы мне совсем криво срезали ногти!

Какие круглые глаза у этой клиентки!

Морис, молоденький помощник мосье Жоржа, проходит мимо. Он бледен и шепчет дрожащими губами.

Это значит, что сегодня суббота и Жорж посылает бедного мальчика брить бородатую консьержку.

О-о, сколько горя на свете!

Клиентка встает.

Жанин идет за ней к кассе. В длинных зеркалах отражается ее тонкая фигурка, стройные ножки в лакированных башмачках.

Может быть, сегодня придет делать маникюр молодой американский миллиардер; он будет выразительно смотреть на нее, а потом скажет «эу» и наденет ей на палец обручальное кольцо. У них будет свой особняк в парке Монсо, и мосье Жорж будет приходить причесывать ее на дом.

— Мосье Жорж? Пусть подождет. Я с моим мужем-американцем пью наше утреннее шампанское.

— Мамзель Жанин! Маникюр!

Ее посылают в ту самую кабинку, где только что щелкал ножницами мосье Жорж.

Толстая старуха, обстриженная, с опущенными жирными щеками, стала похожа на деревенского кюре. Она смотрит на свое отражение в зеркале, а мосье Жорж извивается над ней, как шмель над розой, жужжа электрической машинкой.

— Мадам чувствует себя легче? Моложе? Взгляните — совсем мальчик!

Он подает ей ручное зеркало, и мадам, ухватив его толстой лапой, игриво поворачивает голову и смотрит на деревенского кюре.

— Восхитительно! — решает за нее мосье Жорж.

Как он умеет смотреть! В его глазах неподдельный восторг.

Жанин берет дрожащими руками толстую красную лапу и начинает, изящно улыбаясь, подтачивать ей ногти.

— Мадам любит остро или кругло? У мадам такие прелестные ручки. Вот если бы у меня были такие!

Мосье Жорж насмешливо улыбается.

— Не будьте завистливы, мадемуазель!

Жанин весело смеется, как будто услышала что-то необычайно остроумное.

«О! свинья! свинья! свинья!» — злобно думает она и улыбается беспечно и кокетливо.

В соседней кабинке кто-то страстно и пламенно убеждает слушателей, что запах сирени не идет к стриженым волосам.

— Только «Шипр»! Только «Шипр»! Вообще — мужские духи!

— Вы сегодня двум клиенткам порезали пальцы! — строго говорит хозяйка.

Жанин тупо смотрит в сторону.

На ней кокетливая шляпка, изящное манто... В подрисованных глазах мерцает мечта об американце и тоска о мосье Жорже, а подмазанный ротик улыбается, как будто достиг всего.

Она медленно выходит из парикмахерской.

Может быть, Жорж выйдет одновременно, и до угла они пойдут вместе...

На улице темно. Громко смеясь, пробежали Клодин и Мишлин. Перед витриной, где выставлены куклы в модных прическах, кривляется коротконогая тень. Это китаец Ли дразнит восковых красавиц, посылает им поцелуи, высовывает язык.

Темно. Дождь дрожит бисерными ниточками перед окном. Хлопнула дверь... Мосье Жорж? Мосье Жорж!

Ушел...

Ветер

Ветер дует, дует в трубу — гонит дым в комнату, стучит в ставни, поет, плачет. Дрожит хлипкое парижское окно, дребезжит задвижкой. Газета на столе шевелится, а в газете вести:

«...У берегов Бретани погибли моряки... Много лодок не вернулось... Многих судов не досчитываются... Ветер крепнет... гибнут... подойти к ним невозможно...»

«Рыбаки-бретонцы» — для нас это слово звучит как из французского романа. Живого человека за этим словом мы не чувствуем.

Но вот подошла к окну моя служанка, сложила на груди тяжелые рабочие руки, и долго смотрела на черные тучи, и долго слушала.

Тучи буревые, трехцветные. Черная стена недвижна, и по ней плывут бурные горы, а их обгоняют светлодымные, легкие, быстрые облака, крутятся, вьются, бегут, летят. Свистит ветер, гонит, бьет их бичом.

Смотрит на них тяжелыми глазами Мария Бокур.

— О, как сегодня страшно в море! Вот такие тучи бежали, когда погиб мой отец. А через два года волны унесли двоюродного брата. Он был такой сильный, он продержался на воде четыре часа. Вся деревня была на берегу. И нельзя было подойти. Они все утонули. И я его видела. Мне казалось, что он кричит. Но это вздор. Крика нельзя было бы слышать. Да они никогда и не кричат, те, которые тонут. У них не хватает дыхания на крик. Это ветер стонал, ветер.

Смотрю на ее широко раскрытые глаза и чуть наклоненную, прислушиваясь, голову и вспоминаю такие же глаза в далекой, далекой степи, в занесенной снегом усадебке, в метель, в снежную пургу.

Эти глаза были на лице очень бледной женщины с ребенком на руках. Она куталась в оренбургский платок, куталась от страха, а не от холода, и ребенка прижимала к себе. И большая собака сидела на полу, у ее ног, тоже встревоженная, насторожившая острые уши.

Ветер выл, стучал в стены, плакал тонким свирельным голосом. Ребенок прижимался к матери, косил круглые глаза на черное окно, протягивал коротенькую мягкую ручку и говорил:

— Там!

— Я не могу к этому привыкнуть, — тоскливо шептала женщина. — Как они могут здесь жить? Вы слышите? Вы слышите, какой зловещий вой? Смотрите, как ребенок чувствует... он всегда такой веселенький, а сейчас какой ужас

у него в глазах. А собака... Как она насторожилась. Чего же она боится? Значит, есть чего бояться. Животные чувствуют. Какая тоска! Отчего ветер всегда тоскует? Откуда он несет эти крики, и стоны, и плач? Где он схватил эти вопли о помощи, этот вой насмерть замученных? Он летел над гибнущими кораблями, над замерзающими караванами в голодных степях, мимо стонущих матерей, мимо плачущих детей, мимо волчьей стаи, воющей над умирающими солдатами, брошенными на поле сражения, он качал труп повешенного на скрипучей качели-виселице, он схватил под крестом на кладбище вопль последнего отчаяния и несет, все несет к нам, стучит в двери, в окна — откройте! Впустите! Слышите, как стучит? Настойчиво стучит... Слышите?

— Там! — сказал маленький, протянув к окну ручку, и заплакал.

Мария смотрит на тучи, слушает ветер.

— Много рыбаков погибло. Это больше всего наши бретонцы. Бретонцы все моряки. Когда ветер воет, мне все кажется, что это их крики доносятся. Но это вздор — они не кричат. Пьер был такой сильный... боролся с волнами четыре часа. Я была совсем молоденькой... Может быть, я была бы потом его невестой. On ne sait jamais[1]... О, какой ветер. Notre Dame de la Garde, priez pour nous![2]

Notre Dame de la Garde. Матерь Божия Охраняющая.

Я была в ее церкви в Марселе.

Весь храм сложен из желтого камня, вырубленного из той же скалы, на которой стоит. Он органически слит с нею, из нее рождается. Гигантская фигура Мадонны увенчивает его фасад. Вся статуя, ярко вызолоченная, с тяжелой высокой короной на голове. Лицо Мадонны повернуто к морю. Она смотрит, сторожит, охраняет. Она видит далеко уходящие суда, и ее верное племя — марсельские мореходы — долго видят Ее. Сверкающая корона — последний для них береговой привет.

---

[1] Теперь уже никогда не узнать (*фр.*).

[2] Матерь Божия Охраняющая, помолись за нас! (*Фр.*)

Ветер свистит на паперти. Он встречает вас на первых же ступенях лестницы и, как хозяин, ни на минуту не оставляя, провожает вас по своим владениям. Храм состоит из двух частей. Нижняя темная, древняя, глухо гудит. Верхняя — вся во власти ветра. Вы с трудом открываете тяжелую дверь, которая жутко захлопывается за вами. Свист, вой, гул, стоны колоколов.

— Здесь всегда ветер, — говорит тихая монашенка, продающая белые свечи с голубым ободком, цвета Мадонны.

Ветер злится, жалуется, плачет, стучит чем-то тяжелым по крыше. Пугает.

— Вот я какой! Молитесь о тех, кто сейчас в море.

Захлопнулась дверь. Здесь он нас не достанет. Стонет в колоколах. Стучит, гудит, ломится.

В глубине храма лунно светится та же Мадонна. Но из массивного литого серебра. Направо — жертва ей — целый костер белых свеч.

Свечами заведует маленький, бритый старичок. Он все время хлопочет, ворчит, бормочет, переставляет их с места на место. Снимет одну, посмотрит, достаточно ли погорела, отложит в сторону, покачает головой и снова прилепит к паникадилу. Это его хозяйство. Он что-то понимает, нам неизвестное. Он ворчит на упрямую свечку, которая не хочет держаться прямо. Высокую, яркую, он погладил своей трясущейся сухенькой ручкой. Маленький огарок он снял, но призадумался, кивнул головой и прилепил снова.

Видно, нужно было чьей-то молитве в этом огарке еще потеплиться. Старичок это знает; руками, глазами старыми чувствует теплые огоньки, какие они, какой молитвой зажглись...

В храме темно. Весь костер белых свеч озаряет только небольшой придел. А там, в глубине, чуть блестит лунно-серебряная Мадонна, и под темными сводами странные тени — тени черных кораблей. Это тоже жертвы Мадонны. Это модели тех судов, которые она спасла от гибели в подвластном ей море.

Ветер стучится в дверь, точно зовет уйти. Вот загудели его шаги по лестнице. Взбежал, тронул колокола, застонал, заплакал свирелью.

Как жутко в таком храме под черными тенями кораблей молиться о близких, плавающих и путешествующих, когда воет и ломит скалы тот, в чьей власти они сейчас так жалки и малы.

Отдаю за них Мадонне мою малую жертву — белую свечку с голубым ободком.

Старичок принял ее своей древней рукой, поставил, отошел и, снова вернувшись, переставил ее ближе. Он что-то знает...

— Notre Dame de la Garde! Матерь Божия Охраняющая! Спаси их!

Золотой наперсток

Я увидела его вчера в окне антикварного магазина, эту совсем забытую мною вещицу, ненужную, много лет моей жизни прожившую около меня среди ленточек, пуговок, пряжек и прочей ерунды женского обихода, брошенной мною в России.

Это крошечный золотой наперсток, «первый», который годится только для пальчика семилетней девочки.

Я долго смотрела на него — он или не он? Через стекло трудно было разобрать рисунок бордюра и не видно было вырезанной подписи.

И ведь ничего не было бы удивительного, если бы это оказался он. Многие находят теперь старые свои вещи в европейских магазинах.

Решила взглянуть на него.

Вошла. Волновалась ужасно — даже удивительно — ведь никогда не был он мне особенно мил и дорог, этот крошечный золотой наперсток.

Темные тихие предметы в этом магазине, каждый со своей историей, всегда печальной — ибо иначе не были бы они здесь — собранные из разных мест, из разных веков, дремлют, как старые, усталые люди, нашедшие покой и уважение. Вы заметили, что в таких лавках никогда не говорят громко? И звонок у двери звякает коротко и глухо. Склеп. Склеп вещей.

— Можно взглянуть на маленький золотой наперсток?

Подагрическая рука с сухой чешуйчатой кожей подает мне кривыми пальцами крошечную вещицу...

— Нет. Не он.

На том бортик был в листиках. И, главное, надпись — неровными писанными полустертыми буквами вырезанное: «À ma petite Nadine»[1].

Надписи нет. Это не он.

Я ухожу.

Это не он, но все равно — этот чужой, чуть-чуть похожий, дал мне все, что мог бы дать он сам: милую печаль зыбких воспоминаний, таких неясных, «мреющих», как в лесной прогалине в солнечное утро испарение согревающейся земли: дрожит что-то в воздухе, ни тень, ни свет — эманация самой земли.

Квадратный ларчик из темного душистого дерева. Над замочком серебряная пластинка, на ней вырезана корона, под короной буквы. Какие буквы — не помню.

Ларчик трогать не позволяют — в нем опасные предметы: ножницы, иголки и шелковые моточки. Ножницы могут обрезать палец, иголки уколоть, шелковые моточки — спутаться. И среди этих опасных предметов — крошечный золотой наперсток.

— Когда тебе исполнится семь лет, я отдам тебе этот наперсток, — говорит мне моя бабушка.

Ларчик — ее рабочий ящик.

— Этот наперсток, — продолжает бабушка, — подарила мне моя тетушка, grande tante, когда мне исполнилось семь лет.

Меня очень удивило, что бабушке могло быть когда-то семь лет.

В гостиной висели ее портреты: черные тугие, блестящие локоны, голые плечи в кружевной «берте» и роза в руке. Может быть, это тогда ей было семь лет?

— Отчего же наперсточек мне, а не Маше? — спрашиваю я. — Маша старше.

[1] Моей маленькой Надин (*фр.*).

— Оттого что на нем вырезано мое имя, а тебя зовут так же, как меня. Поняла? Тут вырезано: «À ma petite Nadine»...

Потом помню толстую канву, по которой вышиваю шерстью крестики. На среднем пальце моей правой руки — он. Золотой наперсточек.

— Мне его подарила моя тетушка, — говорит бабушка. — Tante Julie[1].

Она была в молодости такая хорошенькая, что ее называли «Жолиша»[2]. Мне рассказывали, что, когда Бонапарт шел на Москву, он как раз должен был проходить через наше имение, что в Могилевской губернии, около Смоленска. И так как Жолиша была очень хороша, то, конечно, Бонапарт увлекся бы ею и пошли бы всякие ужасы.

Мне представилось, что «увлекся» значит ужасно кричит, и топает ногами, и никак его не успокоишь. И я вполне сочувствую прабабушкиным страхам.

И вот, ma chère[3], посадили Жолишу в погреб и продержали там десять дней, а слугам объявили, что она уехала, чтобы не было предательства. Однако Бонапарт прошел стороной.

Бонапарт для меня слово знакомое.

— Бабушка, — говорю я, — я знаю про Бонапарта:

Бонапарту не до пляски.
Растерял свои подвязки.
И кричит: pardon, pardon!

Это, верно, когда Жолишу прятали?

Но бабушке песенка не понравилась.

— Не надо этого повторять. Это очень грубо. Он был императором. И откуда вы берете такие пустяки?

И были еще рассказы, все в то время, когда крошечный наперсток еще не стал тесен для моего пальца.

Рассказывала бабушка, какое было в ее время хозяйство. Как крепостным девкам расчесывали косы с пробором на затылке, чтобы видно было, чистая ли шея. Платья они

[1] Тетя Жюли (*фр.*).

[2] От *фр.* «jolie» — хорошенькая.

[3] Дорогая (*фр.*).

носили очень узкие, из домотканины. Ситец считался большой роскошью, потому что его надо было покупать.

— Твой дедушка был мот. Он вдруг всю дворню в ситец нарядил. Тогда много об этом его поступке было пересудов.

Вообще тогда почти ничего не покупали. Все было свое. Из хозяйственных продуктов покупали только чай и сахар. Ключик от сих редкостей носила прабабушка на шее.

— Детям чаю никогда не давали. Чай тогда был очень вредным. Все пили сбитень. Это очень было полезно. Приготовляли его из горячей воды с медом и разными специями.

Бальные туалеты для девиц в бабушкину молодость шили из тарлатана — нечто вроде твердой кисеи. Красиво и дешево.

Зиму семья жила в имении в Витебской губернии. Лето — в Могилевской.

Переезжали целым поездом.

Впереди в карете — бабушка с дедушкой.

Потом в огромном дормезе бабушкина мать (та самая, с ключиком от чая на шее) и четыре ее внучки.

— Среди них Варетта, твоя мама.

Потом коляска с гувернерами и мальчиками.

Потом коляска с гувернантками и их детьми.

Потом повара и прочая челядь.

Раз проезжали по новой дороге мимо большой усадьбы. Хозяин выслал дворецкого просить, чтобы заехали отдохнуть. Заехали, посчитались с хозяином родней — родня сразу нашлась — и вот в тот же вечер — бал.

На хорах свои крепостные музыканты: кто шорник, кто портной, кто кузнец — выбирали способных к музыке — все в парадных кафтанах...

Открылся бал полонезом. В первой паре хозяин дома с бабушкой. За ним хозяйка с дедушкой. Потом все дети по возрасту, за ними родственники, приживалы, гувернеры и гувернантки. Прогостили несколько дней.

— Потом хозяева сами поехали к нам гостить. И тоже всем домом. Очень весело жили.

— А наперсточек тогда у кого был?

— Наперсточек тогда был у Надины, моей младшей дочери, твоей тетушки. Она умерла невестой. Пошла в церковь —

видит гроб. Побледнела как полотно и говорит: «Это значит, что я должна умереть». Вернулась домой, легла в постель, ничего не ела, не говорила и через несколько дней умерла. Теперь наперсток у тебя, и очень прошу его не терять.

Много лет валялся наперсточек по разным коробкам и шкатулкам. И вот ушел.

У кого он там? Кому нужен такой крошечный? И что видят они в нем? Только маленький кусочек золота. А сколько эманаций в нем наших. Руки четырех поколений прикасались к нему. Та чудесная Жолиша, которую прятали от изверга Бонапарта... Наверное, пальчики ее пахли пачулями... И детские руки бабушки, строго вымытые яичным мылом, и ручки нежной загадочной Надины, пахнувшие, наверное, резедой. И духи Герлэна — последнее дыхание моих петербургских кружев и лент... Тепло наших рук и дыханий, и излучение глаз, и легкий нажим на ушко иголки, когда мы усердно считали крестики на канве.

И он, наперсточек этот, наверное, тоже дал нам что-то свое, какие-то впечатления — твердости, звонкости, и излучения золотого блеска, и невесомые пылинки-атомы, проникшие через кожу, и, главное, то неизъяснимое и неопределимое, что мы называем «влиянием» и в чем дает нам себя без нашей и своей воли каждый человек, каждый зверь, и растение, и предмет, с которым мы входили в общение.

И может быть, если только не переплавили его на «нужды пролетариата», и жив еще этот наперсточек, — какие странные сны принес он в чужой дом, чужой женщине и ее маленькой дочке...

Заинька

— Заинька, крошечка, расскажи нам что-нибудь. Что же ты прячешь мордочку в лапки? Стесняешься?

— Ничего я не прячу, — отвечал Заинька хриплым басом. — Я просто закуриваю.

Закурил, крякнул, расправил бороду и приготовился врать.

Роста он был огромного, с толстым туловищем и короткими ногами. Когда сидел, коленки не выступали вперед, а сгибались под животом, вроде как у дрессированной лошади, сидящей по-человечески. Только сердце любящей жены могло усмотреть в махине «заиньку».

Ах, любящее сердце! Чего только оно не видит! Каких, скрытых от посторонних глаз, чудес не отмечает!

Я видела отставного чиновника, тощего, злого, черноносого, которого жена звала «Катюшенькой». Видела «детусю» — рыжего полицмейстера с подусниками. Видела скромного учителя арифметики, которого жена называла «Миссисипи — огромная река» и звала его к чаю:

— Теки сюда скорее со всеми своими притоками.

И видела старого актера, пьяного и мокрого, отзывавшегося на кличку «серебристый ангел».

Словом, «Заинька» меня не удивил.

Заинька крякнул и спросил меня:

— Не хотите ли винограду?

(Я была у них гостьей).

— Мерси.

— Н-да. А приходило ли вам в голову, какое количество сахара поглощает каждый из нас ежегодно в фруктах, конфетах и прочих сладостях? Учеными высчитано, что если превратить в кубические метры количество сахара, поглощаемое жителями двух миллионов квадратных километров средней Европы и сложить их на пяти квадратных метрах около Эйфелевой башни, то вышина этого сооружения окажется выше Эйфелевой башни на...

Он нахмурил брови и вычерчивал в воздухе пальцем быстрые цифры.

— Гм... если высчитать точно... пять квадратных... пятьсот тысяч и одна восьмая... Гм... Да. Окажется гораздо выше.

Жена Заиньки пригнулась ко мне и благоговейным шепотом дунула в ухо:

— Он у меня всегда так. Ничего зря. Все вычисляет.

Заинька встал и зашагал, выпятя грудь, по комнате.

— Только благодаря сравнительной статистике мы и можем сознать нашу жизнь. Приходило ли вам, например, в голову, какое количество ногтей срезается ежегодно в

обоих полушариях земного шара? А я вам скажу — такое, что если очистить от лесов все плато Южной Калифорнии, то вы сможете свободно покрыть его этим количеством ногтей.

Он выдержал торжественную паузу и, заложив руки за спину, размашисто зашагал по крошечной комнатке. Пришпиленные к стенам открытки шелестели от движения воздуха. Четыре шага вперед, лихой поворот на каблуке, четыре назад.

Жена съежилась, забив свой стул в угол, очевидно, для того, чтобы больше было место для маршировки, и шептала:

— Вот и всегда так, если что обдумывает — все ходит, ходит, как только не устанет! Здоровье-то не бог знает какое крепкое, в прошлом году на Пасхе три дня тридцать восемь держалось.

— Заинька! Ну что лапками шевелишь? Ты бы сел! Не бережешь себя ни капли.

— Не перебивай! Вечно ты с ерундой.

Она съежилась еще больше и подмигнула мне — вот, мол, странности великого человека.

— Софья Андреевна, — спросила я, — а что же вы не расскажете, как идут ваши работы? Каждый день бываете в мастерской?

Она испуганно закивала головой.

— Да. Да.

И снова зашептала:

— Он не любит, когда я перебиваю.

Но его перебить было не так-то просто. Он остановился прямо передо мной и, слегка прищурив глаза, вонзился взором прямо мне в душу.

— Отдавали ли вы себе отчет хоть когда-нибудь, какое количество лангустовой скорлупы выбрасывается ежегодно по побережьям Бретани и Нормандии?

— Нет, — чистосердечно призналась я. — Не приходилось.

— Я так и думал. И мало кто над этим задумывался. Хотя образованному человеку не мешало бы знать.

Он снова зашагал, франтовато поворачиваясь на каблуке.

— Отбросив лишние цифры, скажу, чтобы было вам понятнее, что, собрав шелуху лангусты одной только Бретани за один год и растолча ее в известковый порошок, вы смело могли бы выстроить из полученного цемента э... э... э... пятнадцать, нет, четырнадцать, даже скажу для верности, тринадцать охотничьих домиков среднего образца.

Он остановился и подбоченился.

Он торжествовал, видя, какая я сижу растерянная.

— И все так, и всегда так... — шептала жена, испуганная и благоговейная.

— А вы когда-нибудь охотились? — спросила я, чтобы сбить его со счета.

Он насмешливо улыбнулся и развел руками.

— Меня спрашивают — охотился ли я? Соня, ты слышишь? Это меня, меня спрашивают!

Софья Андреевна всколыхнулась, задохнулась.

— Да ведь он, Господи...

— Молчи, не перебивай. Охотился ли я? По четыре с половиной недели по сибирской тайге, не евши. Вот как я охотился, а вы спрашиваете! Один! Ружье да собака, да повар Степан Егорыч, да два инженера с тремя помощниками. Ну и местные три, четыре всегда с нами увязывались. Кругом глушь, жуть. Бр... Лесные пожары, вся дичь разбежалась. А повар Степан Егорыч, как два часа дня пробьет:

— Кушать пожалте-с.

— Как кушать? Что ты брешешь?

— А так что обед готов.

— Что же ты, мерзавец, приготовил, когда на шестьсот лье в окружности ничего съедобного нет?

— Артишоки о гратен-с[1].

— Что та-ко-е?

Смотрим, действительно, — артишоки. Аромат! Вкус! Пальчики оближешь.

— Где же ты, каналья, ухитрился артишоки достать?

— А еловые шишки на что? Из еловых шишек.

Ладно. Идем дальше. Пора обедать. Живот подвело. На семьсот лье в окружности ни души.

— Пожалуйте обедать.

---

[1] Артишоки в сухарях (от *фр.* «au gratin»).

Обедать? Неужто опять артишоков наготовил?

— Нет, говорит, зачем же? На обед у меня отбивные котлеты.

— Что та-ко-е?

Снимает с блюда крышку. Что бы вы думали — ведь, действительно, отбивные котлеты и преотличные.

У Кюба таких не подавали. Белые, как пух. Наелся до отвала.

— Ну теперь, говорю, признайся, где ты телятину достал?

— А еловые шишки, говорит, на что?

Это он, каналья, все из еловых шишек настряпал. Но вкус, я вам скажу, аромат... Соня, не перебивай... вкусовое восприятие — необычайное. А инженер Петряков — Сергей Иванович, потом женился на купчихе, а купчиха-то была небогатая, я вам потом все расскажу с цифрами, так вот этот Петряков и говорит: «Да ты, Степан Егорыч, пожалуй, и ананасный компот из шишек сварить можешь?» — «А что ж, говорит, сейчас, говорит, не могу, а к ужину, говорит, извольте. К ужину будет». И что бы вы думали — ведь сделал! Ананасный компот из еловых шишек!

Да, вот Соня свидетельница, — я ей это рассказывал.

— Вкус! А аромат! Идем дальше. Углубляемся в тайгу. Живот подвело. А я и говорю: «А что, Степан Егорыч, рыбу под бешамелью...»

— Простите, Петр Ардальоныч, мне пора домой, — перебила я.

— А я вам еще про эту купчиху.

— В другой раз. Я специально приду.

Он холодно попрощался. Очевидно, обиделся.

Софья Андреевна вышла за мной на лестницу. Маленькая, худенькая, ежится в вязаном дырявом платочке.

— Жаль, что скоро уходите. Заинька только что разговорился. Скучно ему — целый день один сидит. Я ведь все в мастерской работаю, трудно нам. Прибегу днем, покормлю его, да и опять до вечера. Вот советую ему мемуары писать. Ведь крупный был человек, видный, помощником уездного предводителя был. И вот какая судьба. Я уж стараюсь, бьюсь, да что я могу? Разве ему такая жена нужна? Прощайте, миленькая, заходите, пусть хоть поговорит. Да и нам послушать приятно и полезно. Крупный человек!

О душах больших и малых

1. Анет

Все давно знали, что он умирает. Но от жены скрывали серьезность болезни.

— Надо щадить бедную Анет возможно дольше. Она не перенесет его смерти.

Тридцать лет совместной жизни. И он так баловал ее и ее собачек. Одинокая, старая, кому она теперь нужна. Какая страшная катастрофа! Надо щадить бедную Анет. Надо исподволь подготовить ее.

Но подготовить не успели: давно предвиденная развязка явилась все-таки неожиданной. Больной скончался во время докторского осмотра, в присутствии жены и родственников.

— Сударыня, — сказал, отходя от постели, доктор, — будьте мужественны. Ваш супруг скончался.

Родственники ахнули.

— Анет! Дайте воды! Где валерьянка? Соли, соли!

Анет подняла брови:

— Значит, умер?

Потом повернулась к сиделке:

— В таком случае, сегодня я вам заплачу только за полдня. Сейчас нет еще шести часов.

Сиделка застыла с криво разинутым ртом.

Втянув голову в плечи, на цыпочках вышел из комнаты доктор. Смерть! Где твое жало?

2. Джой

Джой был простой веселый пес, неважной породы, во всех смыслах среднего калибра.

Жил он в Петербурге и принадлежал докторше.

Дожил до того времени, когда люди стали есть собак и друг друга. Тощий, звонкий, как сухая лучина, корму не получал, а только сторожил на общей кухне докторшин паек, чтобы никто не стащил кусочек, и жил всем на удивление.

— Кощей Бессмертный! С чего он жив-то?

Худые времена стали еще хуже. Докторша была арестована.

Вяло, для очистки совести, похлопотали друзья, навели справки и быстро успокоили друг друга: серьезного не могло ничего быть, так как докторша ни в чем замешана не была. Подержат немножко да и выпустят.

Пес Джой никаких справок навести не мог, но хлопотал и терзался беспредельно. Не ел ничего. Дворник из жалости много раз пытался покормить его — Джой не ел. Не хотел есть. Очень уж мучился.

Каждый день, в определенный час, бегал к воротам больницы и ждал выхода врачей. В определенные дни бегал в амбулаторию, далеко за город, где докторша иногда принимала. Наведывался по очереди ко всем знакомым, знал и помнил все адреса, все соображал и искал, искал.

Докторшу действительно выпустили через три недели. Но пес не дождался, не дотянул.

От тоски и тревоги, от муки всей своей нечеловеческой любви околел он за день до ее выхода.

Говорили, что это очень банальная история, что сплошь и рядом собаки издыхают на могиле хозяина, что удивительного в этом ничего нет, раз это бывает так часто...

3. Фанни

Борис Львович изменил своей Фанни после десятилетнего счастливого супружества. Влюбился в молоденькую сестру милосердия с лицом нестеровской Богородицы, ясным и кротким.

Но Фанни была хорошей женой, любила его преданно, верно и нежно, на всю жизнь. И жили они так уютно, с такой заботливой любовью устраивали свою квартиру, выбирали каждую вещь тщательно.

— Ведь это надолго.

У Бориса Львовича сердце было доброе. И мучился он за свою Фанни. Почернел и засох. Никак не мог решиться сказать ей, что уходит от нее. Не смел себе представить эту страшную минуту. Все смотрел на нее и думал:

«Вот ты улыбаешься, вот ты поправила ковер, вот ты спрятала яблоко в буфет на завтра. И ты ничего не знаешь.

Ты не знаешь, что для тебя, в сущности, уже нет ни ковра, ни яблоков, ни “завтра”, ни улыбок, да, никогда “никаких улыбок”. Кончено. А я все это знаю. Я держу нож, которым убью тебя. Держу и плачу, а не убить уже не могу».

Вспомнил о Боге:

«Мне Бога жалко, что он вот так, как я сейчас, видит судьбу человека, и скорбит, и мучается».

Совсем развинтился Борис Львович. Неврастеником стал, к гадалкам бегал. И все думал о страшной минуте, и все представлял себе, как Фанни вскрикнет, как упадет, или, может быть, молча будет смотреть на него. А вдруг она сойдет с ума? Только бы не это, это уж хуже всего.

А «Мадонну» любил и отказаться от нее не мог. Обдумывал, придумывал, извивался душою, узлами завязывался. Как быть?

«Не могу же я так сразу ни с того ни с сего ухнуть. Буду ждать случая, психологической возможности. Буду ждать ссоры. Хоть какой-нибудь пустяковой, маленькой. Маленькую всегда можно раздуть в большую, и тогда создастся атмосфера, в которой легко и просто сказать жестокие слова. И принять их для нее будет легче».

И вот желанный миг настал. Они поссорились. И, ссорясь, она сказала, что у него ужасный характер и что жить с ним невозможно. Он понял, что лучшего момента не найти.

— А! Вот и отлично! Я тоже того мнения, что нам пора разойтись.

От ужаса он закрыл глаза (только бы не видеть ее лица!).

— И я должен наконец сказать тебе правду. Я хочу развода. Я люблю другую, и она любит меня, и мы дали друг другу слово. Требую развода.

Он задохнулся, открыл глаза.

Она стояла, как была, красная и сердитая. Мотнула головой и закричала:

— А, так? Ну ладно же. Только знай, что мебель из столовой я беру себе.

И он, ждавший слез, отчаяния, безумия, может быть, даже смерти, услышав эти слова о мебели из столовой, зашатался и потерял сознание. И с отчаянием ее, и со слезами

он как-нибудь справился бы. Но этого ужаса он не ждал и перенести его не мог.

— Ты не женишься на своей «Мадонне»? — спрашивал его посвященный в семейную драму приятель.

— Нет, милый мой. После этого ужаса сердце мое уже в новое счастье не верит. Я потерял вкус к любви. Остался с Фанни — не все ли равно?.. Слишком сильный был шок. Нет, я уже человек конченый. Мне никого не надо. Не верю.

4. В трамвае

Облупленный, обшарпанный трамвай, похожий на тяжелую пчелу, нагруженную медом, медленно ползущую по косой дощечке улья, сипел по расхлябанным рельсам Невского проспекта.

Гроздьями серых жуков, унылых, но цепких, облепили его пассажиры. На площадке, прижавшись к перилам, — бывший барин. Барин, потому что на нем потертая бобровая шапка, боярская, бобровый плешивый воротник, лицо такое худое, точно тяжелая рука сверху вниз сгладила с него щеки, так что оттянулись вниз нижние веки и углы рта, лицо его тонкое и привычное к тихой думе, к мысли. Высокий, он всех виднее в этой стиснутой, сплющенной кучке людей.

А рядом баба с раскрытым от худобы ртом, со злобными и испуганными глазами человека, у которого отнимают кошелек, и курносый парень с распяленным ртом, бледный и зловещий, как масляничная харя, и исплаканная старушонка — все лицо только красный нос да красные веки, скорбь их раздула, а все остальное съела, больше ничего от старушонки и не осталось в черном головном ее платке с обсмарканными концами.

— О господи! О господи!

Давят, душат. Тяжело-о-о!

Тихо ползет трамвай. Тяжелый его обвисший зад перегружен, тянет к земле, не дает хода. Ползет мимо слежалых, грязных сугробов, сора, рвани, падали. И вот у тротуара кучка людей. Столпились вокруг лежащей лошади. Лошадь выпряжена, значит, лежит давно. Бок у нее страшно вздулся.

Под мордой клочок сена. Видно, кто-то сунул, чтобы было ей чем свою жизнь помянуть. Или думали, что вот узнает лошадь, что есть еще сено на свете, понатужится и поборет смерть.

Нет, не помогло сено. Лежит тихо, и бок вздутый не подымается. Не дышит лошадь. Кончено. Вот и не хочет есть. Не хочет. Понимаете вы? Не хочет есть...

Подымается рука к бобровой шапке, такая худая, голая, в потрепанном обшлаге... Тихо склонив голову, снимает шапку бывший барин и крестится. Парень с распяленным ртом осклабился — «гы-ы» и обшарил всех глазами, приглашая смеяться. Но кругом были лица тихие, и глаза с его глазами встретились строгие. Он оторопел, осел и спрятался за исплаканную старуху.

И бывший барин так просто и благоговейно обнажил голову перед страданием и смертью и сотворил крест во Имя Отца и Сына и Святого Духа за малую душу замученного зверя.

Гермина Краузе

Летними вечерами их выносили после ужина подышать воздухом в маленький круглый дворик, обсаженный тощими кустами и деревцами.

Их было всего человек десять-двенадцать стариков и старух в этой монастырской богадельне древнего немецкого городка.

Здоровенный парень санитар выкатывал их в креслах и устанавливал в кружок. Тихие монахини в длинных сборчатых юбках и крылатых чепцах укутывали стариков в шали и пледы, и те сидели недвижно и безмолвно, точно сосредоточенно ожидая каждый своей очереди в приемной Господа Бога.

И вот раз о них забыли. Сменялся здоровенный парень, сдавал свою должность другому такому же здоровенному, и, кроме того, одного из стариков, дожидавшегося очереди в приемной, нужно было обмыть и отнести в часовню, так что крылатые монахини были заняты.

Старики и старухи сидели не шевелясь. Поднялась из-за стены огромная, круглая луна, зацепилась за черное дерево, остановилась и облила голубым фосфором черные поникшие фигуры.

В нише заголубела фигура Мадонны, холодно засветился ее золотой венчик, и омертвели цветы у ног.

Старики и старухи, одинаково бородатые, сухоносые, походили друг на друга, и отличить было трудно, кто старик, кто старуха. У старух головы были повязаны черными платками, У стариков черные шапочки походили на платки.

Сидели неподвижно и не удивлялись, что долго не убирают домой.

Одна из старух, не поднимая головы, почувствовала лунный свет и, вытянув руки, пошевелила пальцами, словно щупала липкую материю.

— Лунный свет!

Голос у нее был глухой, тугой, точно механический.

Тогда сидевшая рядом зашамкала:

— Завтра меня перевезут в Берлин. Я здесь два месяца хворала. У них в больнице... Пусть, пусть перевезут — я еще поправлюсь. Я теперь плохо помню, но я ее увижу и все ей расскажу. Хю-хю-хю! Вот смешно!

Она протянула руку, крючковатую, бурую в лунном свете, и тронула соседку за колено.

— Вы слышите?

— Гермина Краузе, — не поднимая головы, ответила та. Черный платок низко опускался ей на лицо, и острый длинный нос загибался над провалившимся ртом.

— Да, да, — всколыхнулась та, что смеялась. — Да! Гермина Краузе! Ага, вы знаете! Вот я ее найду. Сорок лет я прожила в Америке, ну а она-то, наверное, здесь. Куда она денется, калека? Я сорок лет думала о ней, а когда заболела, скорее поехала на родину. Я ее найду. Ноги отнялись. В Берлине вылечат. Найду... Я не боюсь — суд меня оправдал, у меня от Краузе ребенок был. Он на ней из-за денег женился, на Гермине, ну вот она и получила. Я ей сказала: «Он твой муж, но ты не радуйся. Ты его видеть никогда не будешь». А она: «Как не буду?» — «А вот так», — всю бутылку выплеснула. Ловко попала. Ну вот смотри теперь. Суд оправдал... Уехала в Америку. А Краузе, Михель Краузе, за мной поехал. Нашел меня. Вы слышите?

Она тронула свою тихую соседку, и та повторила, не поднимая головы:

— Гермина Краузе.

— Хю-хю-хю! Нашел меня, сказал, что он на деньгах женился, на Герमининых деньгах. А опять за мной поехал. А я уже никого не любила. И дочку свою не любила. Я только из-за Гермины его приняла. Прожила с ним три года. Для Гермины. Думала, увижу ее, расскажу ей, как он за мной поехал. Хю-хю-хю! Сорок лет прошло. Трудно было домой попасть. Теперь поправлюсь, и найду, и скажу... О-о-х! Сердце у меня... о-о-х!..

Она замолчала и застыла, выставив вперед острый подбородок.

Луна уже обогнула дерево и надвинула его тень на черную поникшую старуху, которая слушала рассказ. Она все так же сидела напряженно, точно продолжая слушать.

Никто не шевельнулся.

Пришла крылатая монахиня с новым парнем.

— Вот этого к окошку. Там на доске его имя.

— Рудольф Кайзер, — тонким фальцетом сказал старик.

— Эту вот к самым дверям. Ее завтра увезут, — сказала монахиня про ту старуху, которая рассказывала. — Как ваше имя?

— Эмилия Бок.

Ее откатили к подъезду.

— Ну, теперь эту, глухую.

Она дотронулась до поникшей старухи, и та сказала тугим голосом:

— Гермина Краузе.

— Да. Гермина Краузе. Если до нее дотронуться, она говорит свое имя. Осторожно — она слепая.

Наклейка

Дэзи Броун — прежде ее звали иначе... безразлично как, дело не в этом. Дело в том, что Дэзи Броун, всей душой, с восторгом и ужасом, с отвращением и смехом, в долгую

вагонную ночь, между Марселем и Парижем, не отрываясь, читала свой собственный чемодан.

Этот большой старый чемодан из крокодиловой кожи, тихо потряхивающийся перед ней в багажной сетке, был весь облеплен цветными отельными наклейками, свежими, старыми, очень старыми, чуть видными из-под новых пластов.

Наклейки были и круглые, и квадратные, и с картинками, и простые. Вот «Lido Excelsior» с черной гондолой на синем фоне... «Hôtel des Anglais Napolli» с крутящимся винтом дымом Везувия... и флорентийский «Hôtel d'Albion» на клетчатом фоне, полузаклеенном константинопольским «Petit Hôtel» с минаретом, и «Hôtel Suisse St Jingolf» с розово-снежными горами Швейцарии... и вдруг простой полустертый билетик «Вержбол...» — конец ободран... и «Fürstenhof Berlin»... и много, много еще.

Дэзи щурит ресницы, читает свой чемодан, наклейку за наклейкой, с отвращением и смехом, с восторгом и ужасом.

Читает.

1. Наклейка первая.

«St Jingolf Hôtel Suisse».

На террасе Женевского озера розовый вечер.

Хозяин отеля поставил у баллюстрады два кактуса, чтобы клиенты знали, что мир Божий однообразен и что, сидя в Швейцарии, можно получать африканские впечатления.

Но Дэзи никаких впечатлений не получала. Она сидела в кресле, подняв ноги на перила террасы, обдумывала что-то и записывала в крошечную книжечку...

Услыша шаги Черри, она, не поворачивая головы, спросила:

— Ермакова считать или нет?

Черри пришла не одна. За ней шел маленький, черненький, кривоплечий и лопоухий молодой человек и нес в вытянутой руке дамский зонтик.

— Он нашел твой зонтик, — сказала Черри. — В награду я решила показать ему тебя.

— В награду выдается одна треть. Значит, ты ценишь меня в треть зонтика. Спасибо, молодой человек. Напрасно вы его нашли — он мне надоел.

Молодой человек хотел что-то сказать, задергался всем лицом, покраснел и смолчал, продолжая держать зонтик в вытянутой руке.

— Поставьте и сядьте, — утомленно пригласила Дэзи.

Черри взяла зонтик и сказала кривоплечему:

— Вот это моя подруга. Сегодня ее зовут Майа.

Тот снова задергался, но на этот раз не смолчал.

— Майа? Это уменьшительное? А как полное имя?

— Майя, — сказала Дэзи.

— Мария?

— Нет. Майя.

— По-моему, такой святой не было.

— Совершенно верно. Меня назвали в честь грешницы.

Кривоплечий посмотрел на одну и на другую. Бледное лицо Дэзи было скучно и спокойно. Черноглазая румяная Черри сдержанно сжала губы, подернутые темным пушком.

— Черри! Считать Ермакова или нет?

— Ну, конечно. Что за вопрос?

— Да ведь я с ним даже ни разу не поцеловалась.

— Ну, так что ж? Тем лучше. Три месяца томилась и стихи писала.

— Да, это верно. Стихи были. А Генделя считать?

— Ну, что за вздор!

— Да ведь я же целовалась.

— Мало ли что, считаться со всяким ничтожеством.

— Ах, Черри, какая ты легкомысленная. Ермаков всего сорок восьмой номер. Так мы и до семидесяти не доберемся. Простите, молодой человек. Мы считаем мои романы. Я сегодня в деловом настроении.

Молодой человек покраснел, задохнулся и промолчал.

Дэзи опустила глаза и увидела его ноги в сандалиях — голые, сиреневого цвета…

— Иди в горы, Черри. А мы с этим отроком будем читать стихи. Вы любите стихи, отрок?

— Абсолютно не понимаю и терпеть не могу.

— Да? Ну так слушайте:

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоскою глубокой и страстью безумно мятежной,
Но, как враги, избегали свиданья и встречи,
И были пусты и холодны их краткие речи…

— Ну к чему это? — прервал кривоплечий. — Это все нездорово. Я вот в Женеве в школе... Чувствую себя отлично... Прежде был больной и нервный... Смотрите — никогда не ношу чулок, даже в холода. Надо, чтобы все было здор-ровое.

Дэзи сочувственно покачала головой и сказала:

— Взгляните, который час, — мне лень нагибаться. Взгляните мне на ногу.

Кривоплечий взглянул. У Дэзи на ноге на зеленом ремешке были прикреплены ручные часы.

— Как у вас все... неправильно... семь часов... все нездорово...

— Ну, идите домой! А завтра вечером приходите читать стихи. Это у вас чудесно выходит.

На следующий день кривоплечий пришел с утра, чтобы сказать, что вечером он прийти не может, потому что должен лезть на гору, чтобы себя закалить. Объявив об этом, просидел на террасе весь день, сбегал только позавтракать, и после обеда вернулся снова.

— Вы хотели читать стихи, — сказал он смущенно.

— Хорошо, — согласилась Дэзи.

И он сразу расхрабрился, улыбнулся саркастически и откинулся в кресле.

— Ну что ж, послушаем.

И на следующий день пришел с утра.

— По-моему, он в тебя влюбился, — недовольно говорила Черри. — И зачем было разводить такую гадость — бередить стихами дождевого червя? Бррр...

— Так что же теперь делать? Он ведь не уйдет.

— Прогони, и кончено.

— Трудно. Мне вчера показалось, как будто он плачет.

— Да как он смеет, вот нахал.

— Черри! Ты скажи ему что-нибудь... Скажи, что я не свободна, что я люблю другого.

— Какая пустая глупость! Точно это кого-нибудь когда-нибудь успокаивало.

— Скажи, что вообще не способна любить.

— Удивительное дело! Как бы ни хотелось женщине отвязаться от влюбленного дурня, от самого противного для нее человека, никогда она не решится сказать что-нибудь

такое, что действительно оттолкнуло бы от нее. Охотно станет разделывать демоническую женщину: «Ах, я не способна любить! Ах, я всеми только играю». Ведь никогда такой демонизм, даже самый низкопробный, никого не охлаждал. Иногда даже напротив — заинтересовывал. А ведь ни одна не решилась написать: «Простите, мол, что не могу вас принять, но у меня сломалась вставная челюсть». Или просто: «У меня страшный флюс». Ведь ни за что.

— Черри! Скажи ему, что мне пятьдесят лет и что у меня сын — полицейский пристав в Тамбове. Милая, скажи! Я не выйду вечером, а ты поговори с ним.

Утром кривоплечий не пришел. Но он пришел вечером с букетом красных роз, а сам был совершенно желтый. Подал цветы Дэзи, рука дрожала, и весь, кажется, дрожал.

— Вот это... это мой ответ. Ваша подруга передала мне ваше признание... Вот... Пусть...

Дэзи удивленно взглянула на Черри.

— Да, я сказала, что тебе пятьдесят лет, — ответила та.

— Черри, Черри! Есть страшные слова, которые нельзя произносить безнаказанно. Они всегда оставляют след. Старость, смерть... Чего вы такой желтый, молодой человек?

— Просто так... Забросил гимнастику... Сегодня пойду непременно... Я люблю все здоровое...

Глаза его, отекшие и тусклые, перебегали с Дэзи на Черри, умоляли поверить.

— Отвратительно! — воскликнула Черри по-английски, повернулась и вышла.

Дэзи смотрела устало и спокойно.

— Это хорошо, друг мой. И я больше не буду отнимать от вас время. Я завтра уезжаю.

Он страшно испугался, потом как-то уж совсем по-идиотски засмеялся.

— Да ведь вы же говорили, что еще месяц...

Не договорил и понял. По лицу Дэзи, строгому и печальному.

Не сказал больше ничего, глубоко задумался и даже как будто не видел, что Дэзи встала и вышла. Он прибежал на другой день, когда Дэзи, стоя на коленях среди вороха разорванных писем и увядших цветов, закрывала чемодан из блестящей крокодиловой кожи, на котором красовался све-

женаклеенный билетик «Hôtel Suisse St Jingolf» с розовыми швейцарскими горами.

Он поставил на камин маленькую собачку из лилового прозрачного камня.

— Вот, — сказал он, задыхаясь. — Я хочу, чтобы это всегда стояло на вашем столе.

Собачка была жалка. Стеклянные глазки блестели, будто плакали, и на ошейнике дрожала бусинка.

Дэзи ласково улыбнулась:

— Как мило с вашей стороны. Спасибо...

Он смотрел на нее с отчаянием и восторгом:

— Я умоляю вас об одном: когда приедете к себе, пришлите мне то стихотворение, которое вы читали в первый день.

Дэзи прищурилась, вспоминая.

Он шепнул:

...Друг друга так нежно.
С тоской глубокой и...
И... и безумно мятежной.

Она поняла, что слово «страстью» он не смел произнести. Улыбнулась «попроще».

— С удовольствием, непременно.

— Помните, что если не исполните, я... я все-таки довольно нервный. Мне... не перенести.

Они вышли вместе, и он проводил ее на пристань.

— А потом я вернусь в вашу комнату и немножко побуду в ней, одну минуту еще.

На пароходе, уже около Лозанны, Дэзи с ужасом вспомнила: собачка осталась на камине! Он вернулся в ее комнату и увидел. Так обидеть его нельзя.

И, выйдя на берег, тотчас же послала телеграмму Черри, прося разыскать собачку и переслать ей в отель «Berge»...

Часов в шесть утра ее разбудил стук в дверь. Прислуга подала какой-то листок. Кто-то просил на одну минуту сойти вниз.

Она накинула шаль и спустилась. В вестибюле метался около входной двери кто-то неприятно знакомый. Это был он.

— Я приехал ночью в двенадцать часов. Меня не пустили. Я ждал на скамейке, на набережной. Дождь, но это ничего. Я привез собачку. У меня, кажется, жар.

Он говорил быстро и суетился. Мокрое пальтишко прилипло к кривым плечам. Затекшие глаза блестели.

— Я должен вернуться с первым пароходом, пока моя тетка не встала. Мне нельзя ночью выходить. Я больной. И чтобы вас не скомпромен... компром...

И на минутку закрыл глаза.

— А главное, не забудьте прислать стихи. Это одно прошу. Одно и навеки.

Повернулся, махнул рукой, пошел к двери, остановился и снова махнул рукой. И вышел.

— Какой кошмар! И зачем Черри дала ему адрес! И все всегда у меня так безрадостно, так горько!

У нее дрожали ноги, когда она подымалась по лестнице.

Через два месяца на Лидо было еще жарко, и теплая соленая, как бульон, вода залива пестрела цветными костюмами купающихся.

Сверху из окна Дэзиной комнаты вид был чудесный.

— Иди плавать, Черри, а я буду смотреть на тебя в бинокль. Достань мой бинокль — он в этом чемодане.

Черри засунула руку, ища между флаконами, кружевами и лентами.

— Что это? Какие-то кусочки...

Два мутно-лиловых камушка.

Дэзи взглянула:

— Боже мой! Моя собачка! У нее отломалась голова...

И ласково положила на ладонь.

— Бедная моя, жалкая! Черри, ведь я обещала ему послать стихи!

— Ну так что же?

— Да ведь я, оказывается, не знаю адреса... Черри, милая, да ведь мы и имени его не знаем! Как это все странно!

— Ну и отлично. А то еще, пожалуй, стала бы раздумывать — не записать ли его номером сорок девять... Отчего у тебя слезы на глазах?

И быстро отвернувшись, прибавила неестественным голосом, явно не веря своим словам:

— Да, здесь безумно жаркое солнце. Безумно жаркое! Я куплю себе черные очки. Хочешь, бедная моя Майка?

Три правды

Что рассказывала Леля Перепегова.

— Вы ведь знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от Сергея Ивановича, то, значит, действительно, жизнь с ним становится невыносимой. При всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он меня зарезал в припадке бешенства? Мерси. Режьтесь сами.

В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил, зачем взяла Джипси с собой. Только, мол, руки оттягивает, и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что если и оттянет руки, так мне, а не ему, так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал.

Но это еще не все.

Приходим в ресторан. Садимся, конечно, около дверей. Люди находят хорошие места, а мы почему-то либо у дверей, либо у печки. Я вскользь заметила, что все это зависит от внимательности кавалера. Не прошло и пяти минут, как он говорит: «Вот освободилось хорошее место, перейдем скорее».

«Нет, — говорю, — мне и здесь отлично».

Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что против меня оказался прекрасный молодой человек. Все на меня поглядывал и подвигал — то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка.

Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены из-за того, что вам подвинули горчицу! На это уж не одна Дездемона не пойдет.

— Мне, — говорю, — и здесь отлично.

Надулся. Молчит.

Однако, смотрю, — вторую бутылку вина прикончил.

— Сережа, — говорю, — тебе же ведь вредно!

Озлился, как зверь.

— Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний.

О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют.

Смотрю — требует третью. Это значит, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страдание.

Ладно. Вышли из ресторана.

— Сережа, — говорю, — может быть, ты возьмешь на руки Джипси, я что-то устала.

А он как рявкнет:

— Я ведь так и знал, что этим кончится! Ведь просил не брать! Терпеть не могу. Выступаешь, как идиот, с моськой на руках.

Я смолчала. Опять не ладно.

— Чего, — кричит, — ты молчишь, как мегера.

У него только и есть. Молчу — мегера, смеюсь — гетера. Только и слышишь что древнегреческие обидности.

Идем. Тащу Джипси. Сердцебиение, усталость — однако молчу, кротко улыбаюсь.

Смотрим — по тротуару, напротив ресторана, шагает Кирпичев. Ну чем я виновата? Я его не предупреждала, что будем здесь.

Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала.

Поздоровались, пошли вместе. Ну тут он и начал свои фортели. То сзади плетется, то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно. Да и нельзя, мол, весь тротуар занимать. А потом и совсем исчез.

Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам исстрадался — худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться нетрудно. Но с ним так легко говорится, приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так: либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь Юдифь с головой Олоферна.

Кирпичев довел меня до дому.

Пришла, жду, жду. Сергей Иванович явился только через час.

— Где вы были?

— Так, немножко прошелся.

А сам отворачивается. Наверное, шагал как идиот и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности.

Я собралась с духом и сказала ему прямо:

— Сергей Иванович, я вам должна одно сказать: во-первых...

А он как заорет:

— Если одно, так и говорите одно, а не заводите во-первых, да в-четвертых, да в-десятых на всю ночь. А я, — говорит, — вам прямо скажу — все это мне надоело, и я завтра же съезжаю. А сейчас прошу дать мне выспаться.

И завалился. Слышу храп. Притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел.

Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою... Не знаю, что еще меня ждет. Кирпичев поклялся защитить меня от безумца.

Что рассказывал Сергей Иванович.

— Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать — нет, взбеленилась, и никаких. Сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал.

В ресторане — вечная история — куда ее ни посади, то ее печет, то на нее дует. Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место, и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змеиный шип.

— Мне и тут ладно.

Ладно так ладно. Мне наплевать. Умолять и в ногах валяться не стану. Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное.

Увидела, что я пью с интересом, и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что, вообще, эти дурищи думают?

Для чего человек в ресторан ходит — зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть и поедаемое запивать. Вот для чего. Их идеал, чтобы человек смотрел, как она ест, а сам бы пожевал вареную морковку, запил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда как весело!

Вышли из ресторана — так и знал — тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал! Ведь просил! Действительно, возмутительно!

Встретили какого-то болвана Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпил пива. Эта дурища, между прочим, твердит, как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотке, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жид-

кость. А она говорит, что селедочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит.

Я ей на это резонно отвечаю, что, если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей.

Вернулся домой — вижу, приготовилась скандалить.

Пресек сразу:

— Завтра уезжаю.

И лег спать.

Слава богу, не догадалась, что был в бистро, — старался не дышать в ее сторону.

Нет, довольно, раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках.

Довольно.

Что бы рассказала Джипси.

— Пошли в ресторан.

Хозяева всю дорогу лаяли.

В ресторане ели дрянь. Чужой господин ел цыпленка. Я смотрела на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку.

Ничего мне не попало.

На улице подошел тот, кто каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой.

Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем сковырнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтявкивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтявкивать. Сама виновата — зачем ела артишок и рака. Дура.

Оба притворялись голодными, да меня не надуешь.

Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать.

Она, верно, первая донюхалась, что он ел телятину, оттолкнула его и ушла.

Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива — мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему тявкнула в самую морду.

— Барбос!

Теперь хозяина нет, а приходит тот. Она воет, а он тявкает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет.

Самая жестокая собачья разновидность — так называемый человек. Низшая раса, как подумаешь, что есть не верящие в белую кость!

Лестница

Семь этажей. Четырнадцать поворотов.

На первом повороте площадка украшена цветным окном. Оно оклеено раскрашенной бумагой с торжественным и замысловатым рисунком — красные львы с повернутыми назад головами, шлемы с черными перьями, зеленые башни и неведомые гербы.

Пестрый свет, льющийся через эти башни, тревожит, волнует, заставляет торопиться и сомневаться. И покажется, что тех, к кому вы идете, нет дома, или они не ждут вас, не любят, или что вы перепутали день, или что услышите беспокойные, злые вести.

Пестрая бумага, кроме того, указывает, что лестница хотя и узенькая и без ковра, но хозяин от роскоши не уклоняется и ничего для жильцов не жалеет.

На второй площадке окно тоже оклеено бумагой, но с простыми синими квадратиками, без всяких львов и шлемов. Очевидно, переход от роскошного витро к голому стеклу показался слишком резким и жестоким, и хозяин смягчил его сколько мог. Следующие площадки просты, голы и будничны.

В квартире номер первый живет мосье Марту. Кто он — никто не знает. Думают, что хозяйский родственник или знакомый. Почему так думают — неизвестно. Может быть, потому, что его обслуживает шикарное окно. Этого Марту никто никогда не видел. Но все его терпеть не могут. Все — это остальные жильцы этого дома, сплошь русские, между собой знакомые.

Так и говорят:

— Какой-то гнусный тип, вроде этого нашего Марту.

— Наверное, сидит и деньги копит.

— У нас с вами никогда ничего не будет, а вот такие Марту...

Во втором русская шляпница. Или вышивальщица. Я ее не знаю.

В третьем — кажется, тоже вышивальщица.

Она, очевидно, все куда-то бегает, потому что к двери часто приколота булавкой записка:

«Дорогой Константин Андреевич! Ради бога, обождите. Сейчас вернусь. Ключ под ковром».

В четвертом номере всегда чуть-чуть приоткрыта дверь и стрекочет пишущая машинка.

В пятом страшный крик. Три, четыре голоса, всегда разных, надрываясь, всегда кричат на все темы дня и вечности. О Горьком, о любви, о вчерашнем убийстве, об измене подлого Жуликова ангелу Сонечке, о жадности Шеркиных и путях антропософии.

Верхние ноты голосов достигают до мансарды. Нижние спускаются вплоть до гнусного Марту, но к дверям приколота бумажка: «Дома нет».

На дверях шестого этажа наклеена карточка: «Constantin de Khlebopekoff. Стучите громче — я сплю».

Выше — седьмой этаж, где я бываю. Еще выше — мансарда.

У каждой лестницы свое дыхание, свой запах. Они пахнут краской, пудрой, лаком, духами. И каждая особенно! Вы можете не замечать этого запаха, но нервы ваши его получат и запомнят. Тот момент, когда вы останавливаетесь около закрытой двери (всегда беспокойна и немного страшна закрытая дверь. Закрыта ею жизнь, в которую вы сейчас вступите, закрыто будущее, какое бы ничтожное оно ни было), так вот, в этот момент, когда вы прижимаете кнопку звонка и слышите, как звякнул он по ту сторону стены, в этом маленьком, почти незаметном волнении — все светы, блики, шорохи, топоты, запахи, флюиды лестницы входят в вас. И, может быть, через много лет, встретив тех, кого вы в этом доме видали, вы вдруг почувствуете странную, мутную тревогу, которую сознать невозможно: это нервы повторяют вам беспокойные краски витро, и запах духов, и горелого масла, и тихий треск звонков, и звуки голосов… Вся лестница того дома.

Зимой, когда я прочла записку на двери номер третий, умоляющую «дорогого Константина Андреевича» обождать,

было уютно от наглухо запертых окон. Казалось, как будто жизнь за всеми этими дверями стала напряженнее, гуще. Глуше и голоса в пятом номере. И новая записка: «Катя, скажи Лизе, что Гриша приходил и ушел к Столешникеву за Петром Ардальоновичем. Портниха пуговиц не пришила, пусть Саша поищет. Ключ под ковриком».

Да — и Саша, и Лиза, и Катя — все суетились, говорили, жили.

В четвертом номере, как всегда, дверь была приоткрыта и стучала машинка.

Небольшой перерыв — месяц, полтора.

На двери номер третий приколота записка:

«Константин, я ушла за рыбой. Твоя на всю жизнь Женя. Ключ под ковриком».

Так же кричали, надрывались в пятом номере. В шестом на карточке Constantin Khlebopekoff была зачеркнута просьба стучать погромче и сделана приписка: «Я в третьем номере».

И еще миновали дни.

И на двери номер третий записка спешным почерком: «Котик, не сердись, воротнички выгладила, платки на комоде. Твоя ничтожная Женька».

Дверь номер пятый закрыта. В первый раз вижу ее закрытой. Но машинка стучит. Нервно, с большими перерывами.

Наверху de Khlebopekoff приписал на карточке: «Я в пятом номере».

Помните вы нашу петербургскую весну больших бедных, грязных дворов? Запах кошек, воробьиные вскрики детей, сладостные всхлипывания шарманки? И свет белых ночей, как солнце привидений, не бросающее тени... Сколько бредовой тоски было в нашей весенней тревоге, и счастье нашей весны убивало, как печаль.

Парижская весна проще, яснее, без четвертого измерения. И подход к ней, переход в нее, незаметен и неощутим.

Консьержка скажет:

— Quel beau temps![1]

В окнах прачечной заликуют пестрые платья.

---

[1] Какая прекрасная погода! (*Фр.*)

Но ведь консьержка говорила иногда и зимой — о «beau temps». И платья пестрели в окнах прачечной. А деревья так быстро сменили листву, что она кажется еще прошлогодней.

Может быть, в светлых, чистых парижских двориках весной чаще слышится тугое барабанное хлопанье вытряхаемых ковров...

А помните весеннее пение из открытых окон подвала?

Мама-шень-ка руга-ала,
Чи-и-во я так бле-дна.

Идиотские слова, но как чудесно подхватывал второй голос, и печаль, и любовь божественным нимбом озаряли некрасивость, и грубость, и пошлость произносимых слов.

Парижская весна не поет. Тихие дворы гремят по утрам жестянками от «ордюров»[1]. Песни во Франции нет. Как странно, — пока не привыкнешь и не забудешь (не забудешь!), путешествуя, — проезжать мертвые деревни и поля, не звенящие голосами жниц...

Я подымаюсь по лестнице.

На двери номер третий записка:

«Котик! Умоляю! Вернись! Ключ под ковриком. Котик, я умру».

А наверху, у Constantin de Khlebopekoff, совсем исчезла карточка. Но к ручке двери кто-то привязал букет ландышей. Он давно завял.

Отчего же нет карточки?

Ах, да...

Дверь номер пятый плотно закрыта, и стука машинки не слышно.

Весна весны

Ехать по железной дороге всегда было интересно, а тут еще это странное приключение...

Началось так: тетя Женя задремала. Лиза достала книгу — стихотворения Алексея Толстого — и стала читать. Сти-

[1] Мусорных ведер (от *фр.* «ordure» — сор, грязь).

хи Ал. Толстого она давно знала наизусть, но держать в руках эту книгу было само по себе очень приятно: зеленая с золотом, а на внутренней стороне переплета наклеена бумажка ведомства Императрицы Марии, свидетельствующая, что «книга сия дана ученице второго класса Елизавете Ермаковой в награду за хорошее поведение и отличные успехи».

Лиза раскрывала наугад страницы и читала.

А против нее сидел чернобородый господин, «старый, наверное, лет сорока», и внимательно ее рассматривал.

Заметив это, Лиза смутилась, заправила волосы за уши. А господин стал смотреть на ноги. Тут уж наверное все обстояло благополучно — башмаки были новые. Чего же он смотрит?

Господин опять перевел глаза на ее лицо, чуть-чуть улыбнулся, покосился на тетю Женю, снова улыбнулся и шепнул:

— Какая прелесть!

Тут Лиза поняла: он влюбился.

И сейчас же инстинкт, заложенный в каждом женском естестве, даже в таком, пятнадцатилетнем, потребовал: «Влюблен — доконать его окончательно!».

И, скромно опустив глаза, Лиза развернула книгу так, чтобы он мог видеть похвальный лист. Пусть поймет, с кем имеет дело.

Подняла глаза: а он даже и не смотрит. Не понимает, очевидно, что это за лист наклеен.

Повернула книгу совсем боком. Будто рассматривает корешок. Теперь уж и дурак сообразит, что недаром здесь казенная печать и всякие подписи...

Какой странный! Никакого внимания. Смотрит на шею, на ноги. Или близорукий?

Подвинула книгу на коленях к нему поближе.

— А-а!

Тетка проснулась, вытянулась вверх, как змея, и водит глазами с Лизы на бородача и обратно. И щеки у нее трясутся.

— Лиза! Пересядь на мое место.

Голос у тетки деревянный, отрывистый.

Лиза подняла брови удивленно и обиженно. Пересела.

Бородач — как он умеет владеть собой! — спокойно развернул газету и стал читать.

Лиза закрыла глаза и стала думать.

Ей было жаль бородача. Она его не любила, но могла бы выйти за него замуж, чтобы покоить его старость. Она знала, что для него это была роковая встреча, что он никогда ее не забудет и ни с одной женщиной с этих пор не найдет не только счастья, но даже забвения. И всегда, как тень, он будет следовать за ней... Вот она выходит из церкви в подвенечном платье под руку с мужем... И вдруг над толпой... черная борода. Поднимается молча, но с упреком... И так всю жизнь. А когда она умрет, все будут страшно поражены, увидя у ее гроба черную бороду, бледную, как смерть, с огромным венком из лилий... нет, из роз... из красных роз... Нет, из белых роз... из белых тюльпанов...

Лиза долго выбирала венок на свой гроб. И когда, наконец, прочно остановилась на белых розах, поезд тоже остановился.

Она открыла глаза. Кто-то вылезал из их купе. Чемодан застрял в дверце. Вылезающий обернулся... Бородач! Бородач уходил... Спокойно и просто, даже газету прихватил. И глаз на Лизу не поднял...

И это после всего того, что было!

Какие странные бывают на свете люди...

В пять часов вышли на вокзал обедать.

Празднично было в огромной зале буфета. Цветы в вазах, то есть, собственно говоря, не цветы, а крашеный ковыль, посреди стола группами бутылки с вином, блеск никелированных блюд, исступленная беготня лакеев. И все плавает, как в соусе, в упоительном вокзальном воздухе, беспокойном и радостном, с его весенним быстрым сквознячком и запахом чего-то пареного, перченого, чего дома не бывает. И чудесно это чувство беспричинной тревоги: знаешь, что твой поезд отойдет только через двадцать пять минут, а каждый выкрик, стук, звонок, быстро прошагавшая фигура — волнует, торопит, ускоряет пульс.

— Время есть, торопиться нечего.

Нечего-то нечего, а все-таки...

И, когда швейцар ударит два раза в колокол, густо и однотонно прокричит, жутко скандируя слова: «Второй звонок. Поезд на Жмеринку-Волочиск», и сидящий насупротив

господин, швырнув салфетку, вскочит с места и, схватив чемодан, ринется к двери, вы уже невольно отодвинете тарелку и станете искать глазами своего носильщика.

Рядом с Лизой сидел молоденький студент в нарядном белом кителе и гвардейской фуражке. Надувал верхнюю губу, щупая, не растут ли усы, и смотрел на Лизу глазами блестящими, пустыми и веселыми, как у молодой собаки.

Он был очень благовоспитанный, очень светский. Взял со стола солонку с дырочками и, прежде чем посолить свой суп, спросил у Лизы:

— Вы разрешите?

И рука с солонкой так и оставалась поднятой, ожидая ответа, в полной готовности поставить соль назад, если Лиза не разрешит.

Лиза с аппетитом принялась было за свою куриную котлетку, но после этой истории с солонкой почувствовала себя такой прелестной и тонкой, что уплетать за обе щеки было бы совершенно неприлично. Она со вздохом отодвинула тарелку.

— Чего же ты? — спросила тетка. — Вечные теории. А через полчаса есть запросишь.

Как все это грубо! «Есть запросишь!».

После «этого» на него и взглянуть было страшно. Вдруг — смеется?

Потом гуляли с теткой под окнами вагона.

Вечер был удивительный. Пахло дымом, углем. Железный стук, железный звон. Розовое небо, на котором странно горели два огонька семафора — зеленый и красный, — точно для кого-то уже началась ночь. А удивительнее всего была маленькая березка, вылезшая на самую дорогу, в деловой, технический и официальный поворот между двумя путями рельс. Глупенькая, лохматая, — вылезла и не понимает, что ее раздавить могут.

И во всем этом — и в розовом небе, и в звонках, и в березке — была для Лизы особая тревога — ну как это объяснить? — тревога, которую мы выразили бы в образе молоденького студента с солонкой в руке. Но это мы так выразили бы, а Лиза этого не знала. Она просто только удивлялась — отчего так необычен этот весенний вечер, и чувствовала себя прекрасной.

— Зачем ты делаешь такое неестественное лицо? — недоумевала тетка. — Стянула рот сердечком, как просвирника дочка...

Третий звонок.

Проходя в свое купе, Лиза увидела студента в коридоре. Он ехал в том же вагоне.

Ночь.

Тетка спит. Но еще укладываясь, сказала Лизе:

— Постой в коридоре, если тебе душно.

И она стоит в коридоре и смотрит в окно на мутные лунные полянки, на серые кусты, сжавшиеся в ночном тумане в плотные упругие купы. Смотрит.

— Я сразу понял, кто вы, какая вы, — говорит студент, надувая верхнюю губу и потрагивая усики, которых нет. — Вы тип пантеры с зелеными глазами. Вы не умеете любить, но любите мучить. Скажите, почему вам так нравится чужое страдание?

Лиза молчала, делая «бледное лицо», то есть, втягивая щеки, закатывала глаза.

— Скажите, — продолжал студент, — вас никогда не тревожат тени прошлого?

— Д-да, — решилась Лиза. — Одна тень тревожит.

— Расскажите! Расскажите!

— Один человек... совсем недавно... и он преследует меня всю жизнь... с черной бородой, безумно богатый. Я не виновата, что не люблю его!

— А в том, что вы сознательно увлекали его, — вы тоже не виноваты?

Лиза вспомнила, как подсовывала ему книгу с похвальным листом. Потом ей показалось, что она сверкала на каких-то балах, а он стоял у стены и с упреком следил за ней... Вспомнился и венок из белых роз, который он, кряхтя и спотыкаясь, тащил ей на гроб...

— Без-зумная!.. — шептал студент. — Пантера! Я люблю вас!

Лиза закрыла глаза. Она не знала, что рот у нее от волнения дрожит, как у маленькой девочки, которая собирается заплакать.

— Я знаю, нам суждена разлука. Но я разыщу вас, где бы вы ни были. Мы будем вместе! Слушайте, я сочинил для вас

стихи. Вы гуляли по платформе с вашей дам де компани[1], а я смотрел на вас и сочинял.

Он вынул записную книжку, вырвал листок и протянул ей.

— Вот, возьмите. Это посвящается вам. Посмотрите, какой у меня хорошенький карандашик. Это мне мама... — и он осекся, — ...одна дама подарила.

Лиза взяла листок и прочла:

Погас последний луч несбыточной мечты,
Волшебной сказкою прошли весна и лето,
Песнь дивная осталась недопета,
А в сердце — ты.

— Почему же «прошли весна и лето»? — робко удивилась Лиза.

Студент обиделся.

— Какая вы странная! Ведь это же поэзия, а не протокол. Как же вы не понимаете? В стихах главное — настроение.

Подошел кондуктор, посмотрел у студента билет, потом спросил, где его место.

Оба ушли.

Тетка приоткрыла дверцу и сонным голосом велела Лизе ложиться.

Милые, тревожные, вагонные полусны...

Веки горят. Плывут в мозгу лунные полянки, лунные кусты. Кусты зовутся «я люблю вас», полянки «а в сердце — ты»...

На долгой остановке она проснулась и оттянула край тугой синей занавески.

Яркое желтое солнце прыгало по забрызганным доскам платформы. От газетного киоска бежал без шляпы пузатый господин, придерживая рукой расстегнутый ворот рубашки. А мимо самого Лизиного окна быстро шел студент в белой гвардейской фуражке. Он приостановился и сказал что-то носильщику, несшему желтый чемодан. Сказал, и засмеялся, и блеснул глазами, пустыми и веселыми, как у молодой собаки. Потом скрылся в дверях вокзала.

Носильщик с чемоданом пошел за ним следом.

---

[1] Спутницей (от *фр.* «dame de compagnie»).

Началось лето. Шумное, прозаическое, в большой помещичьей семье, с братьями-гимназистами, с ехидными взрослыми кузинами, с гувернантками, ссорами, купаньями и ботвиньей.

Лиза чувствовала себя чужой.

Она — пантера с зелеными глазами. Она не хочет ботвиньи, она не ходит купаться и не готовит заданных на лето уроков.

И не думайте, пожалуйста, что это смешно. Уверяю вас, что пятидесятилетний профессор ведет себя точно так же, если войдет в поэтически-любовный круг своей жизни.

Так же туманно, почти бессознательно мечтает он, и так же надеется, сам не зная на что, но сладко и трепетно, и так же остра для него горькая боль разочарования.

Ах, все то же и так же!..

«Он поэт, — думает Лиза. — Он разыщет меня, потому что у поэтов в душе вечность».

И ночью встает и босиком идет к окошку смотреть, как бегут на луну облака.

— «Угас последний луч несбыточной мечты», — шепчет она целый день.

И вдруг:

— Что ты все это повторяешь? — спрашивает ехидно кузина. — Это романс, который еще тетя Катя пела.

— Что-о?

— Ну да. Еще кончается «а в сердце — ты».

— Не ммо-может ббыть... Это стихи одного поэта... Не мо...

— Ну, так что же? Написан романс лет десять тому назад. Чего ты глаза выпучила? И вся зеленая. Ты, между прочим, ужасная рожа.

Лет десять тому назад!...

Лиза закрыла глаза.

О, как остра горькая боль разочарования!

— Чай пи-ить! — закричал из столовой звонкий, пошлый голос. — Землянику принесли! Кто хочет земляники? Скорей! Не то Коля все слопает!..

Лиза вздохнула и пошла в столовую.

Окно

Как мы привыкли к чудесам, к тем будничным чудесам, которые вошли в уклад нашей жизни! Мы и не замечаем их.

Я говорю не о беспроволочном телеграфе и не о трансокеанском телефоне. Я говорю сейчас о такой простой и привычной вещи, о которой никому и в голову не придет, что она чудо. Я говорю об — окне.

Тонкая, твердая, непроницаемая стена отделяет меня от мира.

И стена эта прозрачная.

У меня тепло, полутемно.

Там, «в мире», дует ветер, листья летят по воздуху. И светит солнце. Я вижу все, что там делается. Я как в шапке-невидимке. Твердая стена отделяет меня. Твердая — никто меня не тронет. И прозрачная — я вижу все.

Мое окно выходит на бульвар. Два больших дерева качаются, шевелят ветками, точно размышляют.

Интересно — как они познают мир? Что сказали бы, если бы им дан был дар слова?

Сказали бы:

— Мокро.

— Сухо.

— Холодно.

— Капает.

Так что, пожалуй, — пусть лучше молчат.

В зеленых их ветках живут воробьи.

Вот один перелетел ко мне на подоконник, увидел крошку сухаря и заплясал вокруг, примериваясь клюнуть.

И в ту же минуту прилетел другой, взъерошенный, восторженный, засуетился, зачирикал, запрыгал и долбанул сухую крошку так сильно, что она скатилась с подоконника.

Первый остановился, раскрыв клюв и свернув голову на сторону, — удивленный и злой. Но второй этого ничего не видел и даже не понимал, что загубил целый обед. Он задрал голову к небу, к солнцу и верещит восторженно и сладко, а когда обернулся — ища сочувствия, поддержки,

отзвука — подоконник был уже пуст. Негодующий друг улетел, не дослушав.

И восторженный воробей растерянно пискнул, повертел головой, весь как-то надулся и притих, опустив нос.

Я тихонько постучала по окну. Он даже и не вздрогнул. Ого! Дело серьезное...

— Воробей! Бросьте! Вас не поняли? Поэт должен быть одинок. Грубое существо обиделось на ваш неловкий жест, которого вы, поэт, даже не заметили. Если бы вы были человеком, вы наделали бы еще больше бестактностей. Вы, наверно, вывернули бы графин красного вина на новое платье своей воробьихи... Ну! Поднимите клюв! Попишите о солнце, о лазури, о весне. За твердой, непроницаемо-прозрачной стеной вас кто-то невидимый будет ласково слушать...

Торжественный выезд: сын нашего булочника тащит через дорогу на середину бульвара свой автомобиль.

Автомобиль в метр длины. Владельцу пять лет.

Внутри автомобиля педали, которые надо вертеть ногами. Есть и гудок. Чудесный автомобиль!

За сыном булочника семенит мальчик поменьше. Он все норовит помочь, принять участие, хоть как-нибудь примазаться к этому делу. То забежит с одного бока, то с другого. Вот нагнулся и, оттянув рукав своей курточки, спеша и стараясь, потер колесо.

Хозяин мрачно отстранял рукой каждое его поползновение. А за то, что тот осмелился вытереть рукавом драгоценное колесо, — даже рассердился и толкнул нахала в грудь.

Вот он уселся, затрубил и поехал.

А тот, другой, бежал рядом. Бежал рядом и улыбался восторженно и жалко, гордясь, что он не совсем чужой этому великолепию, что он вытирал, и его даже в грудь толкали... Вот владелец остановился. Он не умеет круто поворачивать. Он вылезает и повертывает весь автомобиль руками.

А тот, другой, помогает, хотя его и отталкивают, и грубо что-то втолковывают — вероятно, что машина — это вещь нужная и дорогая, и кто попало дотрагиваться до нее не должен. Потом владелец снова уселся и закрутил ногами. А тот — ведь эдакий негодяй! — потихоньку вытер-таки

какую-то пылинку сзади на крыле. И опять побежал рядом, спеша и спотыкаясь...

Вы думаете, что так и определится судьба этого мальчика? Бежать за чужой колесницей, прислуживать чужой удаче, бескорыстно, восторженно?

Ну нет!

Если умеете смотреть через твердую прозрачную стенку, вы давно знаете, что делается потом с этими забитыми, кроткими мальчиками.

Никогда, во всю долгую человеческую жизнь, не забудет мальчик этого чужого автомобиля, за которым, презираемый, бежал в восторге горьком и пламенном. Не забудет и не простит.

С годами в душе его все ярче, богаче, пышнее будет делаться этот торжествующий автомобиль, все униженнее и обиженнее эта маленькая фигурка, которая бежит, задыхаясь и спеша.

Какой огромной платы потребует он от жизни! И все будет мало.

Всегда будет ему казаться, что какая-то яркая, торжествующая колесница мчит избранных к несказанной, нечеловеческой радости, а он бежит сзади, презренный и жаждущий.

С каким наслаждением будет он унижать других и карабкаться вверх, хватая, отнимая все, что зацепят жадные руки, чтобы только накормить свое голодное сердце.

Конечно, он забудет и булочникова мальчишку, и его игрушку, но, может быть, много лет спустя станет ему сниться какой-то маленький детский автомобильчик, и потом весь день он будет тосковать тяжело и злобно, и не поймет почему, и, как бы высоко не вознесла его жизнь, почувствует себя ничтожным и обиженным. Потому что надо было в том далеком прошлом (вот сейчас, сейчас...) как-то избыть свое унижение, а колесо времени вертится только в одну сторону, и нет такого счастья в мире, которое могли бы мы бросить назад, покрыть им, угасить навеки...

Никогда судьба не искупит своего зла.

Какое, может быть, чудовище создается под щебет воробьев двумя играющими сейчас, в этот ветреный весенний день, детьми...

У подъезда стоит консьержкин внук.

Я его знаю.

У него огромные глаза, худенькое ушастое личико, вся фигурка устремленно-восторженная. И у него длинные романтические кудри до плеч.

Всю зиму с ним играла маленькая толстая девочка, дочь лавочницы. Недавно ее увезли, и он целые дни стоял один у подъезда, заложив руки за спину и прижавшись к стене.

Тогда кто-то подарил ему большую заводную бабочку. Бабочка жужжала и билась в руке, как живая. Он немножко боялся ее, когда она так билась, но когда успокаивалась — робко гладил ее твердые, блестящие крылья.

— Ле пти[1] муазо… — шептал он.

Он считал ее птицей, а «муазо» было среднее между oiseau[2] и moineau[3]. А может быть, просто еще не мог выговаривать.

— Ты скучаешь без маленькой Сильвы? — спросила я у него.

Он поднял свои длинные ресницы и показал в своих огромных глазах такую нежную, глубокую печаль, какую взрослые никогда не дают увидеть. Взрослые прячут ее, опуская веки…

— Сильва… Сильва… — и он лепетал что-то, волнуясь и краснея.

Я с трудом поняла. Мысль эта была очень сложная: если бы Сильва не уехала, она стала бы заводить пружинку «пти муазо» и сломала бы «пти муазо». Так что, в общем, выходило даже как будто все к лучшему.

Теперь, значит, можно будет, наконец, спокойно жить и работать.

Вот он сейчас стоит у стены. Одна рука за спиной, в другой «муазо».

У «муазо» недвижно висят оба крыла. С ним дело конченное.

Что же теперь?

Как утешает себя маленький человек?

---

[1] Маленькая (от *фр.* «le petit»).

[2] Птица (*фр.*).

[3] Воробей (*фр.*).

Уходит любовь, жизнь опустошается.

— Ну что ж? — говорят. — Тем лучше. Она ведь только мешала. Все эти Сильвы всегда перекручивают пружины.

— О чем ты так задумался? — часто говорит поэту нежный голос Сильвы. — Ты даже побледнел. Наверное, что-нибудь сочиняешь?

Кррак! — пружинка сломана. Ну разве можно спрашивать поэта, «не сочиняет ли он что-нибудь?»!

Они мешают жить! Они закрывают жизнь своими руками, поцелуями и глупостью...

Маленький мальчик стоит, прижавшись к стене. В руке у него сломанные кусочки раскрашенной жести его «муазо», на котором он рассчитывал утвердить основу жизни, одинокой, свободной и разумной.

Он вытянул тонкую шею, приподнял брови печально и недоуменно...

Он думал... о Сильве...

Дикий вечер

У Афанасия Евмениевича была в нашем городе в рядах своя лавка красного товара, досталась ему от отца, бывшего офени и коробейника. Поэтому и на вывеске обозначено было:

«Лавка Евмения Харина, по народному прозванию Мины».

Никто лавку харинской и не звал, а всегда говорили «у Мины».

— Купила у Мины зеленого бурдо на юбку...

Афанасий был купец хитрый и при покупателе говорил с приказчиками на офенском языке.

— Афанасий Евменьич, — скажет приказчик, — почем для барыни Манчестер?

— Размечай по полтора хруста, — ответит Харин.

Заметьте — «хруста», а не рубля. Ну, барыня, конечно, и не понимает.

Или скажет:

— Торопи ее, не задерживай, скажи, что пора забутыривать дудерку.

Ну, кто тут догадается, что дудерка — это лавка, а забутыривать — закрывать?

Вот этот самый хитрый купец перехитрил и меня, всучив мне совершенно дрянную таратаечку.

— Ну, — сказал, — повезло вам, барынька. Есть у меня для вас таратаечка, английский шарабанчик. Сам бы, как говорится, ел, да хозяин не велит. Новенькая, высокий фасон. Для меня малопоместительна, а вам для прогулочки лучше и на заказ не сделают. Вот когда надумаете на Горушку в гости съездить, я туда вас подвезу, так вы и попробуете, что у меня за таратаечка.

Потом все посылал своего мальчишку узнавать, не собираюсь ли я на Горушку.

Наконец сговорились, и он заехал за мной.

Таратаечка была двухколейная, черная, дико высокая — прямо эшафот. Перед самыми коленями перильца, сиденье высокое.

— Шик-с! — говорил Харин. — Барский выезд!

Поехали ничего себе.

— На ходу-то как легка! — любовался Харин. — И высоко, все тебе видать, и тебя отовсюду заметно. Барский выезд.

Щурил лукавые зеленые глаза, рыжая бородища по ветру веером. Уговорил.

Назад отвезти он меня не мог — торопился по делам.

— Горушинские доставят. А я вечером таратаечку к вам пришлю, и задаточек получить прикажите.

Дня через два велела я запрячь Воронка в эту самую новую таратаечку и поехала одна на Горушку.

Для начала поняла, что влезть в нее — чистая беда. Ступенька приходилась почти на высоте пояса. А Воронок — лошадь неспокойная, и даже в удобный экипаж не дает сесть — дергает. Ну, да кто-нибудь ее всегда подержит.

Ехать все время в гору — оттого и называлась усадьба Горушка.

Жили там очень милые люди: близорукий молодой человек, собиравший грибы с биноклем, и две барышни. Одна считалась красавицей, другая уродом, но я за много

лет знакомства так и не поняла, которая именно красавица, которая урод...

Воронок нервничал, пугался грачей, луж, кучек щебня у краев дороги. Поднялся ветер, загудел в телеграфной проволоке.

Подъехала к усадьбе, смотрю — ворота заперты. И никого нет. А дом далеко, в глубине аллеи.

Встать и открыть не могу, потому что Воронок не даст мне снова влезть на мой эшафот.

Покричала, подождала, еще покричала.

Деревья качаются, гнет их ветром, начесывает вершины, как косматые чубы на лоб.

У Воронка грива развевается, он голову поднял, точно прислушивается. И вдруг повернулся и скосил на меня огромный, с желтым, как у негра, белком дикий глаз.

Поднялась черная птица, описала в воздухе большой круг, точно заколдовала, пронеслась над головой и провалилась за лесом.

И такая от всего этого потянулась тоска — хоть плачь!

Эта вымершая усадьба, мотающиеся деревья, зловещая птица и дикий глаз лошади, испуганный и злой... Чувствую, что боится она чего-то. И вдруг она сама собой побежала под горку назад.

Побежала под горку, и сразу поняла я все Афонины хитрости: почему так торопился с продажей и почему возил именно на Горушку таратайку пробовать. На ней только на гору и можно было ехать, потому что вся она была неладная, с наклоном вперед. Сиденье высокое, ноги еле хватают до полу, подушка кожаная, твердая, скользкая, с сильным покатом, усидеть на ней нет никакой возможности. Держаться на согнутых коленях! Ноги болят, колени дрожат. Опуститься бы совсем на пол — нельзя. Так узко, что только ноги поставить. Ветер воет, лошадь пугается, уцепиться не за что.

Решила — доеду как-нибудь до монастыря, там попрошу лошадь подержать и переверну подушку вниз кожей, может быть, если не так скользко, так и усидеть можно.

Стало темнеть.

Вижу наконец, колокольня белеет. Монастырек сам в стороне, но около дороги устроили монахи колодец с кре-

стом на крыше и иконкой. У колодца всегда монашек сидит и собирает с проезжих на книжку. Старенький, рваненький монашек. Помещичьи няньки им детей пугали:

— Вот не будешь спать, отнесу тебя к попику рваному, он тебя заставит в колодце колесо крутить, так будешь знать!

Старенький, но лошадь подержать, конечно, сможет.

Подъезжаю к колодцу, остановилась. Нет. Не выходит попик рваный со своей книжечкой.

Пождала. Позвала.

Никого.

Это уж прямо чудо! Точно вымер весь белый свет.

И опять стала лошадь голову поворачивать, и чувствую, что она боится. Чтобы подбодрить ее, закричала басом:

— Но-о! Балуй!

И сама испугалась. Испугалась, что дикая ночь наступает, и нигде ни живой души, что ветер воет, и одна я в целом мире, и сижу на черном эшафоте, и кричу басом.

И вот решилась.

Встала, зацепила вожжи за колонку колодца и пошла в монастырь.

Калитка в стене оказалась незапертой, и обрадовалась я этому как не знаю какому счастью, и совсем уже уверенно и спокойно подошла к низенькому белому строению — нечто вроде монастырской гостиницы. Оттуда слышались голоса.

Дверь полуоткрыта.

Вошла.

Сначала показалось мне, что только двое сидят за столом, да еще мальчишка, что около меня стоял у дверей. Одна лампадка горела, да тусклый свет из окна. Потом разглядела — еще люди кругом на лавках.

А те, за столом, две женщины, видимо, странницы. Одна старушонка, в белом платке, пила чай с блюдечка. Другая, простоволосая, с распущенными прямыми волосами, ниже плеч. Потом разглядела лучше — не женщина, а парень в подряснике и сапогах. Но лицо странное, скорее женское, крупное, продолговатое, как яйцо, и все запрокинуто кверху, и брови приподняты, словно удивленно прислушивается. Фигура плоская, ширококостная. Сидит, смотрит вверх. Молчит. Рядом на столе скуфейка.

— Буде хошь дак пей, — сказала старуха и подвинула ему чайник.

— Спаси те... не хочу, — прошептал парень.

— И голос прячет, — сказал кто-то на лавке, очевидно, продолжая какой-то долгий разговор. — Чего ж ты, если так, голос прячешь?

У дверей на лавке колыхнулся — теперь я уже могла разглядеть — какой-то мохрастый мужик не то в зипуне, не то в подряснике. Все лицо у него было сморщенное, словно сожмуренное. Челка прядями спускалась на глаза, борода росла прямо из-под бровей — глаз не видно, смотрел бровями. В руках держал длинный кнут.

— А где ж он, бабка, к тебе пристанул? — спросил мохрастый.

— Утром, как от Антония Дымского вышли. С самого монастыря.

Старуха отвечала нехотя.

— Та-ак. Та-ак. Так я и знал, что с той стороны.

И вдруг громко крикнул мальчишке, что стоял около дверей:

— Хлев запер?

— Запер.

— На жердинку?

— На ворота.

— Ну то-то!

С лавки поднялся монашек — «попик рваный» — я сразу узнала его.

— А вы из каких будете? — спросил он меня.

Я назвала себя.

— Разве не узнаете?

Монашек помолчал.

Мальчишка у дверей охнул.

— О-о! Отец-то казначей говорили, быдто они померши.

Старушонка испуганно закрестилась и стала обирать со стола огрызки и прятать в суму.

— Нет, — говорю, — я живая...

— Ну ты! — прикрикнул кто-то на мальчишку. — Не пугай!..

И потом тот же голос спросил меня:

— А вы откуда же так пожаловали, на ночь глядя?

— У меня лошадь здесь, у ворот.

Кто-то что-то шепнул, и мальчишка юркнул в дверь, верно проверять мои слова.

— Всем бы им осиновый кол, — пробормотал мохрастый с кнутом. — Ишь ходют...

— А в каком же ты монастырю жил? — спросил кто-то у длинноволосого парня.

Тот молча встал и, оставя на лавке свою скуфейку, вышел на крыльцо.

— А скажи, бабка, ничего ты за ним другого не примечала?

Старуха вдруг рассердилась:

— Чего вы привязались-то? Я ж вам говорю, что шел от Дымей, ну и идет. Дорога для всех.

— Чего вы ее спрашиваете? — насмешливо сказал мохрастый. — Они же заодно. Вместе и ходют.

Вернулся мальчишка.

— Правда, — сказал он.

Я было хотела отдохнуть — дрожали ноги после чертовой таратайки, но было что-то такое неладное и зловещее в этой полутемной конурке с тенями, с голосами, с непонятными словами. Что это за существо, которое тут сидело и потом так странно вышло? И говорят, что я умерла, и как будто не верят, что жива. Тяжело, как во сне.

— Ушел он, что ли? — спросил мохрастый.

— Ушла, — отвечал мальчишка. — Зашагала по дороге шибко. Прямо летит! Може и летит?

— Побудить бы отца Сафрония, — сказал кто-то.

— Пойтить к хлеву... — встал мохрастый.

Когда он встал — оказался на таких коротких ногах, словно на коленях. Мне стало тошно. Замутило.

— Мальчик, — попросила я. — Пойдемте со мной, вы подержите лошадь, пока я буду садиться.

— Иди, что ж тут, — сказал «попик рваный» и тоже поднялся с места.

Мы вышли к воротам.

— Что же вы не узнали меня? — спросила я попика. — Еще третьего дня проезжала.

Попик ничего не ответил и зашагал вперед.

— Мальчик, — спросила я. — А что это за человек, тот, с волосами?

Мальчишка осмотрелся по сторонам.

— Там, за воротами скажу.

— За воротами?

«Попик рваный» уже стоял у колодца с книжкой в руке и кланялся мне. Я положила на книжку свой дар.

— Шу... шума, — зашептал мне мальчик.

— Что?

— Она, волосатая-то... Чума, коровья смерть. Она с той стороны и идет-то, с озер.

— Чума?..

Я повернула подушку. Села. Воронок рванул боком.

Сидеть было так скверно, и сразу заныли ноги.

Гудели проволоки, журчал щебень.

Дорога еще видна хорошо, а дальше, в поле, синяя мгла.

И вот опять я одна и чувствую, как боится лошадь.

Никто не откликнулся на мой зов там, в Горушке, и у монастыря никто меня не слышал, и говорят люди, что я умерла...

Гудят проволоки, воют. И как будто кричит кто-то...

Лошадь храпнула и шарахнулась в сторону. Я еле усидела.

Посреди дороги стояла «Коровья Чума», огромная, страшная, дикая. Ветер отмел вбок ее длинные волосы. Она махала руками и не то пела, не то кричала во весь дух, надрывным голосом:

Белы снеги лопушисты,
Вы покрыли все поля,
Одно поле непокрыто —
Горя лютаго мово...

Воронок прыгнул и понес к городу.

Скоро загрохотал булыжник под колесами.

Старый кучер ждал меня у ворот.

— Тихо... тихо. Чего ты? — говорил он, вытирая полой кафтана шею Воронка. — Волка почуял? Ишь дрожит. Либо оборотня? А? Оборотня?

— Федор, — говорю я. — Снимите меня. Мне нехорошо.

Оборотень

Попала я в этот занесенный снегом городишко далеко не случайно и не потому, что хотела повидать провинциальную тетушку. Попала я туда по причинам романтическим: мне нравился Алексей Николаевич.

Всю осень в Петербурге он бывал у нас, танцевал со мной на всех вечерах, встречался «случайно» на всех выставках и, уезжая на место своей службы (он был назначен судебным следователем именно в этот скверный городишко), сказал, что любит меня и просит быть его женой.

Я попросила его дать мне срок обдумать его предложение. На том мы и расстались.

Мнения старших были о нем, скорее, благоприятные. Бабушка сказала:

— Ну, что ж, ma chére[1], у него очень приличные манеры, и он правовед.

Одна тетушка сказала:

— Только что институт кончила и сразу замуж выскочишь — молодчина!

Другая тетушка сказала:

— Он, в общем, кажется, дурак. Если при этом с деньгами, так чего же тебе еще?

А он писал письма, длинные и довольно интересные, когда в них говорилось обо мне. Но говорилось в них больше о нем самом, о его сложной душе, даже о его снах. А снились ему все какие-то мистерии — тощища ужасная. Потом пришло приглашение погостить от провинциальной тетушки, и я решила поехать и проверить себя.

Городишко был в шестидесяти верстах от железной дороги, совсем глухой, деревянный, с монастырем за белой речкой в пуховых снегах.

Оказалось, что приехала я в очень оживленное время — в какой-то земской съезд.

Жениха моего в городе не было. Он уехал на следствие куда-то далеко, в деревню Озера, рядом с его имением.

---

[1] Дорогая (*фр.*).

Для развлечения потащила меня тетушка на съезд, познакомила с городскими дамами, усадила на стул и велела слушать.

Зал, где все это происходило, был довольно большой и битком набит публикой. А посреди зала вокруг стола, покрытого зеленым сукном, сидели местные деятели, все больше бородатые да бровастые, в сюртуках, каких уж сто лет не носили.

Толковали о чем-то, спорили. Очень горячился маленький шепелявый старичок и все повторял своему противнику, что он не может с ним конкурировать. Но вместо «конкурировать» выговаривал «канканировать».

— Не могу я с вами канканировать — вы молоды, а я стар.

Потом какой-то земский врач стал читать тягучий доклад о том, что больница нуждается в перестройке и что уборную нельзя помещать рядом с операционной. После этой фразы одна из городских дам хихикнула и, подтолкнув меня локтем, сказала:

— Наслушались мы сегодня пикантностей!

Среди лохматых земских врачей сидел несколько поодаль один, поразивший меня своим странным лицом. Худой, с маленькой бесформенной бородкой, он был, если так можно выразиться, ослепительно бледен и сидел с закрытыми глазами. Точно мертвый. Я долго смотрела на него, и вдруг он, точно почувствовав мой взгляд, быстро поднял глаза прямо на меня и закрыл их снова. И несколько раз он так взглядывал на меня вопросительно, словно удивленно.

— Это вы что, с молодым человеком переглядываетесь? — спросила меня соседка, та самая жантильная дама, которая говорила о пикантностях. — Не стоит того. Совсем не интересный мужчина. Его никто не любит. Оборотень какой-то.

Вечером у тетки были гости. Приехала на паре белых лошадей самая важная городская дама, чья-то вдова, по прозвищу — именно из-за этих лошадей — архирейша. Это была самая главная городская сплетница. Поэтому она уж знала, что я на съезде смотрела на бледного доктора.

— Нашли тоже, душенька, на кого смотреть! Его и мужики терпеть не могут. Прозвали оборотнем. На что ни взглянет, все вянет.

И тут же рассказала, что доктор этот — Огланов его фамилия — в здешних местах недавно, всего второй год, но деды и прадеды его жили здесь и были богаты и знамениты, и разоренное имение их осталось, и доктор там и живет, а отец докторов никогда здесь и не показывался.

Дом у них страшный, большой, каменный, с легендами, даже каким-то писателем записанными. В большом зале в стене будто бы замурована живьем крепостная девушка за строптивость, что ли. А под домом был когда-то огромный подвал, и в этом подвале содержались в тайности десять евреев. Вывез их прадед нынешнего Огланова откуда-то из Австрии, и работали эти евреи фальшивые ассигнации, и проведало откуда-то про это темное дело начальство, и дошли до старого Огланова слухи, будто будет наряжено следствие. Ничего Огланов своим евреям не сказал, только велел на дворе у каждой отдушины сложить запас кирпича. А евреи работают себе и знать ничего не знают.

И вот доносят оглановские приспешники, что выезжает суд. В те времена суд прямо на место выезжал. И тотчас позвал Огланов крепостных своих каменщиков и приказал им все подвальные отдушины замуровать наглухо. Приехал суд, пять дней пил, ел — угощал Огланов на славу. А в это время глубоко под полом задыхались несчастные евреи. Ну, конечно, ничего подозрительного не нашли, раз и подвала у него никакого не оказалось. С тем и уехали. А Огланов из осторожности так подвала и не распечатал и продолжал жить в своем страшном доме как ни в чем не бывало. И сын его жил — богатейшие были люди. Но уж внук — отец нашего доктора — с детства жил в Петербурге, все состояние промотал, и вот этот выродок совершенно неожиданно объявился сюда в качестве врача.

Пришло письмо от жениха. Звал меня в Озера. Хотел познакомить с семьей.

Тетушка пустила меня в Озера.

— Одной в такую даль — невозможно. Надо поискать попутчиков.

В таких захолустных городишках подобные дела делаются скоро. Кого-то куда-то послали, кто-то сам к нам прибежал, и живо выяснилось, что так как кончился съезд

и начнется разъезд, то кто-нибудь меня прихватит, кому надо в сторону Озер.

Потом забежали и сказали, что после завтрака заедет за мной доктор Огланов, который едет как раз в Озера и как раз к моему Алексею Николаевичу на вскрытие.

Поеду, значит, с Оборотнем.

Ну, что ж? Это даже занятно.

Ждала я долго. Уже темнеть стало, когда он заехал. Наверх не поднялся, ждал на улице.

Напялили на меня валенки, сверх шубки старую теткину ротонду. Ужас!

Вместо нарядной тройки, как мне представлялось, ждала меня убогая кибитка и пара лохматых коньков гусем.

Доктор поздоровался мрачно, не поднимая глаз. Из поднятого воротника его шубы — лицо еле видно. Завернул мне ноги меховым одеялом, пахнущим кислой овчиной. Пробормотал:

— Вам будет тепло, это великолепное одеяло.

И замолчал.

Вот уж действительно — на что ни взглянет — все вянет. Ехали долго молча. Я даже задремала. Скучная, скучная белая дорога, холодное сиреневое небо, туго скрипят полозья.

— ...правда?

Это он, Оборотень, что-то говорит.

— Что?

— Правда, что вы невеста этого следователя?

Лицо повернуто ко мне, бледное, с тонкими губами. А глаза опущены.

— Не знаю...

Я как-то растерялась.

Он снова долго молчал. Потом вдруг:

— Ну, что ж — богатый и глупый — дело подходящее — да?

— А вам-то что? — спросила я.

— Имейте в виду, — снова, после долгого молчания, сказал он, — что его богатство не покроет целиком его злой глупости. Она непременно откуда-нибудь вылезет. Впрочем, мне все это безразлично.

— Тогда почему же вы завели этот разговор?

Он круто повернулся ко мне, но сразу снова спрятался в свою шубу, даже, кажется, не успев взглянуть на меня.

— Да, да... Это удивительно, — пробормотал он. — Да... вы правы...

И мы оба замолчали. И долгая, долгая тянулась дорога. Сердце болело от белой тоски беспредельных снегов, от бренькающего колокольчика, от неподвижной фигуры злого человека рядом со мной. Ямщик на козлах качался и молчал, как мертвый. Страшная надвигалась — мертвая — ночь. Хотелось спросить, скоро ли мы приедем, и как-то не было сил заговорить.

Противно было, что на ногах моих лежит одеяло, которым он так гордится. Ах, не надо было ехать! Разве можно так, с первым встречным... Тетка дура, зачем позволила...

Я уснула.

Проснулась потому, что залаяли собаки. Мы въезжали в какую-то усадьбу.

— Я должен взять инструменты, — сказал Оборотень. — Пока из деревни приведут других лошадей, вы можете погреться. Здесь мой дом.

Я не хотела идти в его дом. Почему он не предупредил раньше, что мы к нему заедем? Но куда же мне деться? Надо идти.

Дом огромный, каменный. Окна забиты снаружи досками, наглухо. Чернеют только три-четыре. Широкий подъезд с колоннами. Но мы остановились у бокового крылечка. Фигура в тулупе с жестяной лампочкой в руке открывает двери, суетливо ведет вдоль длинного коридора, через гулкий зал. Пятна сырости проступают странными фигурами по стенам. И бегут огромные тени, обгоняя одна другую.

Господи! Да ведь это и есть тот страшный дом с замурованными людьми!

— Вот здесь! — сказал Оборотень. Он шел все время сзади.

Комната почти пустая. Провалившийся диван, кожаный стул, столик. Точно в тюрьме.

Оборотень пощупал печку, сказал что-то тому, в тулупе, и оба вышли.

Я села на стул. Сыро в комнате, холодно. Сижу в шубе.

Тот, в тулупе, принес охапку дров, сунул в печку, долго дул, дымил, сопел. Потом принес мне стакан чаю и несколько кусков сахару на блюдечке. Потом долго не появлялся и, наконец, принес яичницу на сковороде, кусок хлеба и же-

лезную вилку. Сковорода была огромная, человек на пять. Потом принес совсем уже неожиданно кувшин с водой, обшарпанный таз, ведро и холщовое полотенце. Поставил таз на диван, точно так и полагается, кувшин на пол. Сказал: «Вот» — и ушел уже окончательно.

Какой ужас все это!

Огромная моя тень колышется по стенам. В черном окне отражается оранжевый огонек лампы, стол и я. Да еще я ли это? Отчего такое узкое бледное лицо у меня?

Я вскрикнула и вскочила. Это он, Оборотень, смотрит на меня из мехового воротника. И как я вскочила — сразу увидела, что это я. Но успокоиться не могла, забилась в угол комнаты, откуда окна не было видно, и тихонько заплакала.

Снова пришел мужик в тулупе и сказал, что лошади поданы.

Опять заплясали тени по стенам, побежали призраки, обгоняя друг друга, прячась от тусклого огонька лампочки.

Во дворе сани, открытые, деревенские. Две лошаденки гусем, худенький парнишка на козлах, унылая фигура Оборотня. Он укутывает меня и говорит:

— Я же приказал кибитку.

— Под станового ушла.

Лошади еле плетутся. Проехали лесок, скатились под горку и пошли по унылому пустому полю.

— Что же твой хозяин лошадей совсем не кормит? — говорит Оборотень.

Ямщик вздрагивает и поворачивается к нам лицом.

— Да немножко-то кормит.

Лицо у него странное. Рот распяливается набок, точно он во все горло хохочет.

— Ты чего дергаешься, болван? — вдруг злобно крикнул Оборотень.

— А чаво... а я ничаво.. — пробормотал ямщик и отвернулся.

Бесконечное голое поле, только слева вдали виднелась полоска леса. Ветер дул, поддувал под ненавистное докторово одеяло, забирался в рукава шубки.

— Отчего далеко от берега взял? — кричит снова Оборотень. — Там бы ближе.

И снова ямщик вздрогнул и повернулся.

— А ты чаво? Може искупаться хочешь?

— Что-о?

— Не видишь, что ли?

Он показал кнутом на черные длинные полосы на снегу около лесной опушки.

— Полыньи... — пробормотал доктор. — А зачем тебя хозяин сегодня послал? Другого у вас нет, что ли?

— Ягор под станового ушел, — дергая плечами, ответил парень.

— Не дергайся, подлец! — диким голосом закричал Оборотень.

Я больше не могла.

— Доктор, — сказала я, — зачем вы его браните? Это ужасно!

— Не вмешивайтесь, — ответил Оборотень вполголоса. — Это единственное средство сдержать его...

Я ничего не понимала и спрашивать боялась. Спросила только:

— Почему там полыньи?

— Полыньи? Мы же озером едем. Мы должны четыре озера, одно за другим...

Поднялись на горку, проехали лесок и снова спустились, и опять снег и ветер, снег и ветер. Без конца. Сани ныряли и раскатывались. Меня зазнобило, стало тошно, как в море, во время малой качки.

— А во-во... во... во...

Ямщик повернулся к нам и показывал кнутом куда-то вправо за нами. Я обернулась: три темных точки двигались по снегу одна за другой.

— Что это?

— Робята говорили, ты за собой их водишь! — истерическим голосом выкликнул парень, и снова дернулся к лошадям, и еще что-то сказал. Мне ясно послышалось:

— Оборотень.

Или это мне показалось?

— Что это — волки? — шепнула я.

— Пустяки, — сказал мне доктор. — Не волнуйтесь. Они не посмеют подойти.

И вдруг ямщик вскрикнул. Он вскрикнул даже не очень громко, но что-то такое страшное, никогда не слыханное

было в этом выкрике, что я сама закричала, и вскочила, и чуть не вывалилась из саней. А ямщик опустил голову и странно, толчками, стал падать вбок.

Оборотень схватил его за плечи, перегнулся, поймал вожжи и остановил лошадей.

— Так я и знал! — сказал он с досадой.

Он осторожно положил парня на снег. Тот подергался еще и затих. Тогда Оборотень поднял его, втащил на свое место в сани и укутал меховым одеялом.

— Он умер? — робко спросила я.

— Эпилепсия, — отрывисто ответил он и влез на козла.

И снова снег и ветер. И еще это недвижное тело рядом со мной. И мне совсем худо. Ноги замерзли, меня укачало, мне тошно. Я начинаю всхлипывать.

— Сейчас у перелеска будет сторожка, — говорит Оборотень.

Туго скрипят полозья, сани ныряют... Снег, ветер.

Меня тащат по каким-то ступенькам.... Вот я на полу, лежу на каком-то сеннике. Старуха в повойнике говорит: «Водки бы, водки». Чувствую, как мне растирают ноги, слышу, как зубы мои стучат о толстое стекло стакана, и спирт ожег горло.

— Ничего, ничего, — шепчет кто-то около меня.

Лицо Оборотня, но такое печальное, ласковое, озабоченное.

— Бедная девочка, — говорит он. — Достанется тебе от твоего дурака. Обиделась на меня... жених... Загрызет он тебя, нежную, совсем, совсем глупую. Жаль мне тебя.

А я все плачу, плачу и перестать не хочу.

Ласковые руки гладят меня по лицу, укутывают, оставят на минутку, и тогда я начинаю громче плакать, чтобы снова они пришли.

«Защитите меня!» — хочу я сказать, но выговорить не могу. Голова кружится... Засыпаю..

Потом утро. В обледенелое крошечное окно смотрит яркий день. Ночная старуха в повойнике трет что-то в лоханке.

— Встала? — говорит. — Ну, вставай. Чаю тебе дам. Только чай у нас копорский. Зверобой-траву мы пьем. Старик на деревню ушедши, тебе за лошадьми.

— Далеко до Озер? — спрашиваю я.

— Не-е. Верстов пятнадцать.

В углу за печкой вижу Оборотнево одеяло.

— Что там?

Чего я так испугалась...

— Ямщик больной. Федька-припадочный. Ничего, встанет.

Отдал ямщику свою гордость — одеяло!..

Я вспомнила дикую яичницу с железной вилкой. Защемило сердце, стыдно стало, что я, хоть из вежливости, не попробовала. Нехорошо...

Старик привел лошадей.

Уходя, я тихонько дотронулась до этого одеяла. Будто извинилась, что оно мне так противно было.

В большой помещичьей гостиной, обставленной твердой красной репсовой мебелью, высокий, глупый, совершенно чужой человек, Алексей Николаевич, закатил мне идиотскую сцену ревности из-за того, что я ездила с доктором Оглановым. И когда я этому глупому и злому человеку сказала, что не люблю его и женой его никогда не буду, он выпучил глаза и сказал недоверчиво:

— Быть не может!

Доктора Огланова я больше никогда не видела. И когда случайно вспоминаю о моей встрече с ним, кажется мне иногда — а вдруг хитрый Оборотень нарочно обернулся чудесным, ласковым, единственным, нарочно, чтобы разбить мое счастье с прекрасным человеком Алексеем Николаевичем?

О нежности

Печатается по изданию: Тэффи. О нежности.
Изд-во «Русские записки», Париж, 1938.

О нежности

1

«А нежность... где ее нет!» — сказала Обломову Ольга.

Что это фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничижение нежности? И где она так часто встречается?

Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство.

Но как можно осудить нежность?

Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви? Сестра нежности — жалость, и они всегда вместе.

Увидите вы их не часто, но иногда встретите там, где никак не ожидали, и в сочетании самом удивительном.

Любовь-страсть всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное.

Любовь-нежность (жалость) — все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». Только она одна и не ищет.

Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот. Нежность идет сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке. Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому.

— Деточка! Крошечка!

Пусть деточке пятьдесят лет, а крошечке семьдесят, нежность идет сверху, и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них.

Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его «заинькой». Она покорена силой Зигфрида, в ее любви — уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может.

Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, принижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности.

— Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным.

Это нежность слепо, ощупью ищет своего пути.

Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже — что совсем уже необъяснимо — одна дама называла своего больного мужа капустой (mon chou) и кокошкой (ma cocotte[1]).

— И знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует.

— А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов?

— Нет, ровно никаких.

— Ну, а как же вы выражаете свою нежность?

— Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах, но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных.

Нежность встречается редко и все реже.

Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь — единоборство.

— Ага! Любить? Ну, ладно же.

Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого?

---

[1] Здесь: душенька, любимчик (*фр.*).

До нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои.

Кто познал нежность — тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда.

В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью.

Ах, что мы знаем об этих «кротких женщинах». Ничего мы о них не знаем.

Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных.

В первый раз посетила она мою душу — давно. Душе моей было не более семи лет. Огромные семь лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые семь лет человеческой жизни.

Был вечер, была елка. Были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида, — весь аккорд душевных переживаний.

И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники, серые, с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась, и внутри, в животе у слоников, бренчали конфетки.

Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки.

Я высыпала из своего картонажа конфетки, живо их сгрызла, а самого слоника сунула под елку — пусть там спит, а за ночь придумаю, кому его подарить.

Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает.

— Что бы это такое могло быть?

Я подошла к ней, и она тотчас же схватила куклино одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала.

— Что у тебя там?

Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала:

— Пожалуйста, не смей!

Тут для меня осталось два выхода: или сказать «хочу и буду» — и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее.

— Очень мне нужно!

Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала. Изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос.

И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два и, видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты.

В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый. Вылезающий из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха — все было так беззащитно, покорно и кротко, и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать:

— Лена! Глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите! Смотрите!

И Лена бежит, красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника. А я все кричу:

— Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!

И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит:

— Не смей над ним смеяться! Ведь я тебя у-у-убить могу!

И плачет, очевидно, от ужаса, что способна на такое преступление.

Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильной, умеющей — она это знает — драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный, в тряпочном чепчике, — все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать... Картонного слоника с красной попонкой, — уродца в тряпочном чепчике, — забуду ли я когда-нибудь?

2

И вот еще история — очень похожая на эту. Тоже история детской души.

Был у моих знакомых, еще в Петербурге, мальчик Миша, четырех лет от роду.

Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел исподлобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос: «Бум-бум-бум» — и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал только, когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша от стыда, что ли, приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям — выше он достать не мог.

Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно назло, потому что при этом поглядывал исподтишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем, одним словом, был отпетый малый.

И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник.

Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый «до плеч» простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголочке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу, голого и холодного, — у его ног.

На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал беспокойно, и, просыпаясь, поднимал голову, и озабоченно смотрел в сторону подсвечника — тут ли он.

А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи.

И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали — доктор запретил, — так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел. Взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую. Потом слышно было, как он запел: «Бум-бум-бум» — и затопал медвежью пляску.

А утром нянька, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой — он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего и, отдав, плясал и пел от радости.

3

Мы жили в санатории под Парижем.

Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское.

Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали.

Настоящих больных было только двое — чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злющий старик, поправляющийся от тифа.

Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто-то проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза.

Вокруг старика трепетной птицей вилась его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глазами, которые точно увидели радость и верить этой радости боятся.

И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То перевертывала ему газету, то взбивала подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. Все эти услуги старик принимал с явным отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливала молоко, задевала его газетой по носу. И все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался.

Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию.

Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:

— Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица. «Что бывает в жилом доме, в четыре буквы». Я думала «окно», но первая буква «и», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову», значит Ио.

И поясняла:

— Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение. Так что уж мы с ним всегда, после дневного отдыха, предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну, так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе.

И летит, легкая, сухая, на балкон, к среднему столику, от столика еще куда-нибудь и всем приветливо объясняет, что ее мужа развлекают крестословицы и как она ему помогает в трудных случаях.

— Знаете, больные, они как дети!

И ласково всем кивала и посмеивалась, точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре и, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу.

Ее жалели и относились к ней с большой симпатией.

— Умная была женщина, бактериолог. Много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами.

— А что он собою представляет?

— Он? Да как вам сказать, — нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем, не из видных. Писал в провинциальных газетах. В общем, кажется, просто дурак с фанабериями.

Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда «ему», может быть, понадобится ее помощь.

И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола.

Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желания.

Наконец, он успокоился.

Она, радостно поеживаясь, схватила газету.

— Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица.

Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся.

— Убирайся ты, наконец, к черту со своими идиотскими крестословицами! — бешено зашипел он.

Она побледнела и вся как-то опустилась.

— Но ведь ты же... — растерянно лепетала она. — Ведь ты же всегда интересовался...

— Никогда я не интересовался! — все трясся и шипел он, с звериным наслаждением глядя в ее бледное, отчаянное лицо. — Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! И-ди-от-ка!

Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю?

Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.

4

Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету.

Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице. Он гулял со своей собакой.

Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за «непонимание момента», крутым, злобным человеком, «темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути». Вот как о нем говорили.

И еще говорили о том, что он тридцать пять лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом.

Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело.

Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна — то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет.

Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически.

Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничанье отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и каким-то «студенческим вопросам». Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена.

Может быть, и в данном случае было так.

Сановник жил на своей половине, отделенной от комнат умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрусталями люстр, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробегавшие с докладами молодые чиновники.

Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, сенбернаром.

Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полоску под глазным яблоком. Совершенно как у сенбернара. И так же медленно ступал он тяжелыми мягкими ногами. И шли они рядом.

— Ишь, собачища! — сказала раз нянька.

И мы не поняли, о ком она говорит, — о сановнике или о его собаке. «Собачища» ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепее.

Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина, и собака остановилась рядом и тоже смотрела на книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху, которое было на уровне ее лица.

— Можно погладить собачку? — спросила она.

Сановник обернулся, весь целиком, всем туловищем.

— Это... э-это... совершенно лишнее! — резко сказал он, повернулся и пошел.

Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком.

Действительно, — точно гавкнула собачища.

Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение.

Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким, жалким комочком и заковыляла к няньке.

Мы еще раза два-три видели их — его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать.

И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и они обе смеялись.

— И злющий был презлющий. Чиновника своего прогнал, и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес евонный околел. Ну, прямо и смех и грех, он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал — сидит, говорит, злющий, аж весь черный, у себя в кабинете, пишет-пишет, потом встанет да так тихомольно, крадучись, в залу пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует — ну, ей-Богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет-попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой — и идет в залу. Лакей Петро позвал Семена кучера, да Ариша ихняя — там за дверью в передней все видно — так прямо все животики надорвали.

— Гос-с-споди спаси и помилуй! — ахала нянька. — Собачью лапу!

— Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился. Ну и похохотали же мы! Ноги, говорит, внутрь завернет, ровно барсук,

брюхом переваливает, думает — никто и не слышит, как он в залу-то. Сущая комедь! Прямо, говорит, театру не надо.

— Ну-ну!

Пасхальное дитя

Родился он как раз в пасхальную ночь. И в пасхальную ночь умер.

Оттого и звала его мать пасхальным дитятком.

А жизни его было ровно шесть лет.

Если расспросить о нем у посторонних, так, пожалуй, можно было бы услышать, что вот был у Федотовых сынок уродец, да его, к счастью, скоро Бог прибрал.

А если бы удалось вам послушать, что говорит сама Авдотья Павловна, то узнали бы вы, что был у нее сынок — чудо Господне, радость и благодать, во всю жизнь незабвенная. И что, если спросит ее на том свете строгий судия: «Как ты, раба Божия Авдотья, прожила жизнь?» — ответит она поклоном и благодарностью. Много было обиды, и горя, и труда сверх сил, и боли, и слез, но все покрыло чудо Господне, пасхальное дитятко, младенец Алексей, умом своим, красотою и ласкою.

Вот так — ничего мы друг о друге не знаем. Кто из нас зерно благословенное, а кто сорная трава.

Было у Федотовых уже трое детей. Все рыжие, крепкие, сытые, здоровые и веселые.

Дочь Варюшка училась у модистки и уже щурила золотые ресницы и подвинчивала шпильками над ушами волосы. Лупила ее за все эти штучки Авдотья Павловна — да та в ответ только хохотала. Шел ей всего пятнадцатый год.

Потом сын Андрюша. Способный малый. Будет, как отец, слесарем.

Младший Ванька в школу бегал.

Казалось бы, и довольно троих-то. Но вот так вышло, что пришлось ждать четвертого.

И вот, под самый конец этого ожидания — оставалось всего недельки две, в страстную субботу отправилась она

с Варюшкой в церковь. Несла Варюшка в салфетке кулич и пасочку. И у самой церкви, у боковой улочки, — как это случилось, так и потом разобрать не могли, — налетел на них автомобиль. Девочка проскочила, а Авдотью Павловну подмяло.

Вытащили ее без сознания, отвезли в больницу, и там родила она четвертого своего ребенка — сына Алексея.

От автомобиля она особенно сильно не пострадала. Все оказалось цело и на своем месте. Нашли врачи только сильное нервное потрясение, да сын Алексей увидел свет раньше, чем ему было положено.

Ребенок был спокойный, пухленький, белый, голубоглазый.

Удивляло Авдотью, что, распеленатый, не сгибал он коленки, как все грудные дети, а лежал, весь вытянувшись.

— Ровно солдат, — говорила она.

Но все-таки было очень странно, что он как будто не шевелил ни руками, ни ногами.

Снесла его к доктору.

Доктор осмотрел ребенка, постукал, как ихнему брату полагается, молоточком, потом вытянул из своего лацкана булавочку и поколол мальчику ножки и ручки. Легко поколол — тот даже не почувствовал. А врач покачал головой и говорит:

— Он у вас паралитик. Вряд ли что можно сделать. Ну, да вы не горюйте, такие дети редко до семи лет доживают.

«Не горюйте», — сказал.

А тот, маленький, смотрел на нее, а глаза у него синие-синие и все понимают. Волосики шелковые, личико беленькое, милое. Вот тебе и «не горюйте!».

Началась ее жизнь с младенцем Алексеем.

Доктора ведь тоже не святые. Не все им знать дано.

Мальчик белый, толстенький, улыбается. Подрастет немножко — надо будет пробовать ставить его на ножки.

Целые дни она с ним одна. Муж на работе, дети — кто работает, кто учится.

А этот лежит тихо, только глазами водит — смотрит, где мать.

Работы было много. Дела шли неважно. Муж покучивал с приятелями, частенько и домой не приходил. Старший

Андрюша стал грубияном. Прежде Авдотья Павловна ходила стирать или помогать по хозяйству. Теперь уходить из дому было нельзя. Брала кое-какую работу, шитье. Трудно приходилось.

Иногда, потеряв терпение, покрикивала на маленького. Тот обижался, закрывал глаза и переставал есть. Сует она ему в рот ложку с кашей, а он ее назад выдувает.

— Злющий ты! — кричит она. — Связал меня по рукам и ногам, да еще измываешься! Развалился и вертись тут вокруг него, пока жилы не лопнут. Все вы такие!

Кричит, а у самой сердце исходит кровью от жалости, от горя за него, от любви. И чем больше кричит, тем острее любовь и жалость.

Поуспокоится, подойдет.

— Ну, чего сердишься? Ты прости. Ты ведь не какой-нибудь, ты понимаешь, что не от радости я кричу, а что сил нету. Уж не мучай ты меня. Пожалей! Не серди-ись! Зернышко ты мое отборное! Перышко мое разноцветное! Глазок голубиный! Изумруд ты мой царский!

Соседи говорили:

— Славные у вас детки, здоровые, веселые, хорошо учатся.

— Да, — рассеянно соглашалась Авдотья Павловна. — Дети как дети. Ничего себе. А вот младшенький у меня, тот, конечно, особенный. Он сейчас еще слабенький, и говорить ему, конечно, трудно, и ходить доктора еще не советуют. Но такого ума и у взрослого не сыщешь. Все-то, все понимает, все чувствует. Уж такой друг, такой друг, что не понимаю, как я без него на свете жила. Милушка мой, пасхальное дитятко.

Того доктора, который первый сказал, что у ребенка паралич, она остро возненавидела и называла его дураком и шарлатаном. И в ту детскую больницу, где он принимал, никогда больше не ходила.

— Морских свинок резать — на это они мастера, — говорила она. — А к человеку у них подхода нету.

— Чего же вы обижаетесь, — говорили ей. — Ведь он же правду сказал.

— Правду, — повторяла она. — Да только правда разная бывает. Что Христа распяли — тоже правда. А нужна она нашему сердцу, эта правда?

Махнут рукой и отойдут. Одержимая какая-то.

Жизнь шла.

У слесаря Федотова вышли какие-то нелады на заводе, где он служил. Пришлось уйти, искать места, жить случайной работой.

Потом пошли новые дела — Варюшка спуталась с каким-то парикмахером. Слесарь ходил морду бить и жаловаться хозяину. Наладили свадьбу.

Младший сын, Ванька, сломал ногу. Лежал в больнице.

Хлопот, и горя, и слез, и забот навалило на плечи, — спину согнуло.

А маленький лежал тихо, поворачивал синие глазки, следил за матерью, все понимал. И в целом свете не было человека ближе его, роднее. Весь свой, единственный.

Из-за Варюшкиной свадьбы стали в дом люди ходить. Женихова родня.

Все это, конечно, в порядке дела, и везде так водится, и в другое время, конечно, Авдотья Павловна принимала бы всех и с почетом, и от души. Но теперь неприятно было, что все они за загородку заглядывали, — любопытно им на маленького посмотреть.

И потом начинались расспросы: почему не говорит, да почему не ходит, да надо бы ванны делать, да надо бы в больницу отдать. И от этих расспросов ей самой становилось ясно, что время идет, а он не говорит и не ходит, и будто бы и надеяться уж не на что. А без этих расспросов и разговоров в тихой своей жизни словно закрывалась от нее злая правда.

— Не говорит — и не надо. И так все понятно, что ему нужно, и он все понимает, что ему скажешь. Не ходит? Зато и не уйдет никуда. Всю жизнь вместе будем. Вон те, старшие, ходили, так все и ушли.

И старалась гостей выпроваживать, либо натягивала маленькому на лицо простынку и говорила: «Спит». А тот, будто понимал, лежал, чуть дышал. И он тоже не любил чужих. Хмурился, глаза закрывал — не мог ведь, бедненький, убежать от них. А потом, ночью, спал плохо и плакал.

Носила она его по разным докторам. И все кололи булавочкой и утешали, что недолговечен.

Носила и на электризацию. Ему уже шестой год шел. Тяжелый был. Ведь он не такой, как здоровые дети, он не мог

руками ухватиться, он весь валился, всей тяжестью. И каждый раз, как трогали доктора ее дитятко пасхальное, трясло ее всю и в глазах темнело. Измучилась вконец, а пользы для маленького не получила никакой. Только что пугаться начал, да плакал по ночам.

Так и бросила все.

Справили Варюшкину свадьбу. Ванька поправился. Слесарь место получил. И все это прошло для нее как-то стороною. Были эти события не в главной жизни. Одно только очень хорошо вышло — сказала она маленькому:

— Папаня-то наш место нашел!

И вдруг маленький засмеялся.

— Да неужто ты и это понимаешь? — ахнула она.

А может, он просто ее радостному лицу ответил?..

Она долго всем рассказывала:

— Уж как Лешенька был рад, прямо описать не могу. Видно, очень за отца беспокоился.

Умер он совсем неожиданно. Неожиданно для нее.

Был весь день, как всегда, к вечеру разгорелся, застонал, затомился.

Она думала, что это простуда, укрывала его, поила теплым, только глотать он не хотел. Ночью схватили его судороги, и дико было ей видеть, как корчится это всегда недвижное тельце. Потом сразу затих.

— Кончился! — повторяла она, но умом этого слова не постигала.

А на столе стоял куличик, который спекла для него и украсила бумажным цветочком, чтобы удивились его синие глазки.

И ничего от него не осталось, ни башмачков, как от других детей, ни платьишка, ни игрушек. Три рваненьких рубашонки да четыре пеленки. Ложечка еще — которой свою кашу ел.

Ушел.

Потом пошла долгая жизнь, пустая и трудная. Не освещенная и не освященная.

Много людей смотрело на нее, и глаза их ничего не говорили и ничего не понимали. И слова и дела — все шло мимо.

Бессмысленно уставало и болело тело. Болела и засыпала душа.

И когда удавалось ей поговорить с кем-нибудь о своем маленьком, не умела она рассказать о чуде любви, дающей силу и разум самой простой и грубой жизни. И, чтобы хоть как-нибудь поняли ее, плела она длинные небылицы о пасхальном дитятке, о его необычайном уме, о заботе его и помощи.

— И не знаю, как бы я свою жизнь осилила, если бы его не было!

Чудовище

В эту комнату солнце попадало только вечером, на закате. Освещало прощальным лучом своим угол с приколотыми на стене открытками (виды Москвы и Пскова) и край дивана с тремя подушками в пестрых чехлах, сшитых из криво подогнанных обрезков, вероятно, из старых кофточек.

На столе перед диваном рабочая корзинка, из которой выпирали ножницы, тряпки, клубки и рваный чулок. Тут же колода карт, кухонный чайник.

И сама Валентина Сергеевна, усталая, желтая, закутанная в старый серый платок, совсем не выделялась из этих тряпок, клубков и обрезков, такая была блеклая и бурая.

— Вы больны? — спросил Шпарагов, которому она открыла дверь. — У вас больной вид.

Валентина Сергеевна провела ладонями по щекам. Кожа чуть-чуть порозовела, блеснули глаза. Словно какой-то еле уловимый намек на то, что она молода и красива, пробежал по ее лицу и снова погас.

— Нет, — сказала она. — Я здорова. Только вот три ночи не сплю.

— А что? Бессонница? — спросил гость и потянулся за пепельницей.

Он был тоже не цветистый. Он был зеленый, того специфического оттенка, которым всегда отличались русские интеллигенты, мало заботившиеся о бренном своем теле. Лицо у него было доброе, озабоченное и усталое.

— Бессонница? — спросил он.

— Не-ет, — протянула она. — Я бы очень даже поспала. Старуха моя совсем расхворалась. Воспаление легких. В ее возрасте. Прямо беда.

— Ну, знаете, пора и честь знать. Сколько ей?

— Около восьмидесяти.

— Ну, так чего же вы хотите? Последний год она вам, конечно, была не в помощь, а в тягость.

— Ну, что поделаешь. Работала, пока могла. Она еще мою маму вынянчила. Не могу же я ее бросить.

— Сделала, значит, свое дело, выполнила свое назначение на земле и спокойно может уйти. Вы приглашали доктора?

— Да. Доктор видел ее два раза. Воспаление легких. Очень плоха.

— Право, уж лучше не тянула бы так долго.

Валентина Сергеевна вспыхнула.

— Да что вы, в самом деле? Что ж я, по-вашему, придушить ее должна, что ли? Прямо возмутительно, что вы говорите!

— Нет, не придушить, а просто вести себя благоразумнее, не дежурить ночи напролет, быть спокойнее, не переутомляться. Пойдем в синема? А? Развлечетесь немножко.

— Не могу же я ее оставить одну. Старушка умирает, а я побегу в синема? За кого вы меня считаете?

— Да ведь все равно вы ей сейчас не нужны. Ну, что вы можете сделать? Ровно ничего. Так лучше же пойти немножко развлечься.

— А вам не приходит в голову, что я сама, сама не могу развлекаться, когда близкий мне человек болен? Понимаете вы это?

— Нет, и не хочу понимать. Ко всему надо относиться разумно. Близкий человек болен — очень жаль. Но ему от меня сейчас ничего не надо, а мне полезно развлечься, поэтому мне и следует пойти и развлечься. Постойте, постойте, не злитесь. Если бы непременно нужно было бы для ее пользы быть безотлучно при ней — тогда еще это было бы допустимо. Заметьте — только допустимо, но не обязательно. Потому что вы сами должны признать, что старой вашей няньке лучше всего не упускать случая прекратить свое земное существование, безрадостное для нее и очень

обременительное для вас. Ну, не злитесь, не злитесь! Вы даже побледнели со злости.

— Простите, но мне прямо противно вас слушать.

— Это потому, что вы не желаете отнестись к вопросу разумно.

— Да как же вы не понимаете великолепным вашим разумом, что я свою старую нянюшку люблю. Понимаете вы — люблю! Что отдам все синема и прочие радости за то, чтобы продлить хоть на час ее маленькую, беспомощную жизнь.

Шпарагов чуть-чуть усмехнулся.

— Во! Во! Во! Вот оно самое. «Люблю». Вот оно, это главное несчастье нашей человеческой жизни. «Люблю». Теперь все ближе и ближе подходит человечество к этому открытию. Прежде думали, что несчастье наше — злоба. Это до того неверно, прямо даже смешно, как это могла так долго просуществовать такая точка зрения. Теперь, когда враг номер первый, человеческая любовь, понята, найдена, научно выделена и изучена, теперь надо только отыскать противоядие и торжествовать. Наверное, американские миллиардеры положат капитал на премию. И ведь что замечательно — совершенно не надо менять жизнь. Все остается по-старому. Можно перевернуть и по-новому, если уж так человек любит все перевертывать. Но это, повторяю, совершенно безразлично и никакой роли не играет, раз будет устранен враг номер первый, то есть любовь к человеку. Как все мы будем счастливы, спокойны, довольны. Ну, что вы считаете самым ужасным несчастьем на земле? Вы — женщина и, конечно, скажете — война.

— Пожалуй, война, — уныло отвечала Валентина Сергеевна.

— Отлично. Надо войну уничтожить. Не так ли? Но, как видите, сколько об этом ни толкуют, уничтожить ее не удается. Много усилий, много труда на многие годы надо было бы положить на это дело. А вместе с тем, вопрос можно решить гораздо проще. Уничтожить одного врага — врага номер первый, человеческую любовь. Представьте себе, что никто никого не любит. На войне гибнут нелюбимые мужья, нелюбимые отцы, ненужные сыновья. Никому до них нет дела. И это даже хорошо, что они очищают место для нового поколения. Его тоже никто не любит, это новое поколение.

Но разумом постигают, что новое поколение вольет новые силы в общее дело и принесет пользу человечеству.

Вот, раз уж вылезло это новое слово «человечество», то и поговорим о нем. Есть такое выражение «любовь к человечеству». Это чистопробная брехня. Человечество любить нельзя.

— Подождите минутку, — прервала его Валентина Сергеевна. — Уже семь часов. Я должна переменить ей компресс.

Она встала, прошла на цыпочках в соседнюю комнату, и слышно было, как она тихо и ласково говорила:

— Ну, ничего, ничего, голубчик мой маленький, я тебя выхожу. Тихонько, тихонько, убери свои куриные лапы. Я сама тебя подниму, ты не утомляйся... Я сильная, я ух какая сильная... Милочка ты моя.

Шпарагов прислушивался, усмехался, крутил головой, вздыхал. Наконец, Валентина Сергеевна вернулась.

— Ну, вот. Ей как будто лучше. Слаба, все засыпает. Ужасно я за нее боюсь.

Шпарагов иронически улыбнулся.

— Разрешите продолжать?

Валентина Сергеевна пожала плечами.

— Если хотите.

— Ну-с, так вот. Любовь к человечеству, конечно, ерунда. Это не любовь! Это просто так. Занятие. Но раз это занятие принято называть любовью, то будем и мы оперировать этим словом. Многие думают, что любовь к человечеству — это то же самое, что любовь к человеку, только объект этого чувства помножен на бесконечность. А эманации любви хватит и на свое племя, и на соседние народы, и на африканских карликовых кретинов, и еще дальше — на марсиан, на лунных муравьев, на каких-нибудь червеобразных зародышей, населяющих Венеру. На все, на все века и пространства. Дело великолепное. Но у дела этого есть враг. Все тот же враг номер первый — любовь. Вы слушаете?

— Слушаю, — вздохнула Валентина Сергеевна.

— Да. Любовь. Любовь заставляет нас поддерживать жизнь совершенно ненужных и даже вредных для человечества экземпляров. Какого-нибудь чахоточного господина, который съедает порцию, могущую питать нужного, рабоче-

го человека. Кроме того, чахоточный может заразить своей болезнью. И он еще отнимает силы у тех, кто за ним ухаживает. Всю эту ненужную нагрузку несет человечество, и из-за чего? Из-за того, что этого господина любит какая-нибудь Марья Ивановна! Возмутительно? Любовь держит на земле ненужное. Она держит больных, стариков, дефективных детей, дегенератов, сумасшедших. Любовь к человеку вредит любви к человечеству и мешает всеобщему благу. За последнее время общество сильно шагнуло вперед на пути разумной любви, то есть любви к человечеству. Поднят вопрос, и не сегодня-завтра будет решен утвердительно, о том, что врач, заручившись согласием родственников своего пациента, имеет право этого пациента прикончить. Понимаете, куда это идет? Сначала будут устранять только безнадежных больных, потом мало-помалу доберутся вообще до лишних людей.

— Чудовище вы! — выкрикнула Валентина Сергеевна.

— Да! — с достоинством подтвердил Шпарагов. — И очень рад, и горжусь. Так вот, доберутся до лишних людей, это разумно. Это разумная любовь к человечеству. Любовь к человечеству! Какая это чудесная штука. Никогда не заплачет от нее душа, никогда не заболит сердце. Вот только нужно хорошенько обдумать, как истребить ужасный микроб — человеческую любовь. Прежде всего, конечно, отнять детей, вырвать их из семьи. Конец материнской любви, слепой и жертвенной, самой опасной для «человечества». Как быть дальше? Это надлежит обдумать. Какая свобода, какая чудесная, спокойная жизнь ждет человечество. Ничего не страшно.

— Страшно, — прошептала Валентина Сергеевна.

— Что страшно? — удивился Шпарагов.

— Страшно без любви. Все эти старые, и больные, и убогие, и беззащитные, не мы им нужны, а они нам. Слава Богу, что существуют они. Для нас, слава Богу. Мы бы погибли, если бы их не было.

Шпарагов пожал плечами.

— Чудачка вы.

Прислушался.

— Кажется, ваша старушонка пищит?

Валентина Сергеевна быстро вышла.

— Подожди, голубушка, — говорила она старухе. — Мне одной не сладить. Вот вечером обещала соседняя баба зайти, поможет банки поставить. Ну, что поделаешь! Я одна не справлюсь.

— Валентина Сергеевна, — крикнул Шпарагов. — Я вам помогу. Я ведь умею. Можно?

Не дожидаясь ответа, он вошел в конурку, где на узенькой койке лежала старуха.

Он посмотрел, покачал головой.

— Знаете что, Валентина Сергеевна, перенесем-ка мы ее лучше в ту комнату. Там диванчик пошире и воздуху больше. Нельзя же так больного человека. Да я один смогу, она не тяжелая.

— Вы еще ее придушите, — пробормотала Валентина Сергеевна.

— Перестаньте вздор молоть, — сердито оборвал ее Шпарагов. — Приготовьте лучше банки. Сейчас, бабуся, я тебя перенесу. Да не бойся ты, глупая! Я тут за одним старым дураком два месяца ухаживал. И поднимал, и таскал. Ноги у него отнялись. Одинокий, денег ни гроша — куда его девать. Сосед по комнате. Валентина Сергеевна, ну, чего же вы стоите? Стоит и смотрит. Банки готовы? Ну, так заверните ее ноги одеялом. Ну, бабуся, держись, поднимаю. Ого, да ты еще крепкая. Ничего, Бог даст, еще нас всех переживешь!

Знамение времени

За последнее время мне случалось несколько раз касаться темы о животных. И, надо сказать, ни один из моих рассказов, за редкими исключениями, не вызывал такого горячего отклика читателей, как именно рассказы о животных.

Это знамение времени.

Природа и звери. Вот что волнует и трогает душу современного человека.

Я помню, как читалась вышедшая года три тому назад книга Лесника, совсем незамысловатая, о лесном шуме, о деревьях, зверях, рыбах и птицах.

Люди, никогда не живавшие в деревне, с трогательным интересом читали и рассказывали друг другу о том, как ловится лососина, как белка собирает на зиму запас орехов, как спит медведь и как птицы вьют гнезда.

Книга Пришвина про корень женьшень с описанием тайги и быта оленей бралась в библиотеке нарасхват, и нужно было ждать очереди, чтобы получить ее.

Лекции профессора Давыдова о зверях, птицах и природе собирают всегда переполненный зал. В этом случае, конечно, большую долю интереса нужно отнести к необычайному лекторскому таланту профессора, но и сама тема привлекает слушателей.

Чем это объяснить? Почему такое внимание, почему такая любовь к зверям?

И ведь не только к литературе о них, к художественному их изображению. Любят его, настоящего, живого зверя.

Никогда не было на свете столько собак, столько кошек. И это не только вопрос моды (сейчас у каждой элегантной женщины, как аксессуар туалета, должна быть собака). Не только вопрос моды, но и настоящая потребность видеть в своем доме милого зверя.

И когда встречаются, захлебываясь, рассказывают друг другу — каждый о своем: о своей собаке, о своей кошке. Не слушают друг друга, перебивают — так много нужно рассказать одному про его бульдога, другому — про попугая, третьему про своего кота, совсем обыкновенного, но вместе с тем замечательного. Бульдог отличается огромным ростом и басовитым лаем, попугай позволяет почесать себе голову и даже сам подставляет — «ну прямо как человек», а обыкновенный кот задумчиво смотрит на муху, замечательно жмурится и, что особенно удивительно, неизвестно, что он при этом думает.

Владелец бульдога вырезывает из всех журналов все попадающие на страницы бульдожьи морды, одни — потому что похожи на его Жимку, другие — потому что их никак и сравнить нельзя.

Владелец кота носит в бумажнике фотографию, очень хорошо схватившую черты любимого лица, кошачьей морды.

Попугай так чисто выговаривает «дурак, пьяная рожа», что не его учить, а у него следовало бы многим поучиться дикции.

Словом, есть что порассказать.

Но самое главное не это. Не то, что попугай дивно выговаривает, что бульдог самый мордастый в мире, что кот жмурится как никто. Главное то, что человек, возвращаясь домой, знает, что кот ждет его, уткнув нос в дверь так плотно, что каждый раз еле успевает отскочить, чтобы не получить по лбу. И знает, что пес шевелит ушами каждый раз, как загудит лифт, и вздыхает, когда лифт поднимается выше. И знает, что попугай уже давно сердито стучит клювом по прутьям клетки, и стонет, и ждет, когда заскребет ключ в замке входной двери, чтобы бодро и радостно крикнуть от всей души все, что Бог послал на душу и что человек дал разуму: «Дуррак! Пьяная ррожа!».

Так искренне и чисто радоваться встрече со «своим» человеком может только зверь.

Ему все равно, что собой представляет этот вернувшийся, вошедший в дом хозяин. Проваливший роль актер, освистанный певец, избитый шулер, уличенный мошенник, не понятый толпою гений, старый петух с выщипанным хвостом — все равно, для зверя он одинаково любим и дорог.

Перед зверем притворяться не надо. Да его и нельзя обмануть.

Вы можете войти в дом очень бодро и весело, сказать жене и другу, что унывать нечего, что, в сущности, дела обстоят не так плохо и, наверное, очень скоро наладятся. И жена улыбнется и успокоится, а друг скажет этой самой жене:

— Я же говорил вам, что не из-за чего тревожиться.

И успокоится тоже, если только беспокоился. Но вернее, что и не беспокоился. Друзья беспокоятся редко. Чувство дружбы выявляется иначе. Оно выявляется любопытством к вашим интимным делам и стремлением сняться с вами на одной фотографии, если вы по рангу своему стоите выше.

Одна старая писательница говорила как-то про одну известную петербургскую даму:

— Эта женщина для достижения своих целей не остановится ни перед какой низостью. Можете мне верить, я ее хорошо знаю — я ее лучший друг.

Так говорила эта старая писательница и никак не могла понять, почему я засмеялась.

Человек — дурак. Человек о человеке ничего не знает. Человек всегда человеком обманут.

Что знаем мы друг о друге, кроме вранья и притворства? Там, где зверь рычит, — человек сдержанно улыбается.

Там, где зверь воет, — человек спокойно говорит о посторонних делах.

И человек человека всегда отлично обманет, но никогда не обманет зверя.

Помню, был такой случай: вечер в провинциальном доме. Вечер не в смысле развлечения, а просто в смысле предночного времени. Собрались серьезные тихие люди, говорили о политике, о разных текущих делах, без споров и разногласий, спокойно и мирно. Это было еще до войны, когда вообще люди могли говорить, не волнуясь.

Но один среди нас как-то выбивался из общего темпа. Он был в каком-то приподнятом настроении, которое все мы приняли за веселое. Он рассказывал анекдоты, всех перебивал, шутил. Мы его таким никогда не видели и немножко удивлялись, что он вдруг так развернулся.

— Никогда человека до конца не узнаешь. Всегда был таким угрюмым, а теперь как разошелся! Влюбился, что ли?

У хозяев была собака. Самый обыкновенный пес, рыжий сеттер. И вот этот рыжий сеттер лежал тут же, в углу, и, не спуская глаз, следил за веселым господином. Потом подошел, положил обе лапы ему на колени и, закинув голову, тихо завыл.

Собаку отогнали, но на веселого человека ее поведение произвело, по-видимому, очень беспокойное впечатление. Он начал нервно смеяться, что-то говорил непонятное и, когда все решили, что пора расходиться, стал умолять посидеть еще немножко, что было очень странно, так как сами хозяева гостей уже не удерживали. На улице он убеждал всех пойти погулять, пройтись к речке, хотя было темно и стал накрапывать дождь. Он всех проводил домой и, прощаясь с последним, долго удерживал его на крыльце.

И никто из нас не понял его настроения. Для нас он был развеселившимся нытиком. Его настроение понял только чужой зверь, чужая собака. Зверь почувствовал и завыл. А мы узнали только на другое утро, что веселый господин, вернувшись домой, пустил себе пулю в лоб.

А ведь как он за нас цеплялся! Как старался дать нам то, что люди больше всего ценят в ближнем, — смех, забаву! Думал, что даст нам веселье и этим удержит около себя, и не останется один, лицом к лицу с тем черным, что уже дожидалось его.

Зверь все понял. А мы понять не могли. И человек в трагическую минуту своей жизни, окруженный хорошо расположенными к нему людьми, был одинок.

И если бы был около него в этот вечер исключительно близкий ему человек — он бы тоже не понял его. Потому что люди объясняют свое душевное состояние словами, то есть только приблизительно. А зверь чувствует то, что находится за этими словами, самую эмоциональную сущность. И в ответ на слова человек ответит:

— Вы нервничаете? Да и немудрено: мы все теперь стали такими неврастениками. Постарайтесь взять себя в руки и встряхнуться.

А зверь в ответ на то, что находится за словами, положит человеку на колени обе лапы и тихо завоет.

«Одиночество! Одиночество!» — вечный вопль человека.

Куда уйти от него?

В идейную работу? В семейную жизнь? В любовь?

Но идейная работа доступна человеку, только полному сил и веры в идею. А именно тогда, когда он завопит об одиночестве, — у него сил уже не будет.

Семья? Семья бывает у человека только в те годы его жизни, когда она ему, пожалуй, меньше всего нужна. К заключительным годам его жизни семья рассыпается. Нежно любимая дочь («сможет ли что-нибудь разорвать эти узы!») говорит своему мужу:

— Скоро Новый год. Надо не забыть папу поздравить.

— Напиши, а я припишу.

— Ах, я совсем не знаю, что ему писать! Лучше ты напиши, а я припишу.

— Неловко, ведь ты дочь. Ты должна написать.

— Пустяки. Он знает, что я терпеть не могу писать. Ты напиши, что я занята и потом напишу побольше. А я только припишу.

И отец получит приписку дочери и, чтобы не было очень больно, сумеет объяснить своему глупому сердцу, что милой девочке некогда, а то бы она наваляла четыре страницы. Главное, что не забыла, вспомнила, написала.

Спаянной навеки остается только большей частью несчастная семья — горбатая дочь, чахоточный сын — все те, которым пути ухода остались закрыты.

А человек из счастливой семьи остается один.

— Все, слава Богу, хорошо устроились. Сын пишет из Америки, дочь не пишет из Конго. А вот завел песика Бумку. Замечательный! Возвращаешься домой — а он уже встречает. И знаете, я еще внизу, еще и до лифта не дошел, а он уже чувствует. Носится по квартире как угорелый — то к окну, то к двери, до того рад, что себя не помнит. И вот уж без лести предан. На прошлой неделе уехал я на четыре дня в Фонтенбло и поручил консьержке Бумку кормить. Так ведь каков негодяй — в рот ничего не взял. Рычал на бедную бабу и зубы скалил. Уехал бы я надолго, он с голоду бы сдох. Ну прямо дурак! Изволь, значит, с ним всю жизнь сидеть. И что он во мне такого нашел! Кормлю его неважно, ругаю иногда, случится, и ногой пихну. Чудеса!

Чудеса?

Но я расскажу вам о чудесах еще более диковинных, о чудесах, спасающих от одиночества.

Чудеса!

Над головой сухо шелестят верхушки сосен. А налетит ветерок, закачает их, и закипят они, словно брызнули водой на раскаленные плиты.

Качаются, качаются, высо-о-окие.

А под ними привязан к двум стволам гамак. А в гамаке Илька. Вытянула руки и смотрит, какие они тонкие, голубые, бессильные. Ничего не схватят, ничего не удержат.

На коленях у Ильки книга «Мать и дитя». Жука. С иллюстрациями. Зародыши, утробные младенцы, животы вразрез. Страшно.

А надо читать. Надо подготовить себя к этому неизбежному ужасу. Через пять месяцев. И ничто не предотвратит и не остановит.

Отчего все на свете так невесело и страшно?

Или это только у них такой проклятый дом?

Ведь это должно быть радостно, когда ждут ребеночка? Подумать только! Ничего нет, пустое место, и вдруг является новый человечек — беленький, тепленький, свой собственный, совсем свой. И фамилия у него такая же, как у нас. Ну, разве это не забавно? Не мило? Почему же у нас все так мрачно. — «Ты должна готовиться к обязанностям матери!»

Какое холодное слово «обязанности». Я своего ребеночка накормлю не потому, что обязана, а потому, что это мне радостно.

А вот им, если что радостно, так значит ненужно. Им это неприятно.

Покропить бы их святой водой, отчитать молитвами. Они бы грохнулись об пол, изо рта пошел бы черный дым. Их покрыли бы рогожкой на всю ночь. А утром, как колокола зазвонят, они вскочили бы, поклонились солнцу и заплясали бы. Старик трепака, а муж мазурку.

— Нет, старика не стоит отчитывать. Пусть такой и остается. Не хочу его полюбить.

Вчера пригнал лесник парня во двор. Поймал его на порубке. Старик велел отобрать от парня топор и пусть в самую страду придет отработать. А не то — в суд.

Парень стоял злой и красный и ничего не смел. Он был почему-то без пояса, в распущенной рубахе. Может, они и пояс у него отобрали.

Илька спряталась за крыльцо, чтобы парень ее не видел. Очень ей было стыдно.

А потом муж строго сказал ей, что этого требует правильное ведение хозяйства, и что отец его знает, что делает.

— Станя, — ответила она, — отчего же вы не хотите вести хозяйство неправильно?

Узлы гамака врезываются в слабое тело. Больно.

Лучше бы пойти домой и просто лечь в постель. Но очень уж надоели комнаты. В одной сидит отец Стани, шлепает по столу картами. Скучный, злой. В другой комнате Станя. Лежит на оттоманке и курит. В руках толстый журнал, в котором Илька читает романы, а Станя только последний отдел — про какие-то земские единицы.

Чтобы попасть в спальню, нужно пройти через эти две комнаты со злыми картами и скучными единицами.

Нет, уж пусть лучше узлы впиваются в тело.

Около гамака будка. В ней живет Тормозка, цепной пес. В будке он сидит редко. Его цепочка надета кольцом на веревку, и он может бегать между двумя соснами. Около будки стоит Тормозкина еда — чугунок с супом, корками, обрезками. Но Тормозка почему-то не ест.

Горячо, что ли? Он сидит поодаль и только поглядывает на свой обед. Ему, верно, очень тяжело вот так, на цепи.

— Бедные мы с тобой. Скучно нам. Только плакать не надо — еще хуже будет.

На лужайке около дома пасется лошадь. Это простая лошадь, водовозка. И имени у нее нет. Зовут просто «Лошадка». Там, в конюшне, и Стрелка, и Челнок, и еще какие-то. А эта — просто Лошадка.

Лошадка медленно приближается к собачьей будке. Илька боится, что она подойдет к гамаку. Она ведь может лягнуть. Но лошадь вытянула шею и стала нюхать бурду в чугунке. Собака вскочила и громко залаяла. Тогда лошадь повернулась, брыкнула задними ногами в воздухе и бодрым галопом обогнула лужайку. Потом стала снова медленно подходить к Тормозкиной будке, вытянула шею и нагнулась над чугунком, будто пьет, а сама, скосив глаз, наблюдала за Тормозкой.

Тормозка вскочил, залаял, и снова лошадь брыкнула и понеслась галопом. И вот она уже опять медленно подбирается к чугунку. Тормозка насторожился, смотрит, ждет. Вот она нагнулась, скосила глаз. Тормозка вскочил, поднялся на задние лапы и принялся изображать бешено свирепого пса. Он от злобы прямо плясал на цепи, хрипел и задыхался,

но к лошади не подбегал. А лошадь притворялась, что пьет, и вдруг снова повернулась, брыкнула и ускакала. Тормозка сел, поднял уши и стал ждать. Морда у него была веселая и довольная.

И тут Илька поняла, что он нарочно выделывал из себя злющего пса, что он просто играл. Лошадь выдумала игру, и он это понял и разделывал свою роль. Игра, значит, была такая: лошадь-обжора потихоньку подбирается к чужому обеду и, несмотря на бешеные протесты владельца, преспокойно ест аппетитное кушанье. А Тормозка, свирепый пес, выходит из себя, защищая свое добро. И обоим весело, и оба понимают, что другой играет.

— Как это удивительно! — шептала Илька, ежась от удовольствия в своем гамаке. — Как это чудесно! Два зверя, такие чужие друг другу, непонятные, без общего языка, ничего друг о друге не знающие, и вот могут вместе понимать шутку, понимать друг друга в игре, веселиться и радоваться. До чего это чудесно! Господи, до чего это хорошо!

Она засмеялась и сейчас же заплакала. Все для нее теперь было слишком сильно. Даже вот такая маленькая звериная радость, которую она видела, — и ту уже трудно было спокойно вынести.

Лошадь больше не вернулась. Илька слышала голос кучера. Лошадь загнали в конюшню. Но Тормозка за еду не принимался. Все чего-то ждал. А ведь кормят-то его не очень много. Нужно, чтобы злой был, не жирел.

Илька вылезла из гамака, подхватила под мышку своего Жука и медленно пошла с горки вниз к забору. Там через щель видна была река и за речкой деревенские огороды, сарайчики, амбары. С берега все густо заросло травой и кустами.

И вот что-то зашевелилось, будто кто-то пробирается ползком вдоль речки. Что-то белое. Собака! Продирается меж кустами. Добралась до берега и живо, трусцой, через мостик. Белая, с желтыми подпалинами деревенская собачонка. Илька уже видала ее раза два во дворе. Оба раза ее гнали палкой, и она убегала, поджимая зад. Куда же это она крадется? Вот уже перебежала на эту сторону и сразу в кусты. Пробирается тихонько. Вот подбежала к забору, присела...

— Э, да это она опять к нам.

Илька повернулась и стала следить.

Вот она. Пролезла в щель и опять трусцой, вороватой, виноватой, бежит между сосенками туда, к гамаку.

Илька быстро поднялась на горку, посмотреть что будет. А посмотреть стоило.

Собачонка направилась прямо к Тормозке, повертелась около него. Тот ничего, сидит. Подошла к чугунку, деликатненько попробовала, потянула корочку сбоку, оглянулась на Тормозку. Тот сделал самую равнодушную морду, какую только мог придумать, и даже отвернулся. Тогда собачонка, решив, что уже достаточно показала свою благовоспитанность, уткнулась по уши в чугунок и пошла работать. А Тормозка все так же сидел в профиль. Изредка чуть-чуть косился и снова отворачивался.

Кто-то заорал около конюшни. Собачонка от страха присела и на скрюченных ногах, виляя задом, пробралась к кустам. Белая ее шкурка мелькнула около забора и пропала.

Тогда Тормозка насторожился, поднял ухо, гавкнул и деловито подошел к своему чугунку. Он быстро долакал остатки своей бурды и долго вылизывал посудину. Очевидно, охотно поел бы еще. Потом лег, вытянул лапы, как-то буднично опустил голову и вздохнул.

— Тормозка! Тормозка, — повторяла Илька.

Она уронила своего Жука на землю, потому что нужно было обе руки прижать к сердцу.

— Тормозка! Пес цепной! Цепная собака! Отдает свою черепушку паршивой деревенской собачонке. Голодный голодную кормит. Какой день сегодня удивительный. Сколько чудесного показал мне вдруг, сразу.

Она хотела подойти к Тормозке, приласкать его, но почувствовала, что этого мало, что надо скорее и прежде всего прославить Тормозку, рассказать о нем, удивить всех, восхитить.

Она быстро повернулась и, задыхаясь, побежала к дому.

У конюшни кто-то говорил:

— Запустить бы в нее поленом. Ишь повадилась: уж который раз жрать сюда бегает.

Илька пробежала, не останавливаясь, через столовую, где сердитый старик приподнял лысую голову и зашевелил бровями.

«Потом и ему расскажу! — думала Илька. — Должен же и он понять. Но сначала Стане, Стане».

Станя лежал и курил. На стуле у дивана — стакан холодного чая. На блюдечке окурки.

— Станя! Ты представить себе не можешь! Чудеса! Лошадь, знаешь, Лошадку? Лошадка играла с Тормозкой, по-настоящему, понимаешь? Подходила...

— Что ж ты не кликнула кучера, чтобы он ее загнал в конюшню? — раздраженно перебил Станя.

Илька немножко растерялась, но вспомнила о главном.

— Подожди! Не перебивай. Это еще не все.

И, путаясь, волнуясь, почти плача от восторга, начала рассказывать о деревенской собачонке.

— То есть как — пролезла через забор? — вдруг вскочил Станя. — Значит, этот болван так и не заделал, где я ему приказывал? Ему выданы были жерди — куда он их девал? Что он весь день делал? Деревенские собаки преспокойно лезут во двор. Позвать сюда Никифора! — вдруг заорал он и, отстранив Ильку, выбежал из комнаты.

Илька слышала сердитые голоса, хлопанье дверей.

Тошный запах размокших окурков закружил ей голову.

Она тихо пошла в свою комнату, легла на постель и закрыла глаза.

Встречи

Эти встречи случаются не часто. Но они не притягивают нашего внимания надолго. Тот, кто видел их, эти встречи, или услышал о них, большею частью улыбнется и пройдет мимо.

Пройдет мимо, но все-таки улыбнется. Потому что эманация от них всегда такая необычная, пронизанная каким-то нездешним светом, небывалая и потому чудеснее и прекраснее взаимно-человеческих душевных встреч. Я говорю о встрече человека с «малой» душой, с душой зверя.

Я имею в виду не истории о самоотверженной собачьей преданности или о чем-нибудь в этом роде. Это слишком

известно, и не это было бы удивительным. Я хочу рассказать о тех странных для нас минутах, когда именно душа наша вдруг протянется лучами через тысячи наслоений, наложенных человеческим разумом и человеческой глупостью, протянется прямо к темной «малой» звериной душе, пробьется любовью и найдет эту душу, как свою, понимающую и отвечающую.

И чудо это не в звере, потому что он же всегда, всей силой своего разумения готов на эту встречу. Чудо — в человеке.

Вот помню такую встречу.

Начало большевизма. Голый, ободранный, обмызганный Петербург.

Лязгая и звякая, тащится дребезжащий трамвай. На площадке — мы. Злобно прижатые друг к другу, стараемся выдвинуть локоть, чтобы соседу было больно, чтобы хоть немножко оттиснуть его, потому что дышать трудно: так сдавили нас со всех сторон. Злые, бледные лица, синие губы, прилипшие к вискам волосы, полузакрытые глаза.

Остановка. Никто не вылез. Напротив, кто-то уцепился за поручни, давит нас, вдавливается, еще и еще. И все хрипят и, злобно оскалив зубы, нажимают в ту сторону, откуда лезут.

— Не пускать!

Злоба соединила всех. Все вместе. Все давят, все ненавидят. Крик. Ага! Сорвался! И чего лезут?

И вот дернулся трамвай, заскрежетал. Двинулись.

Развалившийся забор, развороченная мостовая. С краю, у тротуара лежит издохшая кляча. Живот раздулся, и от этого вытянутая шея кажется еще худее и еще длиннее. Мутные глаза заведены, а у самой морды лежит на талом снегу пучок сена.

Картина обычная. Так всегда, сначала бьют упавшую лошадь, а когда видят, что она не может подняться, суют ей к морде пучок сена. Последняя надежда: вдруг хватит сенца да и встряхнется.

Да. Обычная картина. Но, может быть, у этой клячи шея была худее обычного, или мертвые глаза особенно страдальчески подернулись пленкой, только было в ней что-то незабываемо скорбное. Точно лошадь из сна Раскольнико-

ва. Такой формой облекается в кошмаре раздирающая душу жалость.

Обычная картина. Все только скользнули глазами. И вот высокий худой старик, с трудом выдравший затиснутую давкой руку, снял шапку, пригнул голову — ветер шевельнул его серые прядистые, немытые волосы — и медленно, истово перекрестился.

Стоящий рядом ноздрястый красноармеец распялил рот и подмигнул, готовясь отпустить шуточку, но вдруг притих и смутился. Никто не улыбнулся. Строгие, осуждающие глаза. У всех. Все поняли. Все «увидели встречу».

Об этой истории, может быть, уже слышали? Это было во время войны.

Немецкий летчик подстрелил французский аэроплан. Кружил над ним. Сейчас прикончит француза. Француз должен спрыгнуть с парашютом. Но он чего-то медлит. Странно. Каждая секунда дорога. Каждая секунда! Чего же он возится? И вот видит немецкий летчик, что француз взял парашют и прилаживает его к собаке. Собака была с ним на аэроплане. Приладил, спустил собачку и только тогда живо схватил второй парашют и спрыгнул.

А немец? Чего же он?

Немец сделал приветственный жест, отдал честь, повернул свой авион и скрылся.

Он не мог убить человека, который признал за зверем равное право на жизнь и уступил свою очередь.

Он не мог убить. Он «видел встречу».

Какое, должно быть, чудесное синее небо было в этот день! Какое светлое солнце!

Это был известный русский артист. Певец. Славный малый, добряк, кутила.

В Париже жилось ему туговато, мечтал об Америке, и, наконец, мечта осуществилась. Он получил ангажемент, подписал контракт, расплатился, уложился, попрощался и, значит, уехал.

Но вот прихожу я через несколько дней в знакомый дом и слышу, как будто из столовой доносится знакомый голос, голос этого самого певца, уехавшего в Америку.

— Как, разве он здесь?

— Здесь! — смеется хозяйка. — Не уехал.

— Отчего?

— Говорит, что не мог, потому что его попугай заболел. Совсем дурень. Прямо анекдот.

— Попугай? Ничего не понимаю.

— А вот расспросите. Он вам расскажет. Вот и делай после этого дела с русскими людьми.

Пошли в столовую. Действительно, сидит певец. Здоровается немножко смущенно.

— Правда, что вы из-за попугая не уехали? Ведь вы же нарушили контракт?

— Ну, что поделаешь? — смущенно отвечал певец. — Может быть, еще как-нибудь наладится.

— Как же все это произошло?

— Как произошло? Как произошло? — обиженно передразнил певец. — Заболела птица. И как раз в ночь перед отъездом. Язык у нее заболел. Стонала всю ночь, прямо как человек. Подойду, а она на меня смотрит, ну прямо в душу, ну прямо жалуется и помощи просит. Провозился с моим попкой всю ночь. Утром надо на пароход, а куда я его, больного, потащу? Да его, больного, и на пароход не пустят. У них это строго. Ну вот, я и остался. Теперь, слава Богу, поправляется. Выходил его. Ведь он у меня восемнадцать лет.

— Чудак! — сказала хозяйка. — Ну оставили бы его у кого-нибудь.

Он посмотрел с укоризной:

— Это больного-то? Как вам не стыдно!

— Ну потом бы вам его привезли, — уже не так уверенно сказала хозяйка.

Он посмотрел на нее очень серьезно и покачал головой.

— Нехорошо.

И все мы притихли. Нам что-то уже не было смешно.

А эта встреча двух душ произошла недавно.

Одна душа принадлежала человеку.

Другая — кошке.

Человек был русский инженер. Николай Иторов.

Кошка — белая, пушистая, глаза янтарные. Звали кошку Лапушка.

Она инженеру Иторову была совсем чужая и даже малознакомая. Она была хозяйская кошка, а Иторов был жилец и никакого отношения и даже интереса к ней не имел.

Если Лапушка залезала в его комнату, он громко говорил, повернув голову к двери:

— Уберите кошку!

Он даже не знал, что она Лапушка.

К тому времени, которое предшествовало «встрече», инженер Иторов захворал. Захворал настолько, что трудно стало ходить на службу, трудно есть, трудно спать, вообще — трудно жить. Пришлось обратиться за помощью к доктору.

Доктор велел инженеру не утомляться, усиленно питаться, развлекаться и вообще быть богатым, счастливым и здоровым. Но, кроме того, прописал лекарства.

Денег у инженера было очень мало, так что он попробовал сначала быть счастливым и здоровым без лекарств. Но дело не наладилось. Пришлось купить пилюли и капли. Купив пилюли и капли, пришлось сократиться в усиленном питании. А чтобы можно было снова заплатить доктору, пришлось сократить пилюли и капли. Хвост вытащишь — нос завязнет.

Однако все-таки, как он ни сердился, а наука восторжествовала, и он стал понемногу поправляться. Решил доктора не бросать и продолжать лечение.

Хозяйка его куда-то уехала. Порядок в доме наводила приходящая баба. Слышно было, как она била посуду и бранила кошку. Вероятно, чтобы жилец приписывал битье посуды не ей, приходящей бабе, а кошке. А жильцу, между прочим, было абсолютно безразлично, на чьей душе грех.

И вот раз вечером перед уходом зашла баба к жильцу и сказала:

— Надо лучше отнести кошку к ветеринару, пусть он ее усыпит.

Иторов ничего сначала не понял.

— Усыпить? У кошки бессонница? Что за брехня!

Но баба объяснила:

— Кошка больна. Все равно не выживет, чего даром мучится.

Иторов рассеянно сказал:

— Бедная кошка.

Слово «бедная» вызвало в его душе известный рефлекс, рефлекс легкой жалости. Он встал и пошел в кухню.

Там в углу на покрытом войлоком ящике лежала белая Лапушка.

Он нагнулся и погладил ее.

Она приподняла голову, посмотрела ему прямо в глаза и тихо пискнула.

— Ну что, зверь, — сказал Иторов. — Надо будет лечиться, а то, сам понимаешь, помирать во цвете лет не стоит.

Завернул Лапушку в платок, понес к ветеринару.

Лапушкины дела оказались совсем плохи. Но еще не безнадежны. Нужно купить какие-то ампулы и давать ей по две в день.

— Возись тут с тобой, паршивая кошка! — ворчал инженер. — Самому жрать нечего.

Ампулы оказались серьезные, по двадцать франков штука. Ветеринар оказался еще серьезнее, взял за визит тридцать франков.

Иторов вздыхал и ругал кошку:

— Не воображай, однако, что это будет продолжаться. Тратиться на чужую паршивую кошку. Да ну тебя к черту!

Ампулы, однако, покупал и перенес Лапушку в свою комнату, «чтобы не бегать ночью по холодному коридору».

Свое лечение и усиленное питание пока что отложил. На двоих не хватит. Но все-таки наступил вечер, когда Лапушка вползла к нему на колени, и смотрела ему в глаза, и жаловалась тихими стонами.

И как раз в этот вечер забежала к нему милая дама, веселая, принаряженная, и сказала, что ей дали два билета на Шаляпина, и звала его с собой.

— Не могу, — мрачно отрезал он. — Не могу, и кончено.

— Так уж много работы? — погасшим голосом спросила милая дама.

— Вот именно, — сухо ответил он.

И в эту минуту он ненавидел милую даму за то, что очень хотел быть с нею, за то, что он идиот, и вместо того, чтобы веселиться, должен нянчиться с издыхающей кошкой.

А Лапушка смотрела ему в глаза человеческими глазами и чего-то просила, и как будто мучилась, что не может объяснить.

— Ужасно все это глупо, милая моя, — сердито говорил Иторов. — С чего ты взяла, что я могу тебя спасти? Я сделал все, что мог. Я, наконец, сам болен и лежу без лекарств. Я не попрекаю тебя, но ведь ты всю душу из меня вымотала.

Лапушка слушала его, и вдруг вытянула лапу, и положила ее ему на грудь. Точно заклинала в чем-то.

— Голубчик ты мой, — сказал Иторов. — Ну за что ты так мучаешься? Какие грехи должен ты, темный зверь, искупить? Наш разум человеческий привык все оценивать, отмеривать, обменивать. Ничего неоплаченного не понимает. А ты, зверь, ты не требуешь от Бога ответа, ты покорный. Если бы я был человеком верующим, я бы помолился за тебя, а я и этого не умею. И почему ты, умирая, пришел ко мне, к чужому и злому? Что ты знал обо мне, кроме моей нелюбви и раздражения? Откуда ты, темный зверь, знал?

А темный зверь отвечал тихим стоном, отвечал глазами и больше всего отвечал лапой, положенной на сердце человека.

И когда темный зверь, в земном бытии белая кошка Лапушка, задернул глаза свои мутной пленкой и, вздрогнув, затих, неверующий человек, инженер Иторов нагнулся, поцеловал его в пушистый затылок и перекрестил истово и благоговейно, как человека, прижимая пальцы к белому лобику, к груди и к узким звериным плечам.

Отклики

И вот летят ко мне письма со всех сторон света! Все «о них», все о зверях!

Ни одна тема за всю мою литературную жизнь не находила такого горячего отклика у читателей. Как будто

каждому хочется сказать, крикнуть, что он тоже входит в эту цепь любви. И он рассказывает или забавную, или трогательную историю, или даже просто говорит о том, что у него был милый веселый песик, которого раздавил автомобиль.

У милого песика отмечают черту, редкую у собак. Он очень любил гостей. Он был гостеприимным, хлебосолом. Самой вкусной штукой на свете считал банан, но съедал только половину, а половину зарывал в гостиной под диванную подушку, и, когда приходили гости, вытаскивал свои запасы, и радостно клал гостю на колени свой обгрызанный, обмусленный кусок.

Из Швейцарии пишут о котенке, который после смерти своей хозяйки забился под комод и просидел так три недели. Он ни разу не дотронулся до еды, которую ему приносили, и вытащить его из-под комода не было никакой возможности. Он одичал, исхудал, стал взъерошенный, с горящими глазами, совсем страшный.

Но вот в квартиру въехала новая жилица, и котик решился. Вылез из-под комода, сошел вниз к хозяевам дома, сразу направился в комнату девочки, которая часто бывала у покойной, все осмотрел, обнюхал, прыгнул на постель, свернулся клубочком и заснул. Спал он ровно сутки. На другой день, встав, попросил есть. Поевши, осмотрел весь дом и сад, все одобрил и остался жить.

Он живет и теперь, и все кота уважают за то, что умеет глубоко чувствовать.

Кот, конечно, зазнался и верховодит всем домом.

И вот еще прибыл рассказ о коте. Собственно говоря, даже не рассказ, а краткий момент жизни, очевидно, навсегда запомнившийся в памяти рассказчицы.

Тяжелые, черные дни голода во время нашей революции.

Две одинокие женщины погибают. Есть абсолютно нечего.

Старый кот, видя, что дело плохо, ушел на промысел. Ничего не поделаешь — пришлось самому о себе заботиться.

И вот удалось как-то этим двум женщинам раздобыть немножко крупы и масла. Радостно и хлопотливо стали они варить себе суп на керосинке. Тихонько, чтоб не узнали, чтоб не отняли. Вдруг что-то стукнуло за окном. Обернулись — кот! Смотрит на них через стекло, и видят они, что из глаз его, больших круглых желтых глаз, текут слезы. Текут крупные слезы, стекают по морде, на котовые усы.

И обе так и взметнулись:

— Да неужели мы пожалеем супу для нашего усатого! Да как мог ты это подумать, дурак несчастный. Иди сюда! Поедим вместе. Может быть, последний раз, да зато вместе!

Интересное письмо пришло из Сирии. В нем между прочим рассказывают о верблюдах, о их странной для разумных людей, малопонятной привязанности к человеку.

«Вот зовет бедуин своего верблюда. Их штук десять, этих верблюдов, и находятся они от палатки километра за два, за три. В прозрачном, чистом воздухе пустыни призыв звучит отчетливо и ясно. И, услышав его, все верблюды настораживаются, поворачивают головы и ждут.

И вот хозяин, после призывного крика, произносит имя того верблюда, которого хочет призвать.

— Са-а-а-льфе! — тянет он.

И только один Сальфе отделяется от стада и шагает к палатке. Если он увидит, что хозяин не один, он никогда не подойдет близко. Он остановится и будет ждать, чтобы хозяин сам подошел. Таково правило верблюжьего обхождения.

Но почему верблюд идет на зов? Ему бы, наоборот, тут-то и удирать подальше. Ведь не за добрым делом зовет его хозяин. Раз верблюда зовут, значит, нагрузят на него тяжесть и погонят по песку, по жаре, без воды и корма в бесконечно далекий путь.

Бедуин своего верблюда даже не кормит. Да ему и нечем его кормить. Верблюд сам должен заботиться о своем пропитании. Ест какой-то сухой бурьян. Ничего, значит, от человека не берет и служит ему бескорыстно и самоотверженно.

Когда человек эксплуатирует человека, то он все-таки для приличия прикрывается какими-нибудь пышными идеями о служении человечеству, о жертве во имя культуры и высоких идеалов будущего.

Но ведь верблюду идеалов не втолкуешь. Так чего же он, дурень, старается? Почему с такой готовностью бежит на зов хозяина, на тяжелую муку?

Но мы так привыкли к звериному уважению, любви и верности, что даже и не задумываемся над этими вопросами».

Иногда — к сожалению, недостаточно редко — попадаются в газетной хронике сообщения, озаглавленные «Человек-зверь». В них рассказывается о том, как какой-нибудь семейный пожилой человек истязал своего ребенка.

Меня всегда удивлял этот заголовок. Когда же зверь истязает своего детеныша? Зверь всегда детеныша защищает. Терзать детеныша — уже чисто человеческая специальность. Если бы был обнародован такой необычный случай, чтобы, например, овца систематически колотила своего ягненка, то сообщение об этой гнусной истории следовало бы назвать «Овца-человек» — до такой степени ее поведение было бы человеческим.

Отношение зверя к человеку слишком известно, чтобы о нем много говорить.

Любовь, благоговение, страх. Но страх не как к злому, а как к могучему и не совсем понятному.

Гораздо интереснее проследить отношения между зверьми, их отношение друг к другу, как разнопородные звери понимают и чувствуют друг друга.

Вражда между кошками и собаками давно перестала быть неоспоримым фактом. Были примеры — и их очень много — самой искренней дружбы этих зверей.

В одной знакомой семье огромная собачища, страшенная бульдожиха, воспитала троих котят, которых легкомысленная их маменька, белая кошечка, знать не желала. Бульдожиха вылизывала котятам мордочки и хвостики, в

холодные дни осторожно переносила их в зубах поближе к печке, буквально тряслась над ними. Странно, смешно и трогательно было видеть эту отвислую звериную морду, с выпученными нижними зубами, морду, которой сама природа дала выражение свирепости, — как она заботливо «простирается» над крошечными, еле копошащимися живыми комочками пушистой шерсти.

Их собирались всей компанией отправить на кошачью выставку. Котята были породистые, а бульдожиха присутствовала бы в качестве воспитательницы. Уж очень интересная была бы группа.

У нас в предместье Парижа, в Ванв, тоже живет некто, достойный внимания. Это молодой пес Тукур.

Назвали его так потому, что иначе и назвать нельзя было.[1] Пес в детстве был совсем коротышка. То, что называется «Бог поберег, что вдоль, то поперек». Не пес, а куцая плюшевая муфта.

Попал он в дом, когда был совсем мал и глуп. А в доме уже жили и хозяйничали, кроме человечьих супругов, кот и кошка.

Кот отнесся к коротышке с мужской индифферентностью, а кошка, натура женственно нежная, пожалела сироту, облизала ему морду и уши, пригрела и, улучив минутку, когда сирота, зевая, открывал рот, живо облизывала ему небо и десны, как полагается делать всем сосункам во избежание молочницы.

Когда Тукур подрос и уже не нуждался в материнских заботах, у кошки появились семейные осложнения — три котенка. И тут Тукур показал, что он помнит кошачьи благодеяния, и стал присматривать за котятами. Он лез к ним в корзинку и заваливался рядом с ними. Они пищали, им было тесно, но Тукур на их протесты внимания не обращал. Он твердо решил исполнить свой долг до конца.

Мало того, подросши, он взял под свое покровительство и самого отца семейства — толстого кота Томми.

---

[1] От *фр.* «tout court» — совсем короткий.

Томми — кот воинственного характера. И, как у всех котов, у него есть свой постоянный враг. Враг Томми — большой серый кот. Воюют они приблизительно всегда одинаково — садятся друг против друга и ждут. Глаза горят, хвосты чуть-чуть, еле заметно, шевелятся. Каждый ждет, чтобы другой первый прыгнул. Выжидать считается почему-то выгодным. Впрочем, сколько помнится, эта же тактика практиковалась в древности. Кажется, Пирр, царь эпирский (а может быть, и не он, — не в имени дело) стоял так перед своим врагом, и ни он, ни враг не решались начать бой.

Вот эта самая эпирская тактика применяется и у Томми с серым котом.

Сидят-сидят, глядят-глядят. А позади серого кота неукоснительно усаживается Тукур и весь настораживается, ждет.

Вот — лопнуло терпение у серого кота. Он поднял лапу, нацелился — сейчас цапнет Томми по морде. И в ту же секунду Тукур хватает серого за хвост и тянет назад.

Ошалевший серый свирепо оборачивается, чтобы кинуться на Тукура, но в это время Томми хватает его за горло, и оба катятся клубком по земле. Затем снова затишье, и снова два Пирра эпирских глядят друг на друга, а Тукур следит за хвостом врага.

Никто Тукура не приглашал принять участие в битве, но он признает Томми за главу семейства, за хозяина дома, в который он был принят маленьким и беззащитным, и обласкан, и пригрет, и вот он считает своим долгом отстаивать шкуру близкого существа.

Это в нем говорит чувство долга.

Очень забавно проявляется у собак чувство стыда за какую-нибудь свою провинность. Не всякий человек способен так остро стыдиться своего проступка.

Наш большой пес Самсон учинил подлость. Ему очень понравилась курица, которую чужая баба несла с базара в своей кошелке. Курица ощипанная, белая, аппетитная.

Так просто ее из кошелки не цапнешь. Баба несет ее высоко.

Тогда пес надумал штуку. Побежал вперед, вскочил на камень и с самым невинным видом стал любоваться природой. Закинул голову, смотрит на облака.

Вот баба поравнялась с ним... Цап! В одно мгновение курица у него в зубах, и только собачий хвост мелькнул в воздухе. Удрал.

Позорная история сейчас же была нам рассказана. Самсона стыдили, бранили. Он забился в угол и мучился.

Но не в этом дело. Дело в том, что каждый раз, когда я начинала какому-нибудь гостю рассказывать эту историю, Самсон вылезал из своего угла, втягивал голову в плечи, опускал морду и выходил из комнаты.

И весь вид у него был такой, что, мол, «провалиться от стыда несчастной собаке только всего и остается».

И ведь каждый раз, в какой бы форме я ни передавала о его проступке, он всегда слышал, всегда понимал и всегда уходил такой сконфуженный, такой опозоренный, такой неутешно несчастный.

Многие не верили и приходили убедиться. Жалко стало пса. Хоть и забавно выходило, но пришлось «забыть».

Человек сумел бы оправдать себя в своих глазах.

— Наследственность! Среда заела! И другие не лучше!

А пес — у него совесть не гибкая, аргументация не находчивая. Он вину свою признавал и мучился, всей своей песьей душой. Целиком.

Валя

— Милая Валя, — сказала я, — вы только не подумайте, что я вмешиваюсь не в свое дело. Я давно хотела поговорить с вами серьезно.

— Вы? Серьезно? — мрачно спросила Валя. — Ну, значит, не жди добра. Насчет чего?

— Да насчет вашего образа жизни... Голубчик мой! Поймите, что это все совершенно ненормально! Нельзя, чтобы двадцатипятилетняя женщина вела такой меланхолический образ жизни.

— Что-о? — удивилась Валя. — Положительно, ничего не понимаю.

— Ну, конечно, дорогая. Зарылись в вашем banlieue[1], словно в лисьей норе, нигде не бываете, никого не видите. Все это кончится неврастенией. Вот увидите. Я уж от многих слышала. Завели себе котов, петухов. Бог знает что. Разве это жизнь для молодой интеллигентной женщины? Еще в прошлом году вы были человек как человек, обожали Эльвиру Попеско, декламировали Тютчева... «О, как на склоне наших лет...». Я все отлично помню. Подождите, не перебивайте меня!.. Я знаю, что вы завели себе кошку и... и, кажется, петуха, но это же не резон, чтобы перестать любить Тютчева. Я прекрасно понимаю, что часто бывать в театрах или в синема вам не по средствам, но, во всяком случае, желать развлечений вполне было бы для вас нормально. Женщина ваших лет должна развлекаться, а если не может, так должна стремиться, рваться к веселой жизни, должна страдать и вопить, что, вот, молодость проходит, а я сижу, как сыч на суку. Нормальная женщина ваших лет должна злиться и браниться, должна ворчать на мужа, что ему, мол, и горя мало, что она принуждена хоронить свою молодость, зарывать свою улыбку в треклятом banlieue. А ваш муж сам говорил, что вас даже в синема не вытащить...

— Кто говорил?

— Ваш муж... Сергей Николаевич.

— Мой муж? Сергей? Ну что за негодяй! Так если хотите знать правду — мы с ним на прошлой неделе были в синема. Так он все время на часы смотрел и охал. А на самом интересном месте главной картины, когда сыщик прыгает из лодки в аэроплан, а с аэроплана — на паровоз, — из-за этого и в синема пошли, — он вдруг вскочил и говорит: «Не могу эту дребедень смотреть, когда дома кот сидит, которому пора ужинать»... Ну, что вы на это скажете? Так и ушел. Ну, я, конечно, пошла уж тоже.

— А вы-то зачем?

— Да так. Конечно, все это вздор. Ну, одним словом, боялась, что он забудет нарезать мяса. Кот любит, чтобы помельче. Да и фильм, собственно говоря, дурацкий: чего его досматривать. И Тукур ждет и, хоть виду не покажет, но, наверное, воображает бог знает что...

---

[1] Banlieue — пригород, окраина (*фр.*).

— Кто?

— Тукур. Собака Тукур. Вы же его знаете?

— А что же он воображает?

— Ну, что-нибудь вроде того, что я ушла навсегда, или что я его забыла, или мало ли что. Воображает и мучается.

— А скажите, Валя, только честно, правда, что у вас есть петух, и что петух этот всем домом верховодит?

— Ну, это прямо возмутительно. Кто вам наболтал такой ерунды? Это все из-за того, что он нас очень рано будит. Но, посудите сами: если человек встает в пять часов, так имеет он право проголодаться в семь?

— Какой человек?

— Я хотела сказать, петух. Он встает ни свет ни заря, и вполне естественно, что в семь часов идет к нашей двери и орет благим матом, пока Сергей не встанет и не даст ему кукурузы.

— А ваш муж не сердится?

— Ужасно сердится. Ругает петуха на чем свет стоит. И меня заодно. Вот, кричит, подобралась парочка, от которой житья нет. «Парочка» — это я с петухом! Однако, когда петух обожрался кукурузы, так если бы вы видели, что Сергей разделывал, как кричал, чтобы я бежала за доктором, что я банальная натура, которая ценит только собачек да кошечек за их подхалимство, а когда петух, благороднейшее и полезнейшее животное, объелся, так я и ухом не веду. Ах, вы представить себе не можете, какой это был ужас! Петух весь выпучился, орет, Сергей орет, а в саду курица с ума сходит, разбежится и о стенку головой...

— Ну, и что ж, выздоровел?

— Выздоровел. Но и возни же было! Главное, ту дуру унять было трудно. Понимаете: петух у меня на коленях, Сергей льет ему в горло прованского масла, а курица размахнется крыльями и — гоп мне на колени, рядом с петухом. Влюблена в него, как только может самая последняя дура-баба. А ведь он по отношению к ней совершенная свинья. Другие, приличные петухи, если найдут червяка или зернышко, прежде всего зовут курицу. Этот — никогда! Он ее заставляет искать, а чуть нашла, он тут как тут, долбанет ее в голову да сам все и съест. Ужасный эгоист. Издевается над ней. Конечно, она дура. Но все-таки некра-

сиво так подчеркивать. Я сколько раз видела: ведет ее по дорожке, ко-ко, ко-ко, да вдруг и спрячется за курятник. Она, конечно, растеряется, замечется, затычется по кустам. А он выкатит из-за угла да ей же трепку. Как, мол, она смела не заметить, куда он пошел, и не последовала за ним...

И, знаете, он раньше был очень не ласковый. Так вот, соседка наша, Мавра Лукинишна, научила меня:

— Если, говорит, вы хотите, чтобы петух вас любил, вы обязательно должны ему на ухо пошептать.

— А что же пошептать, какие слова?

— Слов, говорит, никаких не надо, а просто подышите ему в ушко, он вас и полюбит... И что же бы вы думали? Взяла его вечером на руки, прижала к губам его головку и тихонько подышала. Смотрю — ему приятно, повернул гребешок, ждет, чтобы еще. Отнесла его в курятник. А на другой вечер прыгнул сам ко мне на колени и головку подставляет. Ну, я его опять отнесла в курятник и по дороге пошептала на ухо.

И вот повадился петух, чтобы непременно я сама его в курятник относила. Мне уж немножко и поднадоело. Гнала его прочь. Вот он как-то вечером прибегает ко мне, ко-ко, ко-ко-ко... — Что случилось?

Вид озабоченный, и бежит к курятнику. Я за ним. Смотрю — дверцу кто-то запер. Курица уже там, внутри, а петуху хода нет. — Что за чудеса?

Открыла дверцу. Впустила. На другой день то же самое. Удивилась. Решила проследить, кто такой курицу запирает, а петуху ходу нет, и он бежит жаловаться. Подсмотрела. Знаете, что этот подлец выделывал? Он ждал, чтобы курица вошла, потом сам толкал клювом дверцу и лупил ко мне притворяться. Как вам это нравится?

— Милая Валечка. Да вы в этой компании совсем одуреете.

— Ничего подобного. От людей гораздо скорее дуреют. И ничего в этом нет удивительного, что я, например, полюбила петуха. Вот, смотрите, наш сосед, пожилой, солиднейший француз, а между тем, совершенно ненормальный насчет своего кота. Я как-то работаю у себя в саду, вдруг, смотрю, бежит ко мне наш француз, в глазах неземное умиление:

— Мадам Тукур!

Это он меня зовет мадам Тукур, по нашей собаке. Вполне естественно, ему бы не запомнить русские имена, а мне даже приятно.

— Мадам Тукур! Пойдите, взгляните. Ну, можно ли при таких условиях спокойно работать?

Я знала, что он красит свой забор, и сразу подумала, что какие-нибудь хулиганы-мальчишки либо ведро с краской перевернули, либо сору в него насыпали. Бегу, смотрю: лежит поперек дорожки толстый кот, лежит на боку и одну лапу на ведро положил. Только и всего. А француз чуть не плачет от умиления. А ведь солиднейший человек, и никогда за всю жизнь сантима никому не дал. Между прочим, кот этот даже не его, а наш. Он только к французу присоседился, чтобы лишний раз пообедать. А тот, болван, умиляется:

— Ах, шер[1] Томми! Каждый день обо мне вспоминает.

А кот — нахал каких мало. И ужасный характер. Вечно ничем не доволен. Утром приходит, потягивается, зевает, всячески дает понять, что вот, мол, никогда не дадут ему выспаться, что погода скверная, что отношение к нему непочтительное, что, вообще, если он до сих пор не покончил с собой, так только потому, что смерть его слишком нас обрадует... Дадут ему есть — опять не угодили. Все не то, что он любит, и не так подано, и невежливо предложено; прямо ужас какие претензии. И главное, все так ясно выражает, что и не понять нельзя. Буквально всем недоволен. Погладить его — опять неладно. Отвернется со вздохом: «Вот, мол, уж, кажется, никого не трогаю, лежу тихо, так и тут покоя не дадут».

Весь день шляется неизвестно где. Вечером возвращается всегда не в духе, грязный, лохматый. Тукур такой милочка! — подскочит к нему с любезностями, оближет ему морду, бока, хвост, все так добродушно, любезно. А он в ответ басом:

— Мя-у-у!..

Раздраженно, злобно. «Отвяжитесь, мол, без вас тошно!»

Тот, бедненький, подожмет хвост, отойдет в сторону. Конечно, это обидно для его самолюбия. Но он не способен долго сердиться. Замечательная натура!

---

[1] Дорогой (от *фр.* cher).

Придет утром — всегда веселый, всегда довольный:

— Здравствуйте! Какой чудный день! Какое счастье, что вы проснулись! Дождь идет? И это хорошо. В дождик дома уютнее. И как я вас люблю! И я уверен, что это взаимно...

И глаза смеются, и хвост вертится, и уши дрыгают, и лапы пляшут, и язык старается лизнуть, и сердце так бьется, что дышать трудно, и вся Тукурова душа кричит Тукуровым телом, этими самыми ушами, лапами, хвостом:

— Как хорошо жить на свете!

И весь день для Тукура сплошная радость, хотя и сны снятся тоже расчудесные. Вот уж с ним не заскучаешь. И это все чувствуют. Мавра Лукинишна, как в дверь входит, первый вопрос:

— Тукур дома?

— Все это так, Валечка, — вздохнула я, — только как бы не развилась у вас неврастения...

— У меня? Неврастения? Чего ради? Это у вас, может быть, неврастения, оттого вы ко мне и придираетесь. Ведь у вас неврастения? Признавайтесь!

— Еще какая!

— Ага! Видите, это оттого, что вы все с людьми. А люди всегда говорят неприятные вещи, потому что у них тоже неврастения. Лучше приходите к нам. Ведь у нас Тукур от полноты бытия сам себя за хвост ловит и сам на свой хвост лает. Ну, какой человек на это способен? Придете к нам?

— Кажется, приду.

— А по саду ходит петух и хитрит, как идиот, чтобы ему в ухо пошептали. Ну, где это бывает? Где вы такое найдете? Придете к нам?

— Конечно, приду!..

Кошки

Я позвонила.

За дверью голос Оли — я его отлично узнала — отчетливо проговорил:

— Анна! Открой скорее. Я не могу встать. Николай держит меня за плечо и дует мне в нос.

«Николай? — подумала я. — Почему вдруг Николай? Ее мужа зовут Дмитрий, Митя. Положим, я не была здесь уже три года. За это время многое могло измениться. Был Митя, а теперь, значит, какой-то Николай...»

Горничная открыла дверь. И вдруг восторженный вопль:

— Милюсеньки мои маленькие! Дусики мои пусики!

— Однако, как она меня любит! — улыбнулась я.

Оля, пушистая, душистая, золотистая, такая же, как была три года тому назад, подбежала ко мне, рассеянно чмокнула меня в щеку и, повернувшись лицом в столовую, умиленно заговорила:

— Ну, посмотри! Ну, разве не прелесть!

В столовой на обеденном столе сидел толстый бурый кот и зевал.

— Это Николай, — представила мне Оля кота. — Но мы его чаще называем Яковом. Ты можешь его погладить, только не сверху головы, а по животу, и не делай, пожалуйста, резких движений — эти коты резких движений не любят.

У меня не было ни малейшего желания гладить толстого кота по животу, и я только сочувственно покачала головой.

— Франц! Франц! — позвала хозяйка.

Это она зовет лакея, чтобы он помог мне снять шубку.

— Не беспокойся, Олечка, я сама.

Она посмотрела на меня с недоумением.

— Как — сама? Он на твой голос не пойдет. Фра-анц! А вот и мы!

Из-за портьеры плавно вышел второй толстый бурый кот, потянулся и подрал когтями ковер.

— Франчик! — заворковала Оля. — Иди ко мне, моя птичка! Иди, моя звездочка! Иди, мой красавец неземной!

— Кссс... кссс! — позвала я. Исключительно из светской любезности, потому что мне было совершенно безразлично, подойдет к нам бурый кот или нет.

— Ах, что ты делаешь! — в ужасе воскликнула Оля. — Разве можно этих котов так звать! Это же не простые коты. Это сиамские. Это дикие звери. Они в Сиаме служат как стража. У королевского трона всегда стояли такие коты и стерегли короля. Они свирепые, сильные и абсолютно неподкупные.

Они едят исключительно одно сырое мясо. Оттого они такие и сильные. Они еще едят варенье, копченую рыбу, жареную телятину, сухари, сыр, печенье, вообще очень многое едят, оттого они такие и сильные. И они безумно храбрые. Такой кот один бросается на бешеного буйвола.

— Ну, это, вероятно, не так часто встречается, — холодно сказала я.

— Что не встречается?

— Да бешеные буйволы. Я, по крайней мере, за всю свою жизнь...

— Ну, так ведь мы же не в Сиаме, — тоже холодно сказала Оля. — Ах да, я забыла — где же твои чемоданы? И почему ты не снимаешь манто? Вообще, все как-то странно... Я так рада, так рада, что ты, наконец, согласилась у нас погостить. Сестра Мэри придет к завтраку. Она тоже безумно рада тебя видеть и требует, чтобы ты непременно, хоть один денек, погостила у нее тоже. Но — это, конечно, между нами — она завела себе двух собак и совершенно от них одурела. Ну, понимаешь ли, — совершенно и окончательно. Впрочем, ты сама увидишь. Но какая ты милочка, что приехала! Какая ты дуся!

Она сморщила носик и потерлась щекой о мою щеку. Совсем кошка.

— Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Вот здесь ты будешь спать, вот здесь отдыхать, здесь письменный стол, радио, граммофон, тут лежат коньки, если случайно понадобятся. Окна выходят в сад. Тишина. Только я должна тебя предупредить, чтобы ты не закрывала дверь, потому что Франц любит иногда ночью приходить на эту кровать. Так что ты не пугайся, если ночью он прыгнет на тебя. А вот и Мэри!

Мэри, высокая, гладко причесанная, в строгом тайере, честно посмотрела мне прямо в глаза и, как писалось в старинных романах, «крепко, по-мужски пожала мне руку».

— Искренно рада! — сказала она глубоким контральто. — Три года не видались. Постарела ты, голубушка, изрядно.

— Мэри! — с негодованием остановила ее Оля. — Ну что ты говоришь! Наоборот, — она такая дуся, она даже посвежела за эти годы.

Мэри сердито сдвинула брови.

— Прежде всего, — почему я Мэри? Почему, когда мы одни, ты зовешь меня «Марья», а как здесь посторонние, я немедленно превращаюсь в Мэри? И потом — почему не сказать правду близкому человеку? Зачем уверять, что она посвежела? Ведь за глаза ты про нее этого не скажешь? Она чудная, прелестная, я ее обожаю, но лгать ей в глаза не намерена, потому что слишком ее уважаю. Смотри, — вдруг переменила она тон обличительный на испуганный. — Смотри, — твой проклятый кот прыгнул на буфет, он разобьет чашечки!

— Никогда! — с гордостью сказала Оля — Эти коты необычайно ловкие. Они часто ходят по столу среди хрусталя и никогда ничего не заденут. Это ведь совершенно особая порода.

— А голубой сервиз? — сказала Мэри. — А китайская ваза? А лампа, чудная фарфоровая лампа? А хрустальный бокал для цветов?

— Ну, так что ж? — холодно отвечала Оля. — Они переколотили все хрупкое, теперь уж не страшно.

— Ага! — торжествовала Мэри. — Сама признаешь, что...

— Ну, однако, идем завтракать, — прервала ее Оля.

Толстые коты ходили между приборами, обнюхивали хлеб, тарелки.

— Милочки мои! — умилялась хозяйка. — Ну, разве не прелесть? Тютики мои чудесные!

А Мэри говорила мне вполголоса:

— Со мною она никогда так не нежничает, а ведь я ей родная сестра! А что бы она сказала, если бы я вот так влезла бы на стол, когда вы завтракаете, тыкалась бы носом в тарелки и возила бы хвостом по горчице?

— Ну, как ты можешь себя сравнивать?..

— Конечно, могу. И это сравнение, конечно, не в пользу твоего паршивого кота. Я человек, царь природы.

— Ну, перестань, пожалуйста!

Мэри сделала нетерпеливое движение, и вилка со звоном упала на пол. Коты вздрогнули, в одно мгновенье спрыгнули на пол и, подталкивая друг друга, бросились вон из комнаты.

— Ах, какая ты неосторожная! Разве можно их так пугать!

— А ведь ты всегда уверяешь, что они чрезвычайно храбрые и бросаются на буйволов.

Оля покраснела.

— Знаешь, милочка, — обратилась она ко мне и этим подчеркивая, что совершенно не интересуется замечанием Мэри. — Знаешь, эти коты — удивительные охотники. Их в Сиаме дрессируют на слонов, на тигров. Недавно к нам в окно залетела птичка. И вот в одно мгновение Франц подпрыгнул и поймал ее в воздухе. И потом, как дикарь, плясал со своей добычей. Он держал ее высоко в передних лапах и плясал, плясал. Потом живо подбросил ее, подхватил и мгновенно сожрал всю целиком, с клювом, с перьями.

— Низость, — отрубила Мэри. — Гнусные инстинкты. Собака никогда...

Жизнь вошла в свою колею.

Уехала Мэри, взяв с меня слово погостить у нее.

Оли часто не было дома. Я оставалась одна в большой тихой квартире. Одна с двумя котами.

Один из них — тот, который плясал танец победителей с мертвой птичкой в лапах, — не обращал на меня ни малейшего внимания и даже подчеркивал, что я для него не существую. Он нарочно ложился на пороге, когда видел, что я иду из комнаты, шагал через меня, если ему так было удобнее пробраться в угол дивана. Когда я писала, он садился прямо на бумагу, причем, для пущего презрения, спиной ко мне. Сдвинуть его, тяжелого и толстого, было трудно, и я писала письма вокруг его хвоста.

Иногда неслышным диким прыжком он отделялся от пола и взлетал под самый потолок на кафельную печку и там, подняв хвост дугой, вертелся, как тигр на скале.

Но главное его занятие, наиболее выражающее презрение ко мне, заключалось именно в том, чтобы не давать мне проходу. Здесь он даже шел на известный риск, потому что сплошь и рядом впотьмах я наступала ему на лапу, и он с визгом бежал на меня жаловаться хозяйке. Но системы сво-

ей он не бросал. Может быть, надеялся, что в конце концов удастся свалить меня на пол?

Второй кот, Николай, он же Яков, — вел себя иначе. Этот садился передо мной на стол и глазел на меня, как говорится, во все глаза. Глаза у него были огромные, бледно-голубые, с большими черными зрачками. Смотрели они неподвижно, не мигая, были почти белые, и оттого казалось, что смотрит кот в ужасе.

Так смотрел он на меня полчаса, час. И ничего ему не делалось. Спешить, очевидно, было некуда. Сидит и смотрит.

Как-то утром просыпаюсь от того, что кто-то дотронулся до моих колен.

Кот! Кот Николай.

Он медленно, мягко переставляя лапы, насторожившись, словно прислушиваясь, шел к моему лицу. Я прищурила глаза. Он вытянул морду, подул мне носом на брови, на ресницы, на рот. Щекотно, смешно. Я открыла глаза. Он отодвинулся, прилег и зажмурился. Спит. Я тоже зажмурилась, будто сплю, и исподтишка через ресницы наблюдаю. Кот спит. Однако вижу, один глазок чуть-чуть поблескивает щелкой. Подлец подсматривает! Какое нечестное животное! Собака никогда бы… Положим, я сама тоже зажмурилась и подсматриваю. Но ведь я человек, царь природы, я произвожу наблюдения над животным. Одним словом, мало ли что.

Кот поднялся, подул мне прямо в нос, вытянул лапу и, втянув поглубже когти, вдруг потрепал меня по подбородку. Потрепал снисходительно, свысока и очень оскорбительно, как какой-нибудь старый жуир понравившуюся ему горничную. Я открыла глаза.

— Сейчас же уходите отсюда вон, — громко приказала я. — Нахал!

Я произнесла эти слова совершенно спокойно, без всякой угрозы. Но эффект получился потрясающий. Кот выпучил глаза, вскинул лапы, мелькнул в воздухе вздернутый хвост, и все исчезло. Кот удрал.

Искали кота три дня, дали знать в полицию — кот исчез. Хозяйка была в отчаянии. Я помалкивала.

На четвертый день, выходя из дому, увидела я своего оскорбителя. Он сидел на заборе, отделяющем наш садик от соседнего. Сидел спиной ко мне.

— Ага, — сказала я насмешливо. — Так вот вы где!

Кот нервно обернулся, испуганно выкатил глаза, и тут произошло нечто позорное, нечто неслыханно позорное, не только для сиамца, красы королевской гвардии, но и вообще для каждого существа котячьей породы. Кот свалился! Потерял равновесие и свалился по ту сторону забора. Треск сучьев, скрип досок. Все стихло.

Кот свалился!

Так кончился наш роман.

Вечером я уехала.

Еще о них

Вероятно, многие читали чудесный рассказ Киплинга об индусском отшельнике, жившем в горной пещере. Внизу, в долине, была деревушка.

Отшельника навещали жители этой деревушки, навещали его также всякого рода звери, живущие в горах. Люди приносили ему еду. Звери приходили этой едой угощаться, но иногда и просто как соседи, без всякого специального интереса. Больше всего дружила с ним лань, в холодные ночи забегавшая погреться под его плащом. И друзья-звери спасли отшельника, предупредив его о землетрясении. Они пришли за ним ночью, заставили его спуститься, и он увидел, что все звери покинули свои логовища и уходят далеко за горы. Он понял, что долине грозит опасность, и успел предупредить и спасти всех жителей деревушки. Гора сдвинулась, сползла и похоронила под собою всю долину.

В этой истории никого не удивляет, что звери почувствовали опасность и вовремя ушли. Но кажется вымыслом, что они как бы сговорились между собой спасти отшельника. Мы допускаем и знаем, что зверь часто отлично понимает человека и подчиняется его воле, но нам трудно поверить, чтобы разнородные звери могли как-нибудь общаться между собой, понимать друг друга, действовать согласно. И в рассказе Киплинга кажется определенно фантастическим эта общая звериная забота о человеке.

Но вот я знаю одну очень забавную историю — вполне достоверную — именно о разнородных зверях, которые вместе задумали и выполнили определенный план. Расскажу ее, как помню.

Кошка Христя

Жил-был на Кавказе, в городе Александрополе, некий полковник А-в.

Казарма была расположена за городом, офицеры жили в отдельных домиках, и семейные люди развели настоящее хозяйство, с садиком, огородом, коровой, лошадьми и курами.

Полковник А-в был человек семейный и устроился, как помещик в маленькой усадьбе, уютно и хозяйственно. В помощь хозяйству было у него два денщика, кроме бабьей прислуги.

Семья полковника была милая и дружная. Старший мальчик ходил уже в школу.

Мальчишья жизнь, как известно, полна всяких опасностей, и даже в Париже отправляющийся в училище школьник должен быть всегда начеку. То ученик из другого класса нагонит и даст мимоходом подзатыльник, то мальчишки из городской школы — эти извечные враги гимназистов — запустят камнем в мирно шагающего «чистоплюя», и нужно бежать и дать сдачи, иначе позор на весь класс. И идет несчастный приготовишка, крадучись и с оглядкой, точно коза в джунглях.

Сын А-ва был мальчик нежный, а может быть, просто родителям казался нежным, но в школу его одного не пускали, а провожал его денщик. Он же и приходил за ним, чтобы отвести домой.

И каждый день вместе с денщиком, неуклонно — дождь не дождь, пекло не пекло — провожала мальчишку кошка Христя.

Почему приняла она на себя эту обязанность — неизвестно. Мальчик сам лично никогда ее не приглашал, радо-

сти в этой прогулке не было для Христи ровно никакой, а иногда случались и неприятности, когда, задеря хвост, приходилось удирать от какой-нибудь зазнавшейся собачонки, считающей, что по «ее улице» кошкам шляться совершенно не к чему.

Особенно удивлялись на кошку во время дождя. Кошки вообще мокрого не любят, а тем более чистеха Христя. Если случалось в свежую погоду перейти через двор, Христя сжимала лапу комком, чтобы не очень промочить лапки, и осторожно пробиралась с камешка на камешек, а тут, подумайте, иногда целую дорогу под проливным дождем! Каково это? И ясно было всем, что эти проводы молодого своего господина приняла на себя Христя как долг, как обязанность. Может быть, и денщику не доверяла: «Нынешние слуги, разве на них положиться можно? Либо мальчиковы книжки растеряет, либо в кабачок свернет, а при мне все-таки постыдится...» Вообще, кошечка была заботливая.

Кроме кошки Христи, были у А-х еще звериные души: баран Борька и осел Гришенька.

История барана была особенная. Купили его совсем крошечным, думали попоить молочком и к Пасхе зарезать. Но план этот быстро провалился.

Барашек был такой беззащитный и доверчивый и как-то сразу вошел в жизнь — сдружился с детьми, ходил по всему дому, ну прямо, как говорится, свой человек. И, мало того, считал как будто, что у него есть какие-то права. Всюду лез, тыкался своим крутым лобиком, ходил в гостиную смотреться в большое зеркало и, если что не нравилось, сердито брыкался. Ведь этакий дурак! Его съесть собираются, а он, туда же, выражает какие-то неодобрения и предъявляет требования. Ну, как такого зарежешь? Он вам, дурак, верит, он вам вроде приятеля, а вы вдруг... Уж это была бы последняя подлость и предательство.

— Пусть живет, — решила хозяйка дома. — он ведь нам уже вроде ребенка.

И баран Борька стал членом семьи.

Ослик Гриша ничем не отличался и особенной биографии не имел.

Баран Борька любил в жаркую погоду полежать на дворе в тени. Ляжет, ноги подберет и дремлет.

И вот тогда, управившись со всеми своими делами, приходила отдохнуть и кошка Христя. Кошки любят полежать на мягеньком, а что мягче бараньей шкуры? И преспокойно лезла Христя на Борьку, устраивалась поудобнее на его спине, так и отдыхала. Баран относился к этому очень добродушно, как будто даже и не замечал. Тут же бродил осел Гриша, шевелил ушами, пощипывал репейник, перекатывая мягкими губами колючие шарики, словно горячую картофелину, поглядывал на странную парочку — кошку с бараном и, по-видимому, находил, что все в порядке и вполне естественно.

Так жили они, поживали, но вот наступило событие. Полковник поехал в лагерь. Поехали всей семьей, забрали с собой одного денщика, а осла, барана и кошку Христю оставили дома, под присмотром другого денщика.

Баран и осел отнеслись к отъезду хозяев равнодушно, но кошка Христя страшно забеспокоилась. Стала куда-то бегать, высматривать, вынюхивать. Как-то хватился денщик — куда осел делся? Стал искать. Смотрит, — что такое? Ни осла, ни барана, ни кошки Христи! Искал-искал — нету. Побежал по соседям расспрашивать — не видал ли кто? Ясное дело — украли. Перепугался денщик ужасно. Ведь придется перед хозяином отвечать, ему доверено было.

А в лагере в это самое время разыгралась такая история. Встал полковник А-в рано утром, пошел к речке, — там, около лагеря, протекала горная речушка.

Видит полковник — плывет что-то, какое-то зверье — не разобрать что, но, в общем, трое.

И вот первое — маленькое — подплывает к берегу, вылезает, отряхивается. Кошка! Кошка Христя!

За ней — баран Борька, за бараном — осел Гришка. Как они все это проделали, как сговорились, — у них ведь не дознаешься. А лагерь от города был все-таки в десяти верстах.

Верховодила всеми явно кошка Христя. Баран, значит, пошел за ней «как баран», как их брату полагается, не очень рассуждая и задумываясь. Но как осел примазался к их компании — это выходило уж совсем необъяснимо. Но все-таки все это случилось, и тот самый мальчик, полковничий сын,

которого кошка Христя, не полагаясь на денщика, провожала в школу, вырос, женился и живет сейчас в Париже.

Вот и не верьте после этого Киплингу.

Благородный отец

А эта история наша, петербургская. Может быть, кое-кто из петербуржцев и слышал ее в свое время.

Жил-был в одном семействе пудель. Звали пуделя Гаврилыч. Был Гаврилыч нрава веселого, был любим и людьми, и собаками.

А был Гаврилыч не простой, а ученый. Умел проделывать всякие пуделиные штуки — прыгал, подкидывал на носу кусок сахару, служил, притворялся мертвым, одним словом, был на все лапы мастером.

И до того довели этому пуделю науку, что даже посылали его по утрам одного в булочную. Брал Гаврилыч в зубы корзинку и прямым путем за булками, и приносил домой всегда, по договору с булочником, ровно десять булочек.

И вот, как-то приносит Гаврилыч покупку, смотрят, а в корзинке булочек только девять. Очевидно, приказчик обсчитался.

Однако, на другой день та же история. Девять булочек.

Тогда послали в булочную записку — с этим самым пуделем, и он, дурак Гаврилыч, сам и отнес ее, на свою голову. Из булочной ответили, что всегда кладут ему в корзинку десять булочек. А пудель продолжает приносить девять. И хозяева и булочник не могут понять в чем тут дело.

Хозяин говорит:

— Не такой наш Гаврилыч человек, чтобы позволил из корзинки хозяйское добро стянуть. Он и сам хозяйского не тронет и другому горло перегрызет. А булочник обижается, что он никогда никого не обсчитывал.

Решили выследить.

Взялся за это дело молодой дворник. Пошел следить. Вернулся, хохочет и рассказывает:

— Положили пуделю ровно десять булочек. Вышел наш Гаврилыч из булочной, дошел спокойно вплоть до поворота, а там шмыг в переулочек и припустил рысью.

Дворник за ним.

Видит — остановился пудель у ворот какого-то невзрачного дома, поставил корзинку на землю и полаял:

— Гав! Гав!..

Прислушался, и снова:

— Гав! Гав!..

А из-за калитки отвечают ему:

— Гав! Гав!..

И видит дворник, лезет из подворотни собачонка, паршивенькая, худая, и видно, что у нее щенята-сосунки. Подошла собачонка к корзинке, взяла одну булочку и поползла назад. А пудель подхватил свою корзинку и потрусил рысцой. И такой деловитый, будто так и надо.

— Подумайте только! — кончал дворник свой рассказ. — Это он ейных щенят жалел. И уж не знаю, чужие ли они ему? Может, это он о своих ребятах заботился? Ну и дела!..

Хозяева ничего пуделю не сказали, не хотели конфузить Гаврилыча. Тем более, что всегда он отличался честностью и даже не выклянчивал вкусных косточек, — гордый был. А вот отцовского чувства преодолеть не мог. Объяснить господам своих обстоятельств не умел, ну и решил, значит, злоупотребить доверием. Один раз не утерпел, а там — коготок увяз, всей птичке пропасть!

Хозяева притворились, что ничего не знают, и заказали булочнику присылать одиннадцать булочек. Покрыли Гаврилычев грех.

Он еще некоторое время покрадывал, а потом сам вернулся на путь чести. Очевидно, поставил своих ребят на ноги и прекратил алименты.

Лесной ребенок

«Какое счастье быть диким человеком! — думала Катюша, продираясь через кустарник монастырского лесочка. — Вот

брожу там, где, может быть, еще ни разу не ступала человеческая нога. Чувствую всем телом, всей душой, как я принадлежу этой земле. И она, наверное, чувствует меня своею. Жаль, что не могу ходить босиком — слишком больно. Проклятые предки! Испортили культурой мои подошвы».

Через жиденькие сосны зарозовело небо.

— До чего чудесно!

Она восторженно подняла вверх свой усеянный веснушками носик и продекламировала:

И смолой и земляникой
Пахнет старый бор.

Но старый бор тут же и кончился около казенного дома главного инженера.

Катюша остановилась. Там, на лужайке, что-то делалось. Что-то необычайное. Сам главный инженер, его помощник, молодой доктор и еще человек пять — со спины не разобрать кто — собрались в кружок, нагнулись, некоторые даже присели на корточки, и кто-то вдруг заревел обиженно, и все захохотали.

— Над кем они там смеются? Верно, какой-нибудь дурачок, глухонемой.

Стало страшно и немножко противно.

Но люди все знакомые. Можно подойти. Неловко только, что она такая растрепанная. И платье на плече разодрано колючками. Но «его», к счастью, здесь нет. Значит, обойдется без брюзжанья. («Он» — это муж.)

И опять что-то заревело, заворчало без слов.

Катюша подошла.

Главный инженер поднял голову, увидел Катюшу, кивнул ей:

— Катерина Владимировна! Идите сюда! Смотрите, какое чудовище Николай принес.

Николай, лесной сторож — Катюша его знала, — стоял в стороне и улыбался, прикрывая из вежливости рот пальцами.

Молодой доктор отодвинулся, и в центре круга Катюша увидала маленького толстого медвежонка. На шее у него мотался обрывок веревки с привязанным к нему деревянным бруском. Медвежонок мотал брусок из стороны в сторону,

ловил его лапой и вдруг пускался бежать вприпрыжку. И тогда брусок бил его по бокам, а медвежонок ревел и грозно подымал лапу. Это и смешило окружающих его людей.

— Подождите, — закричал помощник инженера, — я пущу ему дым в нос, подождите...

Но в это время кто-то потыкал медвежонка палкой. Тот сердито обернулся и, подняв лапу, смешной, страшно грозный, но совсем не страшный, пошел на обидчика.

Катюша растерялась. Сама не понимала, как ей быть и как она к этой истории относится.

— Постойте, — закричал кто-то, — Фифи идет с медведем знакомиться. Пропустите Фифи.

Фифи, пудель с соседней усадьбы, небольшой, поджарый, франтовато выстриженный львом, с подусниками и браслетами на лапах, вошел в круг.

Медведь, усталый и обиженный, сел и задумался. Пудель, щеголевато перебирая лапами, подошел, понюхал медведя сбоку, с хвоста, с морды, обошел еще раз, обнюхал с другого бока — медведь покосился, но не шевелился. Пудель, пританцовывая, только что нацелился обнюхать медведю уши, как тот вдруг размахнулся и бац пуделя по морде. Тот, не столько от силы удара, сколько от неожиданности, перевернулся в воздухе, визгнул и пустился удирать.

Все загоготали. Даже сторож Николай, забыв вежливость, закинул голову и грохотал во всю глотку.

И тут Катюша «нашла себя».

— Подло! — закричала она срывающимся голосом. — Подло мучить, издеваться. Вы все тут толстые, старые, издеваетесь над маленьким лесным ребенком. Гадко и стыдно!

Голос совсем сорвался, и она, неожиданно для себя самой, громко, по-детски заплакала.

— Голубушка, — вскочил главный инженер. — Катерина Владимировна! Катюшенька! Да чего же вы плачете! Такая взрослая дама и вдруг из-за медвежонка... Да никто его и не обижает. Господь с вами! Да не плачьте вы, а то я сам заплачу!

— Ардальон Ильич, — лепетала Катюша, вытирая щеку оборванным рукавом платья, — вы простите, но я не мо-гу-у-у, когда-а-а...

— Вы напрасно ходите по жаре без шляпы, — наставительно сказал молодой доктор.

— Оставьте вы! — сердито прикрикнула на него Катюша. — Ардальон Ильич, голубчик, отдайте мне его, если он ничей. Умоляю вас.

— Да что вы, голубушка моя! Да есть о чем толковать! Николай, — обернулся он к лесному сторожу, — отнесешь медвежонка к Гордацким, знаешь, к мировому судье. Ну, вот. Идите спокойно домой.

Катюша вздохнула дрожащим вздохом. Оглянулась, хотела объяснить свое поведение — но некому было объяснять. Все разошлись.

Дома у Катюши был сердитый муж, сердитая кухарка и горничная Настя, свой человек. Кухарки Катюша боялась, заискивала, называла ее «Глафира, вы». Та звала ее «барыня, ты» и явно презирала.

Настя все понимала.

У Насти был мальчишка-брат Николай и серый кот. Мальчишку называли Кошка, а кота Пешка.

У людей Настя считалась дурехой и называлась Настюха толстопятая.

К медведю кухарка отнеслась отрицательно. Настюха, Кошка и Пешка — восторженно. Сердитый муж был в отъезде.

— Вы понимаете, Настя, это лесной ребенок. Понимаете?

И Настя, и мальчишка Кошка, и кот Пешка моргали понимающими глазами.

— Дайте ему поесть. Спать он будет со мной.

Медвежонку сварили манную кашу. Он влез в нее всеми четырьмя лапами, ел, ворчал, потом забился под кресло и заснул. Его вытащили, вытерли и уложили к Катюше на кровать.

Катюша смотрела с умилением на лапу, прикрывшую медвежью морду, на мохнатое ухо. И никого в мире не было в эту минуту для нее роднее и ближе.

— Я люблю вас, — сказала она и тихонько поцеловала лапу.

— Я уже немолода, то есть не первой молодости. Мне скоро стукнет восемнадцать... «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней»...

Медведь проснулся утром в половине четвертого. Ухватил лапами Катюшину ногу и стал ее сосать. Щекотно, мучительно. Катюша с трудом высвободила ногу. Медведь обиженно заревел, пошел по постели, добрался до Катюшиного плеча, присосался. Катюша визжала, отбивалась. Медведь совсем обиделся и стал спускаться с кровати. Вытянул толстую лапу, стал осторожно нащупывать пол. Сорвался, шлепнулся, заревел, поднялся, побежал, подкидывая зад, в столовую. Через секунду задребезжала посуда.

Это он лез на стол, зацепился лапами и сдернул всю скатерть с посудой вместе.

На грохот прибежала Настя.

— Запереть его, что ли?

— Нельзя! — в отчаянии вскрикнула Катюша. — Лесного ребенка нельзя мучить.

Загрохотали книги в кабинете, зазвенела чернильница.

Лесной ребенок, толстый увалень, валил все, к чему ни прикоснется, и обижался, что вещи падают, ревел и удирал, подкидывая бесхвостый задок.

Катюша, бледная, с побелевшими глазами, с посиневшим ртом, в ужасе металась по дому.

— Я его только на часок запру, — решила Настя, — пока вы поспите. Потом выпустим.

Катюша согласилась.

Вечером вернулся сердитый муж. Застал Катюшу в постели, измученную, узнал про медвежьи проказы, запретил пускать медведя в комнаты, и перешел лесной ребенок в ведение Насти, Кошки и кота Пешки.

Потом оказалось, что медведь — не медведь, а медведица, и Катюшу это страшно разочаровало.

— Медведь — зверь сказочный, чудесный. А медведица — это прямо как-то даже глупо.

Жил медвежонок в Настиной комнатушке, спал с ней на одной кровати. Иногда ночью доносились из комнатушки Настины окрики:

— Машка, перестань! Вот я те развалюсь поперек. Нет на тебя пропасти!

Иногда Катюша спрашивала:

— Ну, как медведь?

Настя делала жалобное лицо; боялась, не выгнали бы Машку.

— Медведь? Он меня за матку почитает. Он все понимает, не хуже коровы. Это такой медведь, что днем с огнем не найдешь.

Катюше приятно было, что все зверя хвалят, но интереса к нему уже не было. Во-первых — медведица. Во-вторых, очень вырос, перестал быть смешным и занятным. И хитрый стал. Раз слышат — бьются куры в курятнике и квохчут не своим голосом, а дверь почему-то закрыта — чего днем никогда не было. Побежали, открыли. — Медведь! Залез, дверь за собой запер и ловит кур. И ведь отлично понимает, что дело незаконное, потому что, когда его застали — морда у него стала очень сконфуженная и пристыженная.

После этого сердитый Катин муж сказал, что держать в доме такого зверя, у которого проснулись кровожадные инстинкты, довольно опасно. Кто-то посоветовал отдать его на мельницу, к помещику Ампову. Там давно хотели завести медведя, чтобы сидел на цепи.

Написали помещику.

В ответ на письмо приехала сама мадам Ампова — дама поэтическая, нежная, вся переливная и струящаяся. Вокруг нее всегда развевались какие-то шарфы, шелестели оборки, звенели цепочки. Не говорила, а декламировала.

— Милый зверь! Подарите мне его. Он будет сидеть на цепи свободный и гордый, цепь длинная, не будет ему мешать. Кормить его будут мукой. Я с вас дорого за муку не возьму, но, конечно, вы должны будете заплатить за полгода вперед.

Дама щебетала так нежно, что Катюша, хотя и очень была удивлена, что ей придется платить за корм медведя, которого она дарит, — так и не нашла что ответить и только испуганно спросила, сколько именно должна она заплатить.

Доставить медведя поручили мальчику Кошке. Кошка запряг зверя в салазки и покатил.

— Как он лес увидал, да как побежит, аж дух занялся, еле я его поворотил, — рассказывал Кошка.

Настя плакала.

Через месяц сбегала взглянуть — усадьба Амповых была в шести верстах от города.

— Сиди-ит, — плакала она. — Узнал меня да как кинется, мало цепи не сорвал. Ведь я... ведь я ему вместо матки была. Он мне маленький все плечо иссосал...

Ампова прислала счет за муку с письмом, в котором изливала свою нежность к медведю:

«Милый зверек. Любуюсь на него каждый день и угощаю его сахаром».

Потом Катюша уехала с мужем на два месяца за границу.

Вернулись и через несколько дней получили от Амповой раздушенную записочку.

«Рада, что вы, наконец, вернулись, — писала она на сиреневой бумаге. — Я честно храню для вас окорочок от нашего Мишки. Окорока из него вышли отличные. Мы коптили дома. Приезжайте прямо к обеду. У нас чудно. Ландыши цветут, и вся природа как бы поет песнь красоты. Дивные ночи...»

— Господи! — вся помертвела Катюша. — Они его съели.

Вспомнился «лесной ребенок», маленький, неуклюжий, смешной и свирепый, как он поставил все четыре лапы в манную кашу, и как она ночью сказала ему: «Я вас люблю». И вспомнила его мохнатое ушко, и как никого в мире не было для нее ближе и роднее.

— «Опасный зверь»! А ведь съел-то не он нас, а мы его!

Пошла к Насте, хотела ей рассказать, но не посмела.

Заглянула в Настину закутку, увидела постель, узенькую, маленькую, где жил лесной зверь, где спал рядом с Настей и «почитал ее за матку», родной, теплый, совсем свой.

«Приезжайте прямо к обеду»...

Нет. Этого Насте рассказать она не посмела.

О зверях и людях

Многим нравится книга Лесника «Лесной шум».

Нравится она и мне.

Не своими литературными достоинствами — их очень немного, — а вернее, своей темой и простотой, с которой книга написана. Это собрание наблюдений над птицами, рыбами, зверями и деревьями.

Нас, живущих в больших городах, освещающихся электричеством, говорящих по телефону, слушающих радио, нас пленяет эта звериная, птичья, рыбья жизнь. Пленяет, главным образом, потому, что автор «Лесного шума» подает нам ее как очень нам близкую и родственную. И рыбы, и птицы, и звери думают по-нашему, по-человечьи, хитрят, притворяются, ищут наживы и устраивают свои делишки совсем как мы. Даже болтовня какой-нибудь тетерки, как ее подслушал и понял автор, тоже очень похожа на наш светский разговор.

— Как-как как? Погодка-то того... — и тому подобное.

Читая столь излюбленные всеми описания жизни пчелиного улья или муравейника, всегда испытываешь тоску и раздражение. Насекомые — автоматы, потерявшие всякую индивидуальность. Чужие. Гораздо ближе нам какой-нибудь тетерев, хитрящий, как бы скрыть свои следы от лисицы, и гораздо интереснее та подлая зверюга, которая, растерзав белку, лезет в ее гнездо и заваливается спать, подстелив под себя белкин хвост.

У зверей все наши, человеческие душевные качества. Каждый зверь является выразителем какого-нибудь одного из этих качеств. Лисица — хитрости. Курица — глупости, волк — жадности, тигр — свирепости, корова — флегматичности. Все это давно известно.

Человек же может соединить в себе и качество, определяющее лису, и качество курицы. Он, человек, все может собрать. Поэтому, видя, например, лису, знаешь, с кем имеешь дело. А про человека не очень-то скоро разберешь, какой именно зверь в нем сидит.

У человека может быть морда овечья, а нрав волчий. И когда на человека охотится другой человек, очень трудно этому другому бывает разобраться, выследить, выпытать, изучить повадки и сообразить, какую именно приманку ему ставить — как на козу или как на кабана?

А охотиться надо. И вся наша жизнь есть сплошная беготня или за зверем, или от охотника.

Так-с!

И как то, так и другое очень трудно. Трудно выследить и одолеть, и трудно определить, какой именно зверь за вами охотится, какие его повадки и обычаи. Надо ли прятаться

за кочку, или притворяться мертвым, или просто удирать что есть духу.

Очень все это трудно.

В обычной охоте человека за зверем все ясно. Преследуешь лисицу, так и знай, что она хитра, что она на повороте хвост переводит, чтоб сбить направление.

Преследуешь зайца — знаешь, что он кругами бегает.

На каждого зверя своя сноровка. Кого заманивают чучелом, кого свистом, кого надо замотать, чтобы обессилел, кого надо в засаде высиживать. Одного брать на заре, другого ночью.

Ну, словом, надо только знать, какого зверя погубить хочешь, а уж способ и приемы этой охоты всем известны. Прямо целые руководства напечатаны.

С человеком не то.

Вот охотились вы на носорога. Носорог — страшное, свирепое чудище джунглей. Охота опасная. Нужно с вечера засесть в тростники, не курить, не дышать, не вздыхать. Если не успеешь выстрелить или промахнешься — смерть.

И вот лезете вы в джунгли, стучите зубами до рассвета, а зверь-то, на которого вы охотитесь, просто-напросто баран и стоит себе где-нибудь под стогом сена. Взять бы его за рога и отвести на скотный.

Разве не так?

Разве не видали мы лютых рыкающих львов, которые, найдя свою тихую жвачную душу, умиленно лакомятся сырниками в русском ресторанчике «меню с кувертом четыре франка».

И наоборот — не видали ли мы прелестную, нежную ланку, с натурой шакала, в упоении рвущую всякую падаль.

Я видела огромного лося, с красными глазами, с отвисшей резиновой губой. Лось подставлял жене свою морду и лепетал:

— Пусицька, поцяюй зяйцику сейку.

Он был зайчик.

Мы знали прелестную птичку колибри, обожаемую крошечку, украшение очень изысканного салона. Прелестная птичка заключала в себе целиком и без оговорок — старого верблюда.

По поводу всех этих звериных душ и звериных обликов мне вспомнилась удивительная история. История любви Саши Лютте. Саши — коровы. Саши — белого лебедя.

Саша Лютте была старшей дочерью довольно известного в Петербурге профессора. Кроме нее, были у профессора еще дочь и два сына.

Все дети были недурны собой, кроме Саши. Саша фатально похожа была на телушку. Большая, ширококостная, неуклюжая. Нос у нее был широкий и плоский, с большими влажными ноздрями, которыми, совсем по-коровьи, выдувала теплый парной воздух. Волосы были пегие, разномастые, и белые, уже совсем коровьи, ресницы.

Ну, конечно, и прозвище у нее было — Корова.

Она сознавала свою некрасивость. Была дика и застенчива до слез.

Мать долго не теряла надежды, что она еще выровняется, и вытаскивала ее в гостиную, когда приходили гости. Саша краснела пятнами, неуклюже кланялась, отвечала невпопад.

— Му! Му! — тихонько дразнили ее младшие братья.

Она очень любила музыку, но ее музыке почему-то не учили. Она была очень рассеянна и часто задумывалась.

Как-то раз в классе, во время урока, она вдруг стала медленно подымать левую руку, слегка согнув кисть, как голову лебедя, и тихо запела.

Можно себе представить, какую это вызвало историю. Ее чуть не выгнали из школы.

Но она как будто сама не понимала, как это случилось, и была очень испугана.

Ей было лет шестнадцать, когда умерла ее мать. А через два года произошло событие, решившее всю ее жизнь.

Событие было такое. У них был танцевальный вечер. Ее сестра любила танцевать. На вечере этом в первый раз в их доме появился некто Якимов. Неотразимый молодой человек. Очень красивый, очень холодный, — он презирал женщин и, конечно, только женщинами и занимался.

Потому ли, что он был в первый раз в доме и хотел быть исключительно любезным, или из желания всех пора-

зить — неизвестно, но он весь вечер не отходил от Саши и обращался с ней как с самой хорошенькой женщиной. Он танцевал только с ней, говорил ей комплименты, несколько небрежно, как вскользь, но тем ярче это выходило.

Рассказывает ей что-то и вдруг:

— Нет, нет, вы напрасно отодвинули ногу. Она у вас изумительно хороша по линиям.

Бедная Саша краснела, бледнела, задыхалась и смотрела на него через свои коровьи ресницы глазами безумными и дикими.

— Зачем вы живете здесь, вообще, в семье? — небрежно цедил он. — Если бы вы жили одна, я бы приходил к вам.

Сказал и сразу переменил разговор.

Этот вечер решил ее судьбу.

На другой же день она заявила отцу, что хочет жить одна. Отцу вообще все, что касалось его детей, было безразлично. Он согласился, и она наняла себе гарсоньерку и зажила новой странной жизнью.

Она ждала.

В ее комнате было красивое большое кресло. В этом кресле он будет сидеть. Рядом с креслом на лакированном столике драгоценная ваза со всегда свежими цветами.

Ликер. Кофе.

Она ждала.

Она никому не давала своего адреса — могут еще прийти, как раз когда будет он, и помешают.

Она написала ему:

«Адрес Александры Лютте: Бассейная, 17».

Больше ничего. Она была очень дикая и совсем не знала, что нужно сделать, и всего боялась.

Она почти не уходила из дому. Вдруг он придет именно тогда, когда ее не будет.

Время шло. Настала зима.

Она стала зажигать по вечерам камин, садилась на ковер около кресла, медленно подымала левую руку, сгибая кисть, как голову лебедя, и тихо напевала.

Она все украшала свое жилище. Конечно, не для себя.

Купила граммофон. Может быть, ему нравится музыка?

Она выбирала самые красивые чулки и башмаки, и целыми часами смотрела на свои ноги, и тихо их гладила.

Он их хвалил.

Она все реже выходила из дому. Почти не ела.

И странное дело — ведь она никогда не попыталась узнать что-нибудь о своем герое.

Она ничего о нем не знала и считала точно лишним что-нибудь знать. Она просто ждала.

Дома о ней тоже как-то забыли. Сначала мальчики шутили:

— Надо пойти к Саше и спеть: «Ты пойди, моя коровушка, домой».

Между тем началась война.

Как-то потом, много времени спустя, выяснилось, что Якимов пошел на войну и был убит одним из первых.

А Саша ждала. Она ничего не знала, да и не могла знать. Она никого не видела и не читала газет.

Когда взломали дверь ее квартиры, она стояла на коленях перед креслом, и мертвое личико ее, исхудавшее и блаженно-счастливое, не напоминало ее, прежнюю. Левая рука, высоко поднятая, была согнута в кисти, как голова лебедя. Другой рукой она обнимала в кресле того, который не пришел.

На граммофоне лежала доигранная до конца пластинка. Григовский «Лебедь».

Все.

Без слов

— Эта кошка была пребезобразная, — начала свой рассказ милая дама.

Главное, расцветка. По фигуре — ничего себе. Кошка как кошка. Но вот расцветка подгуляла. По светлому фону черные пятна. Это, конечно, в кошачьей внешности встречается довольно часто, но дело в том, что у этой кошки, о которой идет речь, пятна были расположены, так сказать, с большим юмором. Под правым глазом черное полукольцо, как у пьяницы, которому подбили глаз кулаком. Другое пятно закрывало правое ухо и полглаза, словно лихо сдвинутая

набекрень шапка. Над хвостом нечто вроде вензеля с сиянием. И главное — нашлепка на середине носа, которая как бы переламывала нос пополам — ну, словом, дальше идти некуда.

И вот эта кошка полюбила восторженной, жертвенной любовью. Полюбила она — меня.

Собственно говоря, я этого чувства не добивалась и не поддерживала, даже просила хозяйку этой кошки: «Уберите вы ее, ради бога, меня от нее тошнит».

Ничто не помогало.

Как только я приходила — моментально появлялась и кошка и не отходила от меня ни на шаг. Она терлась об мою ногу, выгибала спину, мурлыкала, лезла ко мне на колени и, так как я ее не хотела погладить, то она сама, поджав когти, хлопала меня по руке.

Все это еще можно было вынести. Но вот однажды сижу я у этой самой кошкиной хозяйки, и мне говорят:

— Смотрите, смотрите, она вам что-то несет.

Смотрю — идет эта уродина, идет довольно спокойно и торжественно, можно сказать — сознательно, идет через всю комнату прямо ко мне и тащит что-то в зубах, вроде клубочка. Подошла, поднялась на задние лапы и положила мне на колени полудохлую мышь.

Что со мной было, я подробно рассказывать не стану. Скажу одно — я никогда не думала, что я умею так громко визжать.

Потом, конечно, рассказывала об этом событии, и рассказ мой вызывал умиление над трогательным поступком невинного зверя. Я охотно принимала участие в этом умилении. Не хотелось только повторения этого редкостного явления. И факт сам по себе довольно неаппетитный. Конечно, если смотреть глубоко, то увидишь, как темная звериная душа, полюбив, отдала все, что у нее есть на свете. Ведь ничего, ровно ничего, никакого имущества у этой корявой кошки не было. Все отдала.

Это, конечно, так. Это потрясает, и удивляет, и умиляет.

Но если взглянуть на дело просто, без всякой глубины, то что получается? Получается, что поганая кошка положила мне на колени дохлую мышь. И от таких историй, как

бы ни была чудесна их глубина, всякий, наверное, заранее наотрез откажется.

— А у меня тоже была любовная история в этом роде, — сказала приятельница милой дамы. — Но героиня этого романа не кошка, а чином пониже. Мышь. Меня полюбила мышь.

И было это дело вот как. Я когда-то много занималась музыкой. Жили мы тогда в нашем старом петербургском доме. Как сейчас помню — была ранняя весна, мутные северные сумерки. Я могла долго играть, не зажигая лампы. Разучивала я что-то сложное, кажется, Листа. И вот как-то, остановившись, слышу тихий шорох. Обернулась — мышка! Сидит тихо. Я стала играть дальше. Посмотрела — сидит. Даже подвинулась чуть-чуть ближе. И — представьте себе — каждый вечер, как я за рояль, так моя мышка вылезает и слушает. А иногда поднимет мордочку и чуть-чуть попищит — посвистит. Так мы с ней вместе исполняли Листа несколько недель.

Под конец она уже совсем со мной не стеснялась, подходила близко, садилась у самой ножки рояля. Одним словом — совсем свои люди, друзья-музыканты.

И вот как-то мышка пропала. Сколько-то времени ее не было.

Раз села я за рояль, взяла несколько аккордов прежде, чем развернула ноты, как вдруг слышу тихий-тихий писк. Оборачиваюсь и вижу картину. Вылезает из-за портьеры моя мышь, а за нею целая вереница крошечных, розовых, противных голых мышат, совсем новорожденных. А она ведет их за собой, оглядывается, потом так педагогично села и смотрит то на них, то на меня. Мне, значит, рекомендует — «вот они». А им показывает: «Вот, дети, как нужно вести себя в концертах».

Мне, конечно, очень было жаль, но все же пришлось велеть лакею, чтобы утром разыскал под портьерой щель и забил ее. Сами понимаете — что мне было делать с целым мышиным выводком? Но все-таки это ведь очень мило, что она так доверчиво привела ко мне, к своему испытанному другу, своих прелестных деток. «Идемте, идемте, здесь интересная музыка, здесь мы отдохнем душой». А я забила щель! Но что поделаешь!

— И я знал в своей жизни такую бессловесную любовь дикого зверька, — сказал наш друг, старый доктор. — Не совсем зверька, но почти. Это был человечек, но такой примитивный, не сложнее вашей кошки, и голый, как ваши мышата, — ничего у него не было. Человечек этот был якут. Колай. Звали его Колай. Это, помнится, была такая история на севере нашего отечества. Кто-то из начальства, желая выслужиться, объявил, что не то триста, не то пятьсот человек якутов изъявили желание креститься, но чтобы непременно называться в честь Государя. Николаем. Не знаю, получило ли усердное начальство желаемую благодарность, но Николаев среди якутов появилось тогда много. Звались они между собою больше Колай, Колым, но все это были Николаи. А встречался я с ними в том полевом госпитале, которым заведовал во время войны. Их, уже не помню почему, пригнали в наши края рыть окопы. Вот из этих окопов они и попадали прямо к нам на койки, на солому, на подстилки, потому что цинга и тиф валили их сотнями.

Тяжелые это были пациенты. По-русски почти никто не говорил, докторов боялись, лекарства боялись, дотронуться до себя не позволяли. Да и наше положение было трудное. Медикаментов не хватало, за мясом приходилось гонять за двадцать верст пешком, потому что пробираться приходилось по колено в воде — так раскисли все болота кругом. Словом, кошмар.

Якуты наши были все маленькие и, на наш взгляд, все на одно лицо. Видели вы когда-нибудь тряпичные куклы? Шарик из ваты обертывают тряпкой и рисуют круглые брови, глаза точечками, ноздри и рот. Все плоское. Вот такие были у них лица. И злые они были — ужас. От страха, от страдания, от тоски. Трудно было с ними.

Вот как-то зовет меня дежурная сестра. Не может справиться. Принесли нового больного, и он не дает до себя дотронуться, санитара укусил, а ей в лицо плюнул.

Я пошел.

Он лежит, маленький, на вид совсем мальчишка. Лежит и воет.

Я подошел и стал тихонько, ласково говорить. Как с грудным ребенком или с собакой, не выбирая слов, а главное, заботясь об интонации.

А он все воет и воет. Однако стал делать паузы. Притихнет и прислушается. А я все говорю, все тихо, все ласково. Он стал делать паузы подольше. Тут я осмелел, присел к нему на койку, протянул руку. Он ничего. Тогда я стал гладить его по голове. Волосы у него были жесткие, как звериная шерсть. Он притих, слушает. Я мигнул санитару. Тот сдернул с него тряпье, сделал впрыскивание. Наш Колай совсем стих, дал себя осмотреть. Плох он был, бедняга, совсем безнадежен. Лежал всегда с закрытыми глазами. Только когда я подходил, в узеньких щелочках всегда блеснет огонек. Он даже что-то говорил мне, так доверчиво, как своему, и так робко, как беспредельно высшему и чтимому, что, наверное, считал меня чем-то вроде важного шамана.

Как-то раз, увидя меня, он особенно заволновался, и даже стал смеяться, и замахал руками, словно подзывал к себе. Я подошел. И он, захлебываясь радостным смехом, вытащил из-под подушки грязный обрывок какого-то журнала и, мыча, толковал мне что-то.

Я взял бумажку. Это была вырванная откуда-то иллюстрация, изображающая якута, нарты и собак в упряжке. Я полюбовался, пощелкал языком, поулыбался и погладил Колая по его шерстяным волосам.

Он был очень счастлив и взволнован, даже чересчур.

Соседние больные тоже подняли головы и щелкали языками. Все уже знали, какое у Колая сокровище, и гордились вместе с ним.

Время шло. Ужасное время. Дождь лил, не переставая. Выбраться из нашей трясины не было никакой возможности. Люди гнили заживо.

Из соседних мест, где работали пленные венгерцы, приходили вести еще страшнее. Посланные за мясом за тридцать верст — от них было дальше, чем от нас, — уже не возвращались. Они не убегали, нет. Они просто умирали по дороге.

Но те хоть враги, а ведь здесь свои. Жалко.

И вот получаю я, наконец, долгожданное предписание. Переводят меня на другое место. Что будет — не знаю, но хоть из болота выберусь, и то слава богу.

Добрался до нас и мой заместитель. На его счастье, дожди прекратились и начало подмораживать, а то я и с предписанием не мог бы двинуться.

Вот пошел я сдавать ему своих больных.

Те уже знали, что я ухожу. Кто понимал по-русски, объяснил остальным. И вижу — мой Колай смотрит на меня и шарит что-то по своей подстилке, по рваной своей рубахе.

Спрашиваю соседа — тот понимал по-русски:

— Чего он?

— А он ищет, что тебе подарить. Ничего нет, а он тебя любит.

У Колая ничего не было. Ну, совсем ничего. Казенная подушонка, простыня, рубаха. У некоторых хоть махорка была. У него — как есть ничего.

И с таким отчаянием смотрели на меня узенькие полоски его глаз, что вся эта простая комическая маска, которую дала ему природа вместо лица, вдруг сделалась трагической, как на фронтоне древнего театра.

Я протянул к нему руку.

— Колай, — говорю. — Не надо, Колай!

И вдруг лукаво сверкнули узкие глазки, поплыли в сторону щеки — Колай засмеялся. Засмеялся, сунул руку под подушку и вытащил тот самый замусленный обрывок журнала, где был якут с собаками.

Он великодушным, щедрым движением втиснул листок мне в руки и даже слегка оттолкнул меня. — Иди, мол, уноси твое счастье.

И смеялся так, что слезы навернулись ему на глаза.

И я взял замусленную бумажку и бережно спрятал в карман, и нагнулся, и поцеловал Колая в шерстяную его голову, и унес с собой драгоценный дар, самый драгоценный, какой я получил за всю мою жизнь. В этой бумажке отдал мне человек все, что у него было на земле.

Наш быт

Старуха осталась в России.

И все эти годы своего беженства Аросов ни на минуту не забывал лица своей матери, того лица, которое

он видел, обернувшись на сходнях парохода, когда покидал родной берег.

Она, старуха, стояла одна, растерянная и несчастная, искала его глазами и не видела в этой серой солдатской толпе. Ее пухлые, дряблые щеки дрожали. Она вытирала рот комочком платка и даже не плакала, так была она потрясена всем происходящим.

Так бывает с человеком. Когда налетит на него нежданное горе, оно всегда сначала ошеломит, и все в человеке остановится: и мысли, и чувства, и нет в нем ни сознания, ни боли — ничего. И только потом, когда схлынет волна, захлестнувшая его душу, начинает он понимать и мучиться.

Так думал Аросов о своей матери, и как бы ни мотала его судьба, мысль и забота о ней никогда его не оставляли.

А приходилось ему очень трудно. Он не был талантлив, приспособлялся с трудом, хватался за все: работал на заводе, был грузчиком на вокзале, натирал полы, коптил рыбу, служил ночным сторожем, починял гитары, готовил к экзаменам, водил гулять детей, пек бублики, стриг собак и пел в русском хоре. И какие бы гроши ни зарабатывал, все, что мог, отсылал матери и при этом писал:

«Прости, что на этот раз посылаю тебе такие пустяки, но здесь, молодой человек из общества непременно должен одеваться изысканно и со вкусом, а на это уходит много денег. Постараюсь в следующий месяц воздержаться от излишеств».

Больше всего боялся он, как бы она не догадалась, в какой нужде он бьется. Тяжело ей будет принимать тогда его жертву.

Последний этап его разнообразной деятельности было шоферство.

И вот тогда познакомился он с Катей Гречко. Катя жила в том же отельчике. Она была молода, весела, кругленькая, курносая, задорная. Танцевала в цирке.

Аросов в Катю влюбился. Он, собственно говоря, сам никогда бы и не догадался, что он влюблен. Но как-то починил он Кате электрический утюжок и, когда принес его ей, застал у нее в комнате пожилого господина в «шикарном» пиджаке, а на столике перед господином стояла большая ко-

робка конфет и лежал зашпиленный в прозрачную бумагу большой букет. Очевидно, господин все это принес.

Аросов отдал утюжок, криво поклонился и поспешил уйти.

Шел по улице и думал:

«Вот этот шикарный господин принес Кате цветы и конфеты. Однако же это не именины и не Новый год. Значит, он за Катей ухаживает. Это ясно».

Это было ясно и при своей ясности очень неприятно.

И вот это и удивляло Аросова. Почему неприятно? Катя такая милая, нужно бы радоваться, что она всем нравится и получает подарки. А вот почему-то неприятно. Что мне, завидно, что ли, что я не могу подносить дамам букеты?

Словом, в этом вопросе он толком разобраться не мог; но и к Кате идти не хотелось, так что несколько дней он ее не видал.

А потом она сама постучала к нему и вошла в первый раз в его мансардную комнатушку, кривую, угластую, с окном в потолке.

— Ничего, что я пришла? Вы, может, сердитесь?

Так несколько вечеров просидели они рядом на его узенькой коечке.

И был он как во сне от счастья и от страха, что сейчас все кончится и он проснется.

И вот Катя сказала:

— Может быть, вам нужно что-нибудь починить или зашить? Я умею. Вы не стесняйтесь.

И застенчиво засмеялась.

И вот этот застенчивый смешок разбудил Аросова, и вдруг ясно увидел он совсем странное — Катя думает выйти за него замуж. Она ничего не знает. И он взял ее за руку и сказал:

— Катя! Все это надо бросить. Катя, не зацветет моя жизнь никогда. У меня есть священная обязанность, ради которой я на свете живу. У меня в России осталась мать. Все, что могу, я отсылаю ей, и больше, чем могу, коплю ей на дорогу. Живу одной мыслью выписать ее сюда. Катя, надо меня понять. Когда я уехал, она стояла на берегу, совсем одинокая, жалкая. Я, Катя, жениться не могу.

Тут Катя вдруг вырвала руку и закричала:

— Да с чего вы взяли, дурак несчастный! Да как вы смеете думать, что я когда-нибудь согласилась бы выйти за вас замуж! Для меня это даже оскорбительно, что вы так подумали. Я артистка, передо мной, может быть, блестящее будущее, а вы забрали себе в голову, как последний эгоист. И прошу вас после этого со мной не встречаться.

Может быть, ему не следовало говорить о браке. Может быть, без этого разговора все оставалось бы как раньше, долго, долго. Она ведь ничего не требовала, не звала его ни в синема, ни в кафе. Она сама приходила и так мило, ласково сидела на его коечке. Зачем он спугнул ее своей проклятой честностью, глупостью своей!

Ну что ж? Такая, значит, судьба. Вот выпишет мать, и все пойдет иначе.

Писал матери: «Ты не бойся, у меня тебе будет хорошо. Моего заработка на двоих вполне хватит. Тебе будет спокойно. Я буду тебя беречь».

Он купил старенькую ширмочку, ободрал ее, сам обил свежим ситчиком, раздобыл диванчик, теплое одеяло. Сам оклеил свою закуту. Мансарда была маленькая, и один угол был такой острый, что в него никак нельзя было войти. Но все-таки это был свой угол, и вся комнатушка своя. А мать писала, что живет в коммунальной квартире, что в комнате, кроме нее, еще две жилички, а в кухне шесть хозяек и пять примусов, шестая готовит на керосинке. И все они сердитые и живут недружно, и она очень мечтает переехать, наконец, в Париж и зажить обеспеченной жизнью, как живала в доброе старое время.

И Аросов радовался ее письмам. Скоблил пол в своей мансарде, чистил спиртовку, купил лампочку поярче. Он не мог взять комнату получше, потому что откладывал каждый грош на билет и на визу.

История с Катей Гречко очень его пришибла. Ему стало скучно. Прежде он не знал, что есть на свете что-то тревожно-милое, и чужое, и близкое, ни с чем не сравнимое, единственное. Теперь знает, что это есть, и что он сам спугнул свое счастье.

И как всегда бывает — одно горе притягивает другое. Тысячи мелких неудач налетели со всех сторон. Потом пришло

самое страшное, уже давно, как вражеский аэроплан, гудевшее над его головой и, наконец, сбросившее свою бомбу. Он потерял место, нового не нашел и стал безработным.

Тут уже началась настоящая мука. Рыскал целые дни в поисках, хватался за все. Но к этому времени успел выслать матери необходимые деньги, и она написала, что скоро приедет.

Очень мучило его, что за последнее время он так похудел. Комнатка ничего себе. За комнатку он спокоен. Она очень даже уютная. Прокормить старуху кое-как он всегда сумеет. Много ли ей нужно? Вот только, пожалуй, испугается, что он такой хилый.

Только бы не догадалась, как ему было худо. Только бы не расстроилась.

Старуха Аросова жила в коммунальной квартире. Кроме нее, жили в этой квартире шесть старух. Среди этой компании Аросова занимала почетное место. Она была богатая. Ей сын присылал из-за границы и кофе, и рис, и сало, а иногда и денег.

Немудрено поэтому, что к ней подлизывались.

Вообще в коммунальной квартире жизнь била ключом.

Бабы ругались, сплетничали, шпионили друг за другом, ябедничали, друг у друга покрадывали, иногда бывали и драки.

В сложных ссорах и интригах часто приходили к почетной персоне, к старухе Аросовой, за советом и с жалобой. Иметь ее на своей стороне считалось очень выгодным. Забежишь к ней пошушукаться, она и чаем угостит (с сахаром!), и булочки кусочек отрежет.

— И зачем вам уезжать? — говорили ей. — Сын, оно конечно, но, с другой стороны, все же здесь родная земля.

— Хочу отдохнуть, — говорила Аросова. — Хочу свету повидать. Да и сын давно зовет. Никого ведь у него, кроме меня, нет.

Все-таки было ей немного страшно ехать в дальний край. Но как откажешься? Ждет сын, и ждет спокойная, беззаботная жизнь.

— Кофею, говорят, сколько хочешь.

Продала кровать, столик, стул, все лишнее барахло. Получила необходимые пропуски и поехала.

Сын должен был встретить на вокзале, но не встретил.

— Может, он тут и есть, да мы друг друга узнать не можем?

Два часа бродила по вокзалу, таскала свой узел с подушкой и жестяным чайником. Потом решила ехать.

— Уж не заболел ли?

Поехала, разыскала дом.

— Мусью Аросов?

Какая-то француженка что-то объясняла ей, и лицо у француженки было расстроенное. Она ничего не поняла и снова сказала:

— Мусью Аросов.

Тогда француженка повела ее наверх, на седьмой этаж и ввела ее в странную кривую закуту, а сама ушла. Тут увидела старуха на стенке свою фотографию и поняла, что она дома.

На гвозде висела рвань. На табуретке таз и кувшин.

— Так вот он как живет! Чего же он врал-то! Зачем же он меня заманивал! Эдакую дорогу ломала, шутка ли дело.

И тут вошел в комнату человек в парусиновой пальтушке, очень бледный, и губы у него дергались. Она даже испугалась — неужто это Володя! Но человек спросил:

— Вы мать Аросова? Я его знакомый.

— Здравствуйте, — сказала Аросова. — Это он тут живет, что ли? И где же он?

Человек скривил губы и сказал:

— Вы только не волнуйтесь. С ним аксидан[1].

И видя, что она не понимает французского слова, пояснил:

— Он попал под автомобиль. Вчера вечером.

— Как же так! — развела она руками. — Я даже не понимаю.

— Я могу вас туда отвезти, — сказал человек. — Я шофер такси.

— Куда — туда?

---

[1] Несчастный случай (от *фр.* accident).

Там, куда ее отвезли, ее долго водили по длинным коридорам, потом по лестнице вниз в небольшую комнату с католическим распятием на стене, под которым стояла койка, закрытая парусиной.

Когда откинули парусину, она увидела острый нос, скулы, точно вырезанные из дерева, черные глазницы и седые виски.

Когда ее вели по коридорам, она уже понимала, что это больница, и, когда увидела закрытую парусиной койку, тоже угадала, что здесь покажут ей ее сына, но когда увидела его — не поверила.

— Да это, по-моему, даже и не он. Старый и седой.

Смотрела и ничего не чувствовала перед этим незнакомым старым человеком — ни жалости, ни печали.

— Да ведь это даже и не он!

«Не счастье»

Как однообразно человеческое счастье! Можно было бы без труда перечислить все его виды и формы.

Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи одна на другую. Каждая несчастная семья несчастлива по-своему.

Счастье однообразно.

Несчастье настолько разнообразно, что кажется, будто особое, неисчерпаемое, беспредельное вдохновение призвано придумывать и разрабатывать его формы.

И есть еще третий лик судьбы, который можно было бы назвать «не счастье».

Это не есть постигшее человека горе (несчастье) и не есть нейтральная серенькая жизнь без света и радости (без счастья). «Не счастье» это есть неосуществившаяся возможность.

Все слагаемые счастья как бы налицо. Но они не складываются, не сочетаются, и итог их не подведен.

У Толстого о «не счастье» рассказано в последних главах «Анны Карениной», в истории любви Вареньки и Кознышева.

«После молчания можно было легче сказать то, что она хотела сказать, чем после слов о грибах; но *против своей воли*, как будто нечаянно, Варенька сказала:

— Так вы ничего не нашли?..»

Кознышев хотел воротить ее к первым словам о ее детстве; «но как бы против воли своей, помолчав несколько времени, сделал замечание на ее последние слова...»

И все было кончено. «Не счастье» вступило в свои права.

Несколько лет тому назад показывали в Париже фильм — название его не запомнилось. Да он и не был особенно интересен и, кажется, успехом не пользовался. Но он оставил в памяти отблеск какой-то трагической печали. И это была повесть о «не счастье».

Сюжет запомнился плохо. Какие-то переселенцы в Америке. Костюмы начала прошлого века. Среди этих переселенцев жених и невеста. При посадке на корабль толпа их разъединяет. И вот потом они всю жизнь ищут друг друга. Иногда на какой-нибудь ферме он находит ее след. Ему говорят, что она здесь была и уехала вниз по реке. Иногда она слышит о том, что он проходил через эти места и справлялся о ней. И никогда и никак не могут они встретиться. Показан на широкой реке маленький узкий островок. Две лодки должны на реке встретиться. В одной он, в другой она. Но маленький узкий островок — символ «не счастья» — разделил их, и они прошли мимо друг друга.

Идет их долгая унылая жизнь. И вот, наконец, встреча.

Она — старая старуха, служит сестрой милосердия в ночлежке. Приносят умирающего нищего старика. Это он, тот, кого всю жизнь она искала и кто искал ее. Он умирает, положив голову ей на колени, но он не узнал ее, и она не знает, что это он. «Не счастье» и в этот последний миг, который мог бы увенчать тоску и томление всей их жизни, и в этот миг не дано им друг друга увидеть.

И вот в то время, как развертывалась на экране эта история, вспомнились мне другие новеллы о «не счастье», не выдуманные, а созданные самой жизнью.

Вспомнились три. Но, наверное, я знаю еще и еще.

Расскажу эти три.

История Н. А.

Н. А. не то что легкомысленная, а скорее беспокойная, дважды разведенная и ко времени, к которому относится новелла о ее «не счастье», уже безнадежно смирившаяся. Время действия — война, весна пятнадцатого года.

Муж Н. А. назначен по службе в Архангельск. Н. А. едет с ним. Унылый северный город, в эти дни превращенный в важную военно-морскую базу, жил напряженной, необычной жизнью.

В Двину вплывали огромные заморские корабли, выгружали снаряды, порох, аэропланы и оружие. По улицам расхаживали чужие матросы, смотрели на людей невиданными в тех краях черными глазами, говорили на неслыханных языках.

Русские военные суда уходили в море в неизвестные сроки в неизвестном направлении, и никто не знал, когда они вернутся и вернутся ли вообще.

День и час их отплытия были военной тайной. Направление и цель — тоже. Знало обо всем этом только высшее военное командование. Но, как всегда на свете бывает, кто-нибудь пробалтывался, начинали «ходить слухи», немецкие шпионы слухи эти ловили и высылали подводные лодки подстерегать добычу.

Легкомысленные моряки в письмах к родным часто пробалтывались об этих просочившихся военных планах. Чтобы хоть немножко, по мере сил, помешать этой опасной болтовне, в городе была введена строгая цензура писем. Военные власти обратились за помощью к женам официальных лиц, поручив им чтение отсылаемой из города корреспонденции. Таким образом, Н. А. получала каждый день пакеты писем, которые должна была прочесть. Места опасные в этих письмах вымарывались специальной краской, затем письмо снова запечатывали и отправляли по назначению. Если содержание письма было сплошь на запретные темы — письмо уничтожалось целиком.

— Было прямо удивительно, — рассказывала Н. А., — до чего наши моряки не сознавали той опасности, которой они подвергали самих же себя своей болтовней.

И вот как-то среди груды этих писем прочла Н. А. одно, адресованное какой-то даме, «ее превосходительству», в деревню, в одну из центральных губерний России. Подписано письмо было именем без фамилии.

Содержание его ничего недозволенного военной цензурой не заключало. Это было нечто вроде дневника, вроде исповеди, о настроениях очень тонких и сложных, о Владимире Соловьеве («Смысл любви»), впечатления от только что слышанных во время богослужения заповедях блаженства, о больных белых ночах. И все, что писал этот человек, было так изумительно, так непохоже на всю пошлую дребедень этого вороха тайных документов человеческих отношений и вместе с тем было так единственно близко Н. А., точно письмо это написал именно ей единственно близкий ей человек, ею выбранный, на всю жизнь один.

Она читала, и перечитывала, и чуть плакала. А в конце письма увидела свое имя. Автор письма упомянул вскользь, что где-то ему показали Н. А., и он даже хотел познакомиться. Упомянул вскользь потому, что это было связано с каким-то другим событием местной жизни, малоинтересным, но все же более значительным, чем возможная встреча с Н. А.

Письмо это, само по себе необычайно значительное, да еще вдобавок на фоне всей этой суетни, болтовни и непристойной брехни, пронзило душу Н. А. Словно судьба нарочно наказала ей:

— Вот смотри. Есть на свете человек, для тебя созданный, но ты никогда не узнаешь его.

Как же быть? Написать даме, которой адресовано это письмо? Спросить имя отправителя? Но вообще как-то неприятно было признаваться, что, хотя и по долгу, но читаешь чужие письма, а тут еще такое странное любопытство, совсем уже неприличное.

Пока она раздумывала, денщик, на обязанности которого лежала отправка просмотренных писем, заклеил и это и отнес вместе с другими на почту.

Имя и адрес дамы Н. А. забыла. Путей к человеку, которого она полюбила, не было. Она никогда не нашла его. Но никогда не полюбила другого.

Вторую новеллу мне рассказали так:

— Это было давно. Мне было тогда двадцать лет.

Ночь. Море. Гроза. Переход из Астрахани в Баку. Всех понемногу укачало. На палубе осталась я одна. Стою на самом носу, уцепилась за поручни. Нос поднимается все выше, выше и вдруг сразу ухает вниз. Волна обдает меня с головы до ног. И страшно, и дико, и весело. Кричать хочется от восторга и ужаса.

Вдруг голос рядом:

— Держитесь крепче! Волна вас собьет. Давайте руку!

И вот около меня неизвестный человек. Лицо его едва могу различить. Он берет мою руку и начинается что-то совсем странное, то, чего не бывает. Мы говорим жадно, спешно, точно давно знаем друг друга и только не было времени, чтобы сказать все. Мы не говорим своих имен и не спрашиваем их; это не важно и не нужно. Мы вне жизни. Мы не на земле. Мы в двух стихиях — над нами рвет тучи небесный огонь, и мчит нас море. И, кроме нас, на свете никого.

— Вы знаете, — говорит он, — я ведь жених. Завтра моя свадьба.

— И я невеста, — отвечала она. — Я выйду замуж в сентябре.

— Пустяки! — кричит он, перекрикивая ветер. — Вон как море венчает нас.

И волны мотают их из стороны в сторону, бросают друг к другу и заливают с головы до ног.

— Как мы счастливы! Если бы всегда так!

— У вас так никогда не было?

— Ни-ко-гда.

— Я так и знал. Никогда и не будет.

И кто-то в клеенчатом капюшоне — должно быть, помощник капитана — подошел к ним и посоветовал сойти вниз.

— Здесь не безопасно.

Они, шатаясь и держась друг за друга, спустились по трапу, и там, у дверей ее каюты, он протянул ей записную книжку.

— Что-нибудь!

Она быстро нарисовала двух птиц, летящих в разные стороны, и нацарапала отрывок из Гейне:

Если б мы не дети были,
Если б слепо не любили,
Не встречались, не прощались,
Мы б с страданием не знались.

К утру буря стихла.

Подходили к Баку.

Она искала глазами своего ночного друга. Его не было.

Через пятнадцать лет в Кисловодске (это было уже во время войны) ей представили очень симпатичного, очень чиновного пожилого господина. Господин этот явно стал искать встреч с нею и раз, когда они, гуляя, случайно отделились от своих спутников, спросил:

— Какая была самая счастливая минута вашей жизни?

Она, не задумываясь, отвечала:

— Не самая счастливая, а единственно счастливая — давно, на корабле во время бури.

— Так, — сказал он. — Я не ошибся. Узнаете вы это?

Он открыл свой бумажник и из бокового карманчика вынул пожелтевший листок.

Она прочла:

Если б мы не дети были...

— Узнали? — снова спросил он.

Она молчала.

— Вы потом вышли замуж?

— Нет. Я отказала своему жениху. Я вышла замуж много позже и за другого.

— А моя свадьба расстроилась. Я нарочно вылез ночью на первой попавшейся пристани, чтобы не приехать туда, где меня ждали. Я потом долго искал вас и, конечно, не нашел. Я ведь даже имени вашего не знал. Я так никогда и не женился.

Он замолчал и как будто ждал ответа.

И она ответила:

— Пойдем. Мне пора домой. Меня ждут мои дети.

Третья новелла, последняя, самая простая и самая страшная.

Они поссорились — жених и невеста. Он уехал, но вынести разлуки не мог. Он послал ей отчаянное письмо, написал, что будет ждать ее ответа ровно восемь дней.

Письма этого, с маленькой неточностью в адресе, она не получила.

Он уехал далеко. В Шанхай. И там от тоски и отчаяния умер.

Случайно узнав об его отъезде, она стрелялась. Стрелялась неудачно. Ослепла. Осталась калекой на всю жизнь.

И через восемнадцать лет это неполученное письмо разыскало ее в больнице для безнадежно больных.

Сиделка, нагнувшись над ее койкой, прочла его вслух.

Но она вряд ли услышала его.

Она уже умирала.

Мы, злые

Ольга Сергеевна поднималась медленно, качалась из стороны в сторону. Очень устала. Смотрела сосредоточенно на кастрюльку, которую держала двумя руками. Смотрела — не разлить бы молоко.

И уже с четвертого этажа расслышала этот знакомый ей крик:

— А-а-а-а...

Знакомый крик. Мучительный.

— Маруська кричит.

Добралась до пятого. Открыла своим ключом.

— Марусенька, чего же ты кричишь, словно маленькая? Ведь ты же знаешь, что я пошла за молоком. Ведь для тебя же!

В столовой в углу на диване лежит больная Марусенька, девятилетняя, худая, желтая, злая.

— Не хочу я твоего молока, — говорит она скороговоркой и снова начинает кричать:

— А-а-а-а...

Ольга Сергеевна ставит на стол кастрюлю, опускается на колени перед диваном.

— Деточка моя, милочка! Что? Болит очень? Ножка болит?

Девочка толкает ее в грудь худенькой грязной ручкой.

— Ну не надо сердиться на маму, — просит Ольга Сергеевна. — Тебе вредно сердиться, кошечка моя. У тебя сердечко слабое. Будешь спокойная, скорее поправишься. Хочешь, я принесу тепленькой водички, помоем тебе ручки? Я в одну минуту согрею водички?

Девочка толкнула ее еще раз и демонстративно отвернулась лицом к стене.

— А папа еще не вставал?

Но девочка молчала.

Приоткрылась дверь в крошечную темную комнатушку, выглянуло небритое, одутлое лицо.

— Я сейчас, Олечка, — сказало лицо испуганным шепотом. — У тебя нет случайно папироски?

— Ты же знаешь, что я не курю, — раздраженно ответила Ольга Сергеевна и стала на спиртовке кипятить молоко.

— Ну, конечно, я знаю, — поспешило заверить лицо. — Я только так, на всякий случай.

— Ты бы все-таки поторопился, — сказала Ольга Сергеевна после паузы. — Тебе назначено в девять. Надо же побриться.

Он добродушно потрогал свои щеки.

— Да, признаюсь...

— Ну так поторопись же. Опоздаешь — возьмут другого. И зайди к мадам Аллан, спроси деньги за светр. Я ведь не могу уйти из дому. Выходит, что я даром работаю.

— Да, да, — торопливо соглашался он. — Зайду, и спрошу, и все устрою, только ты не раздражайся.

— Я не раздражаюсь, но вот уже больше недели, как я тебя об этом прошу. Ведь дома нет ни гроша, должен же ты понимать. Ну, чего же ты ждешь, Господи!

Он засуетился, испуганный, с бегающими глазками.

Она подошла на цыпочках к дивану, нагнулась, заглянула в лицо девочке. Повернулась, погрозила мужу.

— Кажется, спит. Ведь всю ночь плакала.

— Ты бы прилегла, — сказал муж.

— А белье? Я не могу лечь, я должна стирать.

— Но ведь ты так сама...

Она с раздражением отмахнулась от него.

Он стал спешно одеваться, спотыкаясь, роняя вещи, ползая по полу за запонкой.

— Ты меня с завтраком не жди, — сказал он, уходя. — Я, вероятно, пройду еще куда-нибудь на рекогносцировку. Насчет местишка.

Он попробовал комически подернуть бровью при слове «местишко». Но вышло так жалко и неумело, совсем уж некстати, что он сам это почувствовал и заторопился уйти.

Она проводила глазами его сгорбленную спину в выгоревшем пальто с чужого плеча, и ноющей жалостью заболела душа.

— О-о! — застонала она. — Еще за этого олуха мучайся!

Она встала, растирая усталую спину. Навалила мокрого белья в лоханку, залила кипятком. Посмотрела на свои пальцы, вспухшие, красные. И вдруг вспомнилась красивая, наглая рожа, с гладко склеенными волосами — bien gommé![1] Рожа улыбнулась и пропела говорком:

— Ce n'est que votre main, madame![2]

«Я, кажется, засыпаю, — подумала она. — А нужно скорее сварить кашу Маруське, а потом стирать».

В дверь постучали.

— Кто там?

— Простите, Ольга Сергеевна! — прогудел за дверью женский бас. — Мне необходимо, на минутку.

Ольга Сергеевна вздохнула с дрожью, открыла.

— Как живете, моя дорогая? Насилу вас разыскала.

Крупная дама с пышным бюстом, подпертым старинным корсетом, но с лицом длинным и бурым, вошла и села на стул.

— У меня ребенок болен, — вполголоса предупредила Ольга Сергевна. — Простите, мне сейчас трудно.

— Болен? А что с ним? — равнодушно спросила гостья.

— Ревматизм. Суставной. Слабое сердце.

— Ну, ничего, поправится, — успокоила гостья и улыбнулась.

---

[1] Прилизанными (*фр.*).

[2] Однако это ваша рука, мадам! (*Фр.*)

— Очень серьезно болен ребенок, — злобно оборвала ее улыбку Ольга Сергеевна. — Вчера ночью так плохо было, что пришлось первого попавшегося врача звать.

— Ну, и что же? — спросила гостья и, ожидая ответа, вынула из сумки зеркальце и стала затирать пуховкой носовой хрящ. — Что сказал врач?

— Сказал, что ему нужно заплатить пятьдесят франков.

— Ха-ха! — рассмеялась гостья. — А я к вам по делу. Мы организуем вечер свободного искусства. Название принадлежит мне. Мэри Бобова продекламирует «Коробку спичек Лапшина». Вещь глубоко патриотическую и с массой ностальгии. Затем решено поставить скэтч. И вот тут мы и рассчитываем на вас. Вы такая энергичная. Вы можете познакомиться с разными выдающимися артистами и привлечь их к нам. Нет, нет, нет! Ничего не хочу слушать. Вы обязаны. Нельзя в наше время жить узко-эгоистической жизнью. Каждая из нас должна отдавать дань общественности.

— Ах, боже мой, — всплеснула руками Ольга Сергеевна.— Ведь вы же видите! Я шесть ночей не спала и днем работаю, как поденщица. Мне вон, смотрите, причесаться некогда.

— Ну, что ж! — улыбнулась гостья. — К нашему вечеру и причешетесь. А насчет туалета — вы всегда сумеете с вашим вкусом что-нибудь освежить. Здесь рюшечку, там бантик.

— Да, да, — прервала ее хозяйка. — Вот на это пятно рюшечку, а на эту дыру бантик.

— Я знаю, что вам трудно, моя дорогая, — продолжала гостья. — Но все мы должны идти на жертвы. Ведь это же, поймите, это в пользу кружка северо-восточных институток.

— Да у меня ребенок болен! Что вы, не понимаете, что ли?

— А там, у институток, может быть, десять ребенков больны.

— Вы меня простите, — привстала Ольга Сергеевна. — Я сейчас очень занята. У меня вон белье намочено.

Плебейское выражение «белье намочено» ужаснуло ее саму. И она злобно повторила:

— Понимаете? Намочено белье.

Гостья приподняла брови, словно прислушивалась к отдаленной канонаде.

— Белье? Что с вашим бельем?

— Ровно ничего. Стирать сейчас буду.

— Ах, дорогая моя, — сочувственно воскликнула гостья. — Бросьте! Искренно вам советую — бросьте. Отдайте в прачечную.

— У меня нет денег, — дрожащим от бешенства голосом ответила Ольга Сергеевна.

— А здоровье? Испортите здоровье, дороже обойдется. Здоровье надо очень беречь. У вас муж. У вас ребенок. Подумайте о них.

— Я о них и думаю, когда стираю их белье.

— Пустяки, пустяки. Я серьезно вам говорю — отдайте в прачечную.

Ольга Сергеевна улыбнулась дрожащими губами. Улыбалась, чтобы не заорать во все горло: «Пошла вон, дурища!»

Накормила девочку. Закончила стирку.

«Отчего он так долго не идет? — думала про мужа. — Боится сказать, что ничего не нашел».

Вспомнилась одна старая ведьма, которая, как встретится, так и начнет крякать:

— Что же это ваш Андрей Андреич так все ничего не может найти? Вообще считаю, что наши мужчины привыкли здесь на жениных шеях сидеть.

«Да, боится вернуться, — продолжала она думать.— И не пойдет он сегодня к Шуферу. Ни за что. Не сможет. Они все ему перед носом двери закрывают. Надоел он им. Перманентный проситель. О-о!»

Она сжала руку в кулак и укусила сгиб указательного пальца.

— Будь они все прокляты!

Девочка притихла. Может быть, прилечь? Все тело болит. И такая тоска! И такая злоба! Ведь есть же люди со светлой душой: «И за скорби славит Бога Божие дитя». Отчего у меня все в душе выжжено? Одна злоба осталась, как пламенный пепел. А тот, бедненький, близкий, жалкий, бегает сейчас, унижается, чтобы вернуться ко мне гордым своим унижением. Выклянчил, мол, кое-что.

— А-а-а! — закричала девочка.

Ольга Сергеевна вскочила.

— Марусенька, чего ты?

— А-а-а! Поставь лампу на пол. Сейчас же поставь лампу на пол!

— Милочка моя, зачем? Комната маленькая, я задену, разобью.

— Поста-а-авь лампу на пол! — истерически кричала девочка.

— Ну хорошо, хорошо. Ну вот, поставила.

— Надо было раньше поставить! — ревела девочка.

И мать, с исступленным лицом, с остановившимися глазами, схватила ее за плечи:

— За что ты мучаешь меня? Что я тебе сделала? Ведь ты сознательно, нарочно, злобно, дни и ночи, дни и ночи...

И почувствовав в своих руках хрупкое больное тельце, вся исходя любовью и жалостью, прижала его к себе, дрожа и плача.

В дверь тихо стукнули.

Доктор. Милый русский доктор.

— А здесь, кажется, ревут? — спокойно сказал он. — Я случайно забрел. Мимоходом.

— Да, — сказала Ольга Сергеевна. — Я знаю. Вы каждый день мимоходом. К вам в Пасси дорога идет как раз мимо нас, мимо Гар дю Нор. Я знаю.

Доктор поднял на нее усталые глаза.

— Скажите, доктор, отчего не могу я, как подвижники, обручиться бедности и наслаждаться этим счастливым союзом? А помните, у Достоевского брат старца Зосимы вдруг просветлел и истек умилением. «Пойдемте, — говорил, — и будем резвиться, и просить прощения у птичек». Отчего я так не могу?

— Н-да, — сказал доктор. — У нас в психиатрических лечебницах эти случаи наблюдаются довольно часто. Эти умиленные просветления. Они неизлечимы и под конец иногда принимают буйную форму.

— Значит, это ненормально? Ну, и на том спасибо.

Вечер был беспокойный. Муж не возвращался. Девочка хныкала.

— Ма-а! Расскажи мне что-нибудь. Надо же больного развлечь.

— Какая-то ты старая, девочка. Все-то ты знаешь, — вздыхала Ольга Сергеевна. — Ну, вот, слушай. У меня была племянница, маленькая Верочка...

— Знаю, знаю, — сердито перебила Маруся. — Ты мне уж это сто раз рассказывала.

— Ну так я тебе расскажу другое. Был такой писатель Достоевский. Так вот он сочинил про Старую Клячу. Навалились на телегу мужики и хлещут клячу прямо по глазам, а она уже не в силах двинуться. Издыхает. Только он тут немножко недосочинил. Тут надо бы так досочинить, что стоял на улице просветленный господин. Он смотрел на клячу с отвращением и говорил:

— Животное ты! Скотина! Подними голову, взгляни выхлестнутыми глазами на это небо, в котором зажигаются алмазы звезд, и на этих птичек, и на цветочки. Взгляни и, воздев копыта, возликуй, зарезвись и благослови мир за красоту его. Ты спишь, моя кошечка? Хочешь молока? Я согрею, я не устала, я ничего... Хочешь?

Сон? Жизнь?

Русская душа любит чудеса и все, граничащее с ними: предчувствия, приметы, сны. Особенно сны.

Я никогда не слыхала, чтобы француженка или немка стали рассказывать кому-нибудь виденный ими сон, какой бы он ни был удивительный.

Русские же души чрезвычайно к этому склонны.

Удивительные сны рассказывали у нас и деревенские старухи, и городские мещанки, и простецкие купчихи, и утонченные дамы. Сновидения всегда играли роль в русской жизни, с ними считались, иногда на них основывали свои поступки и решения.

Мне часто приходилось слышать о пророческих снах и даже проверять их правдивость. Среди них было много удивительных, интересных и прямо чудесных. Но из всех этих историй я выделяю одну, очень странную, единственную, с которой пришлось встретиться только один раз в жизни.

Я могу рассказать ее точно и подробно, потому что особа, открывшая мне свою тайну, никогда моих строк не прочтет. Там, где она теперь, ни газет, ни книг уже не читают.

Мы были знакомы довольно долго, но я никогда не сближалась и не дружила с ней. Не потому, что не хотела, а просто как-то не пришлось.

Это была женщина лет сорока, одинокая, кажется, чья-то разведенная жена, довольно культурная, хорошая музыкантша, ни дурна, ни красива, выделялась какой-то жемчужной бледностью, которую никакими румянами не проймешь.

Очень запомнилось выражение ее лица — страшно напряженное в глазах и бровях и с совершенно безвольным большим ртом. Истерическое лицо. Женщины с такими лицами либо влюбляются до зарезу, либо трагически не любят того, кто любит их.

Мы часто встречались, но нас не тянуло друг к другу, и, встречаясь, мы друг с другом не разговаривали.

И вот как-то в довольно большом обществе оказалась я с ней рядом на диване.

Я была усталая и нервная, сидела, полузакрыв глаза. Сидела и рада была, что не нужно ни с кем разговаривать. И вдруг чувствую тихое прикосновение к моему плечу.

— Отчего вы такая? — спрашивает меня моя соседка.

— Не знаю. Какое-то странное состояние. Точно все это мне снится.

Моя бледная соседка странно оживилась, будто услышала невесть какую интересную новость. Она быстро повернулась ко мне:

— Как вы сказали? Вы серьезно думаете, что вам это снится? Дело в том, что я сейчас как раз об этом думала. Думала, что мне это снится.

— Ну, так нам нужно скорее решать, — засмеялась я, — кому из нас двоих этот сон снится.

— Подождите, не смейтесь. Если бы вы только знали, как меня измучили сны, вы бы не смеялись.

Она сказала это с такой страстной тоской, как будто даже немножко театрально. Но, вглядевшись в ее напряженные глаза, я ей поверила.

— У вас этого никогда не бывало, — спросила она, — чтобы все один и тот же сон... то есть не один и тот же по форме, а по главному содержанию? Это трудно объяснить в двух словах.

— Если это какой-нибудь кошмар и все на ту же тему, то ведь теперь от этого очень удачно лечат. Вы слышали? По Фрейду.

— Ну, конечно. Только это не то. Вся беда в том, что я не уверена, что это сон. Может быть, сон-то вовсе не то, а именно это. То есть что вот вы рядом со мной, и я вам обо всем рассказываю.

— Не понимаю, — ответила я.

— Подождите, — остановила она. — Вы вообще интересуетесь снами? Вернее, хотите ли, чтобы я вам рассказала? Посмотрите направо. Кто это стоит в дверях? Вот тот высокий, черный...

— Как кто? Это профессор Д. Ведь вы же его отлично знаете!

— Конечно, знаю. А на диване сидит его жена, вон та, в желтом платье, правда?

— Да, это его жена. Но что же из этого?

— Вот они мне всегда так и снятся в этом сне, в том, в котором мы с вами сейчас находимся. А в жизни, то есть в другом сне, — я ведь не знаю, где сон, а где жизнь, — там он другой. Сейчас он для меня абсолютно чужой человек, даже малоинтересный. Впрочем, нет, он интересный, но я к нему равнодушна, да и он ко мне тоже. А в другой жизни мы любим друг друга до исступления. Там он свободен, там он мой.

— И вы часто видите этот сон?

— Не знаю, видения того сна, как и этого, сливаются в одну непрерывную линию.

— А люди, которые окружают вас и вообще, которых вы здесь знаете, вот, например, я или хозяева этого дома, — они все и «там» тоже с вами?

Она напряженно сдвинула брови:

— Не могу вам ответить. Я ведь не все помню. Точно так же если бы «там» меня спросили об этом сне, где вот мы сейчас с вами разговариваем, я, пожалуй, не все бы помнила. Так, кое-что, очень туманно. А может быть, и помнила бы, но сейчас об этом не знаю.

— Но мне кажется, — сказала я, — что во сне все всегда как-то точно подернуто пленкой. Не так ясно, не так рельефно, как в жизни. И потом, во сне многое происходит вне логической последовательности. «Там» у вас, наверное, бывают всякие чудеса.

— Не помню.

— А скажите, вы там всегда в том же помещении?

— Нет, так же, как и здесь, окружающее меняется.

— Но после «той» жизни вы ведь всегда просыпаетесь у себя на постели?

— Так же и после этой.

— Вы, кажется, даете уроки музыки?

Она сдвинула брови, точно силясь вспомнить:

— Да, конечно.

— А там?

— Не помню. Нет, я, кажется, там уроков не даю.

— А он там чем занимается?

— Он?.. Тем же, что и здесь, потому что я вижу, как он готовится к лекциям. Знаете, недавно я ему сказала «там». Я сказала: «Мне иногда снится, что у тебя есть жена и что ты меня совсем не замечаешь». А он так грустно-грустно ответил: «И мне часто снится, что ты для меня чужая, и я всегда очень тоскую в этих снах, и сам не понимаю, откуда эта печаль».

— Вы думаете, что ему снится тот же сон?

— Теперь я почти в этом уверена.

— А если спросить? Спросите у него!

— Ах, — отвечала она. — Я часто об этом думала. Но я не могу решиться. Во всяком случае, «там», где он такой близкий, я бы скорее решилась. Здесь я совершенно не представ-

ляю себе, как бы я вдруг сказала, что постоянно вижу его во сне моим мужем. И глупо как-то, и неловко.

— Тогда расскажите ему все «там» и расспросите его подробно. Расспросите, снится ли ему так же «эта» жизнь, и такая ли она, как у вас?

— Да, мне ужасно хочется дать какой-нибудь знак из той моей жизни в эту, из этой в ту.

— Отчего вы не познакомитесь с ним поближе здесь? Вы могли бы подружиться и дружески все рассказать.

— Не могу. Здесь я не люблю его. Он очень холодный, сухой. И потом, когда я говорю с ним, у меня всегда такое дикое сердцебиение, что я совсем не владею собой. А «там» мне ужасно не хочется говорить об «этой» жизни. Мною овладевает совершенно невыносимая, прямо какая-то предсмертная тоска, точно, если я договорю до конца, мы сейчас же погибнем, потеряем друг друга, расстанемся навеки, умрем. Но все-таки надо будет решиться, или здесь, или там.

— А где вам лучше живется?

— Не знаю. От той жизни у меня остается в сердце как бы след большой печали. От этой жизни — пустота и отчаяние. Все-таки сохранить бы я хотела ту.

— Двойная жизнь, — подумала я вслух.

— Нет, — воскликнула она. — Больные двойной жизнью ничего не помнят о той, из которой ушли. Они, эти жизни, резко разграничены. А я помню почти все. И главное: я-то ведь в обеих жизнях та же самая. Личность моя неизменна. Значит, это не двойная жизнь. Это сновидение.

Она как-то позвонила мне по телефону и просила повидаться.

Увиделись.

— Знаете, что я сделала? — взволнованно сказала она. — Я рассказала ему почти все. И мы решили дать друг другу знак в другой жизни. Ему кажется, что он тоже видит тот же сон, о том, что мы чужие, но он ни разу не мог его запомнить. И вот мы условились. В следующий раз, когда мы увидимся во сне, то есть вот в этой жизни, где я сейчас, он

должен сказать определенную фразу. И тогда я пойму, что ему снится тот же сон.

— Отчего же вы не условились просто сказать друг другу в жизни то, что вы говорите во сне?

— Не знаю; может быть, оттого, что очень трудно таким, друг другу чужим, заговорить об этом. Теперь слушайте. Он сегодня позвонил мне по телефону, — он раньше никогда не звонил, — и очень взволнованно просил прийти к ним. У них кто-то будет. Почему позвонил он, а не его жена? Если мы завтра увидимся, то это и будет первая встреча после нашего условия. Значит, завтра он скажет ту фразу. Я ужасно волнуюсь. Мне кажется, что я заболею и не смогу к ним пойти.

— А что это за фраза, которую он должен сказать?

— «В небе слышится шорох крыльев».

— Странная фраза.

— Мы нарочно такую придумали. Ее нельзя не заметить, и, кроме того, нужно было бы завести разговор на какую-нибудь специальную тему, чтобы можно было свободно вставить эти слова.

Через два дня она позвонила снова:

— Он сказал! — с каким-то восторженным отчаянием кричала она. — Он сказал! Приходите ко мне скорее! Я лежу. У меня страшный грипп. Я уже вчера была совсем больная и все-таки пошла к ним. Меня весь вечер трясло, и я все ждала, как он скажет. А потом он там о чем-то разговаривал, а меня задержала у стола его жена с какой-то ерундой. И вдруг слышу его голос. Так отчетливо, прямо проскандировал слог за слогом... Это не могло показаться... «В небе слышится шорох крыльев»... Когда я обернулась, он еще договаривал эту фразу. Это мне не показалось. Слово «крыльев» он договорил, когда я уже смотрела на его губы. Но он не смотрел в мою сторону. Он полузакрыл глаза. Я подбежала, крикнула: «О чем вы говорите?». Он молчал и смотрел мимо меня. Кто-то ответил за него: «О перелете птиц». Как мне быть? Приходите, ради бога, скорее. Я одна совсем замучаюсь. Что мне делать? Я больше не видела его во сне. Неужели он ушел от-

туда навсегда? Я так и знала, что не надо делать этого опыта. Приходите скорее!

На ее зов я могла прийти только через два дня. Но меня к ней не пустили. У нее оказался не грипп, а сильнейшее воспаление легких. Через три недели увидела в газете объявление о ее смерти.

Потом слышала, что умирала она без сознания. Значит, умерла хорошо, в той жизни, которую любила и в которой была любима.

Героя ее снов иногда встречаю. Что-то мешает рассказать ему то, что я знаю. Но мне бы хотелось, чтобы эти строки попались ему на глаза. И если он жил в тех снах, и, может быть, и сейчас живет и любит (во сне любимые не умирают), он узнает то, чего не знал, и круг замкнется.

Часы

Каждый день в определенное время, как на башенных часах средневекового города, появляются на нашей улице всегда те же самые фигуры.

К ним так привыкаешь, что даже не видишь их, но если какая-нибудь из марионеток исчезнет, то чувствуешь, словно чего-то не хватает, а чего именно — не сразу и вспомнишь.

Башенные часы бьют двенадцать. Открывается дверца, медленно один за другим идут двенадцать апостолов. Внизу шевелится скелет с косой. На самой вышке дикий петух бьет крыльями и кричит «ку-ка-ре-ку». Где-то еще между смертью и апостолами движутся знаки Зодиака.

Ровно в двенадцать часов невысокий человек, узкоплечий, но без шеи, с клюквенно-красными щеками, в грязном шарфе и кепке, подходит к двери бистро. Черные выпученные глаза его в красных жилках сердито моргают. Он недоволен. Он протестует против силы, которая гонит его в бистро. Но с этой силой спорить нельзя, и он идет.

Ровно через час он выходит. Лицо его из клюквенного перекрашено в темно-вишневое. Очутившись на улице, он останавливается в каком-то негодующем удивлении, словно ничего подобного увидеть не предполагал. С искренним отвращением смотрит он на почтовый ящик, невинно голубеющий на серой стене, на прыгающего по низкому подоконнику воробья и с подлинной ненавистью на двух тонконогих девчонок, подскакивающих на своих тротинетках. У него клокочет в горле. Он делает широкий пьяный жест, точно призывает всех к молчанию, но ничего не говорит. Он просто всем своим существом — лицом, глазами, фигурой — проклинает мироздание, плюет и уходит.

Воробей прыгает в свое удовольствие, тонконогие девчонки пищат, почтовый ящик с аппетитом глотает два толстых письма и открытку, которые сует в него франтоватый и весело-озабоченный молодой человек.

Мироздание уцелело.

У дверей мелочной лавки бабий клуб. Клуб обязан своим существованием характеру патронши-лавочницы. Она, что называется, «хорошая коммерсантка». В Париже хорошими коммерсантками называются не те, которые хорошо торгуют, а те, которые хорошо болтают с покупательницами. Хорошая коммерсантка знает по именам своих клиенток и знает, о чем с каждой нужно говорить и о чем ее спрашивать. Торгует хорошая коммерсантка не торопясь, потому что стоящие в очереди бабы тоже интересуются послушать, у кого что случилось. Иногда беседа бывает такая захватывающая, что покупательницы даже забывают, зачем они пришли и что именно им нужно. Уйдут, дома вспомнят и бегут обратно. Поэтому в лавке всегда толкотня, и репутация у лавки высокая.

— Там всегда столько народу, что не продерешься. Первая лавка на весь квартал.

Ровно в двенадцать часов четыре минуты, когда на средневековой башне должен забить крыльями петух, отделяются от бабьей толпы три макбетовские ведьмы и, встав треугольником, носами друг к другу, начинают, пришептывая,

варить ядовитое варево. Простым глазом ни котла, ни варева не видно. Так только — легкий дымный туман.

У каждой ведьмы на руке висит кошелка. У одной ведьмы торчит из кошелки мертвая синяя баранья нога. У другой из кошелки скалит зубы мертвая свиная морда. У третьей петушья лапа с черной петушьей шпорой.

Ведьмы шепчут, шипят, как гуси, вытянув шею:

— Она его сожгла, — говорит одна и крутит глазами.

— Преступление! Преступление! — шипит другая.

— Соседи услышали запах гари и постучали в стенку. Тут все и открылось.

— Какая жалость! Такой чудный! И погиб! Я его видела в лавке у мясника. Такой огромный, такой жирный!

— Тссс... Вот она!

«Она» быстро проходит с кошелкой на руке, еще не ведьма, еще простая баба-кухарка, с озабоченным и несчастным лицом. Прошла мимо, не глядя. Ведьмы вытянули ей вслед головы, как гуси, и тихо шипели.

— Идет как ни в чем не бывало. Если бы я сожгла такого чудесного индюка, я бы стыдилась на люди показаться.

И все три качают головами и крутят глазами.

— И если «он» узнает, он на ней не женится. Разве это хозяйка, такая жена разорение всему дому!

— Конечно, он узнает.

— Надо, чтобы он узнал.

И они тихо, по-гусиному, шипят и крутят глазами. Змеиное варево варится.

Ровно в двенадцать часов восемь минут, когда скелет взмахивает своей косой, бежит по тротуару солнечный зайчик.

Бежит он, как бегают все солнечные зайчики (по стене, по потолку, по полу), бежит прыжками, зигзагами, вдруг остановится, скакнет назад, и вот сверкнул сбоку, и снова запрыгал далеко впереди.

У солнечного зайчика золотая рыжая головенка с хохолком на темени. Вся мордочка тоже вроде рыжей — золотые ресницы, золотые брови и нос в желтых веснушках.

Бежит он на задних лапах, и засунуты эти лапы в стоптанные сапожонки, потому что зайчик — человеческий детеныш, шести с половиною лет, и если скачет и прыгает, то только потому, что душа у него разрывается от полноты бытия.

Бежать по улице просто, как бегают все мальчишки, просто вперед — для него немыслимо. Он может бежать либо зигзагами, либо кругами, либо скакать на одной ноге. Иногда дело обставляется еще сложнее. Иногда он делается одновременно и всадником, и лошадью.

У лошади лицо упрямое, глаза скошены, шея дугой.

У всадника лицо бешеное, кривое, рот злобно оскаленный — ему трудно сладить с упрямой лошадью. Лошадь скачет и брыкается, а всадник, не переставая, лупит ее воображаемым кнутом по задним ногам.

Это очень сложно и требует быстрой перемены в мимике.

Гоп-гоп! — скачет упрямая лошадь.

— Э-э! — вдруг вскрикивает всадник и, бешено скривив рот, хлещет лошадь. Та ржет и брыкается, и снова всадник ее лупит.

Иногда в одном из домов около мелочной открывается в нижнем этаже окно, и молодая женщина в синем рабочем переднике подзывает и коня, и всадника и дает им поручение. Сбегать в лавку за спичками, за колбасой.

Всадник мчится, нахлестывая лошадь. Проскакивает мимо, возвращается, забывает сколько чего нужно, подъезжает снова к окну, зовет мать. А лошадь никак не может угомониться, все брыкается, не переставая. И снова прыгает по тротуару солнечный зайчик.

Три ведьмы шипят ему вслед. Они щурятся и моргают выпученными глазами. Им неприятно, что на свете может быть весело, что солнечный зайчик прыгает по серому, грязному тротуару:

— Кэль пест! — шипят они. — Какая чума!

У солнечного зайчика есть брат. Хотя и моложе его, но поведения примерного.

Брату четыре года. Он толстый и спокойный. Очень деловитый человек. Он целый день что-нибудь приколачивает и вколачивает — гвоздь, щепку, палку. Если ничего нет, крутит

пяткой ямку около тротуарного дерева. Он очень дельный. Пример его практичности известен на весь квартал. Пример этот таков: ему, толстому брату солнечного зайчика, полагалось каждое утро принимать лекарство. Лекарство было прескверное, и толстый по договору с матерью получал за каждый прием по два су. Когда же наступили тяжелые дни и пошли толки о дороговизне, толстый в одно прекрасное утро заявил, что больше по прежней цене принимать лекарство не согласен.

— Давайте четыре су.

— Да ты с ума сошел! — ахнула мать.

— Чего там! — заворчал толстый. — Теперь все так вздорожало. Я за два су не согласен. Ищите себе другого.

Так и прославился толстый на весь квартал.

Под вечер — не знаю, что изобразили бы в это время часы средневековой башни — узкоплечий человек с клюквенно-красными щеками, в кепке и с грязным шарфом появляется снова у двери бистро. В черных выпученных глазах с красными жилками отчаяние, покорность и злоба. Он уже не смотрит на проклятую им вселенную. Из всей вселенной видит он только эту стеклянную дверь, через которую просвечивает горка папиросных коробок и сифон. Остального не видно, но с тоскою и болью чувствуется.

И снова стоят у мелочной лавки три ведьмы с кошелками, и шепчутся, и утвердительно качают головами, глядя пьянице вслед. Они в чем-то сговорились и согласились.

Это значит, что пьянице скоро конец.

Но механизм нашей уличной жизни от этого не остановится.

Под вечер у станции автобуса всегда прощаются двое.

Она — маленькая, с масляными кудерьками, с горьким ротиком, с насморканным носиком, одетая заботливо — шарфик, перчаточка — все дешевенькое, старательное.

Он — гордец, на кривых ногах, в ярко-рыжем кашне, в желтых свиных перчатках.

Это она провожает его. И все что-то шепчет, и о чем-то просит.

Гордец вспрыгивает в автобус и роскошно машет рукой.

Она смотрит вслед с такой тоской и таким восторгом, точно громокопытная квадрига умчала его на Олимп, на файф-о-клок, коктейль небожителей.

Проходящий мимо нищий толкает ее плечом и ругается.

Солнечный зайчик реже прыгает по улице. Он начал учиться.

Каждое утро входит он в подъезд высокого дома и подымается в шестой этаж. Говорят, что там живет учительница, которая учит его, как выводить в тетрадках премудрые палочки и кружочки, без которых ученому человеку совершенно невозможно обойтись.

По улице солнечный зайчик бежит, как ему и полагается, зигзагами. Возвращается верхом — он же и лошадь. Очевидно, считается, что зигзагами скорее, а на ученье опаздывать нельзя.

Если входная дверь открыта, то видно, как удивительно поднимается зайчик по лестнице. Прямо шагать по ступенькам было бы слишком просто. Душа рвется, просит большего. Зайчик поворачивается к лестнице спиной и пятится наверх со ступеньки на ступеньку, и так вплоть до шестого этажа. Спускается также, пятясь, причем еще подпрыгивает. А внизу сразу вспрыгивает на лошадь, которая долго, упрямо брыкается, зато потом мчится так, что прохожие только шарахаются. Но иногда и этого мало. Иногда приходится от полноты бытия, от восторга, плещущего через край, скакать по улице винтом, штопором и при этом визжать тоненьким высоким визгом.

Ему всего мало, солнечному зайчику. В нем такая сила жизни, что, если бы сумел он ее приложить, он бы допрыгнул до солнца.

Вот уже несколько дней, как его не видно. Конечно, не сразу это заметили.

Кто-то спросил у бледной женщины в синем рабочем переднике, которая из окна первого этажа смотрела на толстого мальчика, вколачивавшего кусок жестянки в щель тротуара.

— А где же рыжий?

— Умер. Менингит, — отрывисто ответила она и, словно меняя разговор, позвала толстого:

— Робер! Иди домой.

На часах средневековой башни скелет взмахнул и опустил косу. И дверца закрылась.

Конец предприятия

День был свежий, солнечный, не по сезону весенний.

Это первое яркое солнце одновременно и веселит физически, и тихо печалит душу. Как хорошее, но грустное стихотворение. Скажут: «Ах, как чудесно!» — и вздохнут.

Но не все читают стихи и не все понимают весеннюю печаль.

Вот эта хорошенькая барышня, так заботливо причесанная и принаряженная, которая только что встретилась в автобусе с подругой, она, кажется, что-то ловила в этой весне беспокойное, когда сидела одна и рассеянно смотрела в окно. Но окликнувшая ее подруга разбила настроение, заговорила о пустом и веселом, и хорошенькая барышня почувствовала себя, глядя на некрасивую и плохо одетую приятельницу, счастливой, улыбнулась милыми ямочками на розовых щеках, поправила тугие завитушки черных глянцевитых волос и отвернулась от того, что могло помешать веселому дню.

— Ты, верно, опять на свидание едешь? — спрашивала подруга, и по голосу ее, по интонации слышно было, что ей и занятно, и чуть-чуть завидно. — Скажи правду, Аня, он тебе нравится?

Аня засмеялась и сделала откровенное лицо. Откровенное лицо — это значит глядеть собеседнику прямо в глаза. Трюк, известный всем вралям. Они в опасные моменты выкатывают глаза и раздувают ноздри.

Аня засмеялась и сказала:

— Ну, конечно. Во-первых, у него есть занятие, так что работать на него не придется, и он не будет все время торчать на глазах. Во-вторых, это вполне приличный человек, чистенький, образованный.

— Странно, — перебила подруга. — Женщина выходит замуж, так сказать соединяет свою жизнь с любимым человеком, и при этом заранее радуется, что не будет его часто видеть. Воля твоя — странно. И ты думаешь, что ты его любишь?

Аня пожала плечами:

— Какая ты чудачка! Он мне нравится, мне с ним, наверное, будет хорошо. Все-таки защитник. Женщине трудно быть одинокой. Вот, например, эта история с Лизой Дукиной. Ведь если бы ее муж не треснул по уху этого нахала...

— Так, значит, ты его любишь? — настаивала подруга.

— Ну, конечно, — нетерпеливо ответила Аня. — Хотя мама говорит, что в наше время брак по любви — слишком большая и совершенно лишняя роскошь. Если подвернулся приличный человек, так и слава богу. Мне ведь двадцать пять лет. Одиночество очень страшно, дорогая моя.

Подруга иронически опустила углы рта.

— И скоро свадьба? — спросила она.

Аня немножко смутилась и засмеялась.

— Это пока еще неизвестно. Дело в том, что он женат, ну да ведь теперь женятся исключительно женатые.

— Что ты за ерунду плетешь!

— Ну, конечно. Холостые жениться боятся, а у женатого есть навык. Ты заметь, у нас, в эмиграции, женятся либо в девятнадцать лет, либо в шестьдесят.

— А твоему сколько?

— Ему лет сорок. Но ведь это другое дело — он женат.

— Значит, разводится?

— Да, он уже начал дело. Он энергичный. Конечно, развод стоит дорого, но он много работает и все, что зарабатывает, тащит адвокату. Он даже говорил, что его жена открыла шляпную мастерскую, так что денег с него, слава Богу, не тянет. Нет, он молодчина.

— А ты его жену не видела? — с любопытством спросила подруга.

Аня засмеялась.

— Нет, не видала. Говорят, какая-то коротконогая.

— А детей у них не было?

— Н-не знаю. Об этом он ничего не говорил. Кажется, что нет. Я, знаешь ли, не люблю вести разговоры на неприятную тему. Это уже его дело, все эти дрязги. Я хочу быть светлым лучом, хочу, чтобы наши встречи были солнечными, радостными, всегда красивыми. Поверь, что только таким способом можно чего-нибудь добиться.

Подруга молчала.

— А потом, — продолжала Аня, — к чему эта глупая манера «ам слав»[1], непременно растравлять человеку душу? Что он меня любит — это ясно, иначе не бросил бы свою коротконогую дуру и не бухнул бы все, что было денег, на развод. Наверное, ему и так все это трудно дается, а тут еще я, как полагается русской женщине с глубокой душой, начну его пиявить: «Страдает ли твоя жена? Может быть, ты из-за меня обидел деток?» Вздор ведь все это. Если бросил, значит, разлюбил, и не я, так другая подцепила бы его.

— Ну, что ж. Тогда и было бы не у тебя, а у другой неладно на душе.

— Ах, как глупо!

Аня сердито отвернулась.

— А скажи, — спросила подруга, — разве тебе не интересно было бы посмотреть на его жену? Я бы не утерпела. Тем более, что это так просто, раз у нее шляпная мастерская. Ты всегда можешь пойти заказать шляпку. Я бы на твоем месте пошла посмотреть, какая она.

— Разве это так важно? Ну, я вылезаю. Мне в кафе Дюпон. Прощай.

На террасе кафе народу было много. Аня вынула зеркальце, попудрилась и обвела глазами столики.

— Где же он?

Он сидел в углу перед стаканом пива и, низко нагнувшись, что-то чиркал в записной книжечке, должно быть, подсчитывал. На минуту поднял голову и, не видя Ани, опустил снова.

Аня заметила, что лицо у него озабоченное и желтое. Некрасивое лицо. Ну, да все равно.

---

[1] Славянской души (от *фр.* «âme slave»).

Подошла, сделала задорную улыбку и тут же подумала:

«И к чему я так стараюсь? Инстинкт. Откупаюсь от одиночества?»

Он спрятал свою книжку.

— Хотите кофе?

— Скажите, друг мой, ваша жена осталась на вашей прежней квартире?

— Да. То есть, кажется. Наверное не знаю. Откровенно говоря, не интересуюсь. Может быть, чашку шоколада?

— А дети у вас есть? У вас есть дети?

Он нетерпеливо вздохнул и постучал по столику, подзывая лакея.

— Дорогая моя девочка, — сказал он, — у меня никого и ничего нет на свете с тех пор, как я вас увидел. Ничего, кроме вас. Итак, чего же вы хотите — кофе или шоколада?

Адрес она помнила потому, что семь месяцев тому назад писала ему по этому адресу письма.

Улица была скверная, на левом берегу, у бульвара Гренелль, отельчик без лифта.

Кто у нее здесь заказывает шляпы? Что за идея заводить шляпную мастерскую в таком районе?

— Второй этаж, — ответили ей в бюро. — Ах, нет, не второй, а четвертый. Комната номер двадцатый.

— И зачем я иду? — сама на себя удивлялась Аня. — Мне даже и не любопытно. Не все ли равно, какая у него была жена? Тоже, может быть, страховалась от одиночества, да вот и не выгорело ее дело.

Нашла номер двадцатый. Постучала.

Ей открыла женщина маленького роста с очень испуганным лицом.

— Я насчет шляп, — сказала Аня.

Женщина заморгала глазами, как будто с трудом соображала в чем дело.

«Неужели это она и есть?» — думала Аня.

Воздух в комнате был спертый, пахло какой-то лекарственной мазью. Комната состояла из развороченной кровати с наваленным на ней каким-то тряпьем, стола и двух стуль-

ев. На столе, среди обрывков грязного бархата и мятых ленточек, болванка с напяленной на нее шляпой.

— Пожалуйте, пожалуйте, — тихо повторила испуганная женщина.

Она словно была свинчена из двух несоразмерных частей. Верхняя часть до пояса предназначалась для очень большой женщины с высокой грудной клеткой и широкими плечами. Ниже талии — ни боков, ни ног, все как-то страшно быстро и бессильно кончалось. Фигура морского конька. Но лицо, лицо! Такое насмерть перепуганное, что, кажется, сейчас заорет благим матом «кара-у-ул!»

— Вас, наверное, послала мадам Швик? — спрашивала женщина и суетилась, снимала что-то со стола, валила со стула. — Присядьте, пожалуйста. Я, к сожалению, только что отправила множество моделей тут одним американкам. Вам в каком роде надо? Мы сами сочиняем модели. Вот, могу предложить, страшно оригинально, этого уж ни на ком не увидите.

Она содрала с болванки старую фетровую шляпенку.

— Вот здесь можно сделать бант, а тут гусиное крыло или натуральное воронье перо. Страшно носят.

В комнату вошла девчонка в платке на плечах, шмыгнула носом и сказала:

— Раиса Петровна. Они не дают.

Увидела гостью, осеклась и прижалась к стенке.

— Тише, тише, Маня, — засуетилась хозяйка. — Подождите немножко.

«Почему она не говорит громко?» — удивлялась Аня.

— Я вам принесу свой материал, — сказала она жене своего жениха. — Я на днях зайду.

— Если вы оставите мне несколько франков задатку, — запинаясь, сказала та, — я бы подготовила материал и вообще... франков десять...

Аня молча вынула из кошелька деньги. Та чуть-чуть покраснела, взяла и сунула их девчонке.

— Купите сахару, — шепнула она.

Но Аня слова эти расслышала.

На кровати, там, где накручено было тряпье, что-то тихо не то скрипнуло, не то пискнуло. Женщина метнулась на этот писк.

— Простите, — бросила она Ане. — Он болен.

Она повернула то, что Аня считала свертком, чуть-чуть развернула его, и Аня увидела детское личико с забинтованным марлей виском. Личико было бледное до синевы, и с него смотрели серые глаза, огромные от темных под ними кругов и с выражением такой напряженной, такой серьезной тоски, что Аня невольно сделала шаг вперед.

— Он болен, — говорила жена жениха. — Ему делали трепанацию. И все-таки еще болит.

И вдруг маленький — сколько ему было? года полтора, не больше — вдруг он поднял руку и приложил ее ладонью к завязанному виску.

— Слава Богу! — сказал он. — Слава Богу!

Он сказал эти слова с такой невыносимой тоской, что даже странно было слышать от такого крошечного существа столько отчаяния.

— Почему? Почему он так говорит? — в ужасе спросила Аня.

— А это его папа так говорит, когда доктор смотрит ушко, что оно уже заживает. А Борик думает, что это значит, что ушко болит. Вот он и показывает, жалуется, что больно, а повторяет «Слава Богу». Он ведь еще ничего не понимает. Он совсем маленький.

«Ну вот и конец моего предприятия, — думала Аня, спускаясь по узкой винтовой лесенке отеля. — Вот и конец. Больно тебе, подлая дура? Больно! И слава Богу, что больно. Слава Богу!»

Трубка

Никогда мы не знаем, что именно может повернуть нашу жизнь, скривить ее линию. Это нам знать не дано.

Иногда нечто, к чему мы относимся как к явному пустяку, как к мелочи, тысячи тысяч раз встречавшейся и пролетев-

шей мимо бесследно, — это самое нечто вдруг сыграет такую роль, что во все дни свои ее не забудешь.

Примеры, пожалуй, и приводить не стоит. Как будто и так ясно.

Вот идет человек по улице. Видит — лежит пуговица.

— Уж не моя ли?

В эту минуту, то есть как раз в то время, когда он пригнулся к земле и не видит, что около него делается, — проходит мимо тот самый человек, которого он тщетно разыскивает уже несколько лет.

Или наоборот — приостановился человек на одну минуту, чтобы взглянуть, не его ли это пуговица, и этой минутной задержки было достаточно, чтобы, подняв голову, он встретился нос к носу с кем-то, от кого уже несколько лет всячески удирал и прятался.

Но та история, о которой я хочу рассказать, несколько сложнее.

Жил-был на свете некто Василий Васильевич Зобов. Существо довольно скромное. Явился он в Петербург откуда-то с юга и стал работать в газете в качестве корректора.

Корректор он был скверный. Не потому, что пропускал ошибки, а потому, что исправлял авторов.

Напишет автор в рассказе из деревенской жизни:

«— Чаво те надоть? — спросил Вавила».

А Зобов поправит:

«— Чего тебе надо? — спросил Вавила».

Напишет автор:

«— Как вы смеете! — вспыхнула Елена».

А Зобов поправит:

«— Как вы смеете! — вспыхнув, сказала Елена».

— Зачем вы вставляете слова? — злится автор. — Кто вас просит?

— А как же? — с достоинством отвечает Зобов. — Вы пишете, что Елена вспыхнула, а кто сказал фразу «Как вы смеете» — остается неизвестным. Дополнить и выправить фразу лежит на обязанности корректора.

Его ругали, чуть не били и в конце концов выгнали. Тогда он стал журналистом.

Писал горячие статьи о «городской детворе», об «отцах города и общественном пироге», о «грабиловке и недобросовестном товаре мороженщиков».

На пожары его не пускали. Его пожарный репортаж принимал слишком вдохновенно-нероновские оттенки.

«Лабаз пылал. Казалось, сама Этна рвется в небеса раскаленными своими недрами, принося неисчислимые убытки купцу Фертову с сыновьями».

На пожары его не пускали.

Он вечно вертелся в редакции, в типографии, перехватывал взаймы у кого попало и вечно что-то комбинировал, причем комбинации эти, хотя были крепко обдуманы и хлопотно выполнены, редко приносили ему больше полтинника.

Внешностью Зобов был плюгав, с черненькими обсосанными усиками и сношенным в жгут ситцевым воротничком.

— Мягкие теперь в моде.

Семейная жизнь его, как у всех не имеющих семьи, была очень сложная.

У него была сожительница, огромная, пышная Сусанна Робертовна, дочь «покойного театрального деятеля», попросту говоря — циркового фокусника. У Сусанны была мамаша и двое детей от двух предшествующих Зобову небраков. Глухонемой сын и подслеповатая девочка.

Сусанна сдавала комнаты, мамаша на жильцов готовила, Зобов жил как муж, то есть не платил ни за еду, ни за комнату и дрался с Сусанной, которая его ревновала. В драках принимала участие и мамаша, но в бой не вступала, а, стоя на пороге, руководила советами.

Так шла в широком своем русле жизнь Василия Васильевича Зобова. Шла, текла и вдруг приостановилась и повернула.

Вы думаете — какая-нибудь необычайная встреча, любовь, нечто яркое и неотвратимое?

Ничего даже похожего. Просто — трубка.

Дело было так. Шел Зобов по Невскому, посматривал на витрины и довольно равнодушно остановился около табачного магазина. Магазин был большой, нарядный и выставил в своем окошке целую коллекцию самых разнообразных трубок. Каких тут только не было! И длинные старинные чубуки с янтарными кончиками, и какие-то коленчатые, вроде духового инструмента, с шелковыми кисточками, тирольские, что ли. И совсем прямые, и хорошенькие толстенькие,

аппетитно выгнутые, чтобы повесить на губу и, чуть придерживая, потягивать дымок. Носогрейки.

Долго разглядывал Зобов эти трубки и, наконец, остановился на одной и уже не отводил от нее глаз.

Это была как раз маленькая, толстенькая, которую курильщик любовно сжимает всю в кулаке, трубка старого моряка английских романов.

Смотрел на нее Зобов и, чем дольше смотрел, тем страннее себя чувствовал. Словно гипноз. Что же это такое? Что-то милое, что-то забытое, как определенный факт, но точное и ясное, как настроение. Вроде того, как если бы человек вспоминал меню съеденного им обеда.

— Что-то такое было еще... такое вкусное, какое-то деревенское... ах да — жареная колбаса.

Вкус, впечатление — все осталось в памяти — забыта только форма, вид, название, давшие это впечатление.

Так и тут. Стоял Зобов перед толстенькой трубкой и не знал, в чем дело, но чувствовал милую, давно бывшую и не вернувшуюся радость.

— Английская трубочка... старый капитан...

И вдруг заколыхалась, разъехалась в стороны туманная завеса памяти, и увидел Зобов страницу детской книжки и на странице картинку. Толстый господин в плаще, нахмурившись, сжимает бритой губой маленькую толстенькую трубочку. И подпись:

«Капитан бодрствовал всю ночь».

Вот оно что!

Зобову было тогда лет десять, когда этот капитан на картинке бодрствовал. И от волнения и великого восхищения Зобов прочел тогда вместо «бодрствовал» — слова в детском обиходе не только редкого, но прямо небывалого — прочел Зобов «бодросовал»: «Капитан бодросовал всю ночь».

И это «бодросованье» ничуть не удивило его. Мало ли в таких книжках бывает необычайных слов. Реи, спардеки, галсы, какие-то кабельтовы. Среди этих таинственных предметов человеку умеющему вполне возможно было и бодросовать.

Какой чудный мир отваги, честности, доблести, где даже пираты сдерживают данное слово и не сморгнув жертвуют жизнью для спасения друга.

Задумчиво вошел Зобов в магазин, купил трубку, спросил английского, непременно английского табаку, долго нюхал его густой медовый запах. Тут же набил трубку, потянул и скосил глаз на зеркало.

— Надо усы долой.

В редакции, уже наголо выбритый, сидел тихо, иронически, «по-американски», опустив углы рта, попыхивал трубочкой. Когда при нем поругались два журналиста, он вдруг строго вытянул руку и сказал назидательно:

— Тсс! Не забудьте, что прежде всего надо быть джентльменами.

— Что-о? — удивились журналисты. — Что он там брешет?

Зобов передвинул свою трубочку на другую сторону, перекинул ногу на ногу, заложил пальцы в проймы жилетки. Спокойствие и невозмутимость.

В этот день он у товарищей денег не занимал.

Дома отнеслись к трубочке подозрительно. Еще более подозрительным показалось бритое лицо и невозмутимый вид. Но когда он неожиданно прошел на кухню и, поцеловав ручку у мамаши, спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен, — подозрение сменилось явным испугом.

— Уложи его скорее, — шептала мамаша Сусанне. — И где это он с утра накачался? Где, говорю, набодался-то?

И вот так и пошло.

Зобов стал джентльменом. Джентльменом и англичанином.

— Зобов, — сказал кто-то в редакции. — Фамилия у вас скверная. Дефективная. От дефекта, от зоба.

— Н-да, — спокойно отвечал Зобов. — Большинство английских фамилий на русский слух кажутся странными.

И потянул трубочку.

Его собеседник не был знатоком английских фамилий, поэтому предпочел промолчать.

Он стал носить высокие крахмальные воротнички и крахмальные манжеты, столь огромные, что они влезали в рукава только самым краешком. Он брился, мылся и все время либо благодарил, либо извинялся. И все сухо, холодно, с достоинством.

Пышная Сусанна Робертовна перестала его ревновать. Ревность сменилась страхом и уважением, и смесь этих двух неприятных чувств погасила приятное — страсть.

Мамаша тоже стала его побаиваться. Особенно после того, как он выдал ей на расходы денег и потребовал на обед кровавый бифштекс и полбутылки портеру.

Дети при виде его удирали из комнаты, подталкивая друг друга в дверях.

Перемена естества отразилась и на его писании. Излишний пафос пропал. Явилась трезвая деловитость.

Раскаленные недра Этны сменили сухие строки о небольшом пожаре, быстро ликвидированном подоспевшими пожарными.

Всякая чрезмерность отпала.

— Все на свете должно быть просто, ясно и по-джентльменски.

Единственным увлечением, которое он себе позволял и даже в себе поощрял, была любовь к океану. Океана он никогда в жизни не видел, но уверял, что любовь эта «у них у всех в крови от предков».

Он любил в дождливую погоду надеть непромокайку, поднять капюшон, сунуть в рот трубку и, недовольно покрякивая, пойти побродить по улицам.

— Это мне что-то напоминает. Не то лето в Исландии, не то зиму у берегов Северной Африки. Я там не бывал, но это у нас в крови.

— Василь Василич! — ахала мамаша. — Но ведь вы же русский!

— Н-да, если хотите, — посасывая трубочку, отвечал Зобов. — То есть фактически русский.

— Так чего ж дурака-то валять! — не унималась мамаша.

— Простите, — холодно-вежливо отвечал Зобов. — Я спорить с вами не буду. Для меня каждая женщина — леди, а с леди джентльмены не спорят.

Сусанна Робертовна завела роман с жильцом-акцизным. Зобов реагировал на это подчеркнутой вежливостью с соперником и продолжал быть внимательным к Сусанне.

Революция разлучила их. Зобов оказался в Марселе. Сусанна с мамашей и детьми, по слухам прихватив с собой и жильца-акцизного, застряли в Болгарии.

Зобов, постаревший и одряхлевший, работал сначала грузчиком в порту, потом, там же, сторожем и все свои деньги, оставив только самые необходимые гроши, отсылал Сусанне Робертовне. Сусанна присылала в ответ грозные письма, в которых упрекала его в неблагодарности, в жестокосердии и, перепутав все времена и числа, позорила его за то, что он бросил своих несчастных убогих детей, предоставив ей, слабой женщине, заботу о них.

Он иронически пожимал плечами и продолжал отсылать все, что мог, своей леди.

Эпилог наступил быстро.

Возвращаясь с работы, потерял трубку. Долго искал ее под дождем. Промок, продрог, схватил воспаление легких.

Три дня бредил штурвалами, кубриками, кабельтовыми.

Русский рабочий с верфи забегал навестить. Он же принял его последнее дыхание.

— Вставай, старый Билль! — бормотал умирающий. — Вставай! Скорее наверх! Великий капитан зовет тебя.

Так и умер старый Билль, англичанин, мореплаватель и джентльмен, мещанин Курской губернии, города Тима, Василий Васильевич Зобов.

Рюлина мама

Театр называли «миниатюрным». Не потому, что бы он был маленького размера, — он был довольно поместительный, хотя и без балкона. Называли его миниатюрным в силу репертуара, состоящего из одноактных пьесок, коротеньких пантомим и балетов.

Артисты, обслуживавшие миниатюрный театр, подбирались с талантами универсальных возможностей. Такой артист должен и петь, и плясать, и играть — словом, все, что заставят.

Но изредка, когда ставилась пантомима с танцами, а собственных сил не хватало, приглашались новые артисты.

Вот как раз к такой пантомиме, когда прошел среди актеров слух, что нужно будет подкрепление, явилась, между прочими, нераздельная парочка — Рюля и Рюлина мама.

Рюля, вернее, Юлия Кинская, пухлая девица восемнадцати лет, обучавшаяся танцам и пластике в частной школе, была в некотором роде феноменом. Она состояла из двух частей, кое-как свинченных вместе крепким ременным поясом. Одна часть Рюли, верхняя, была очень мила, стройна, с узенькими плечиками, тонкими руками и гибкой спиной. Вторая часть, нижняя, была нечто вроде лошадиного крупа, заканчивающегося тяжелыми ногами могучего першерона. Девушка-центавр. Почему выбрала она для себя танцевальную карьеру — трудно было понять. Вероятно, когда она начала учиться танцам, это «раздвоение личности» еще не так резко определялось.

Лицо у Рюли было миловидное, но выражение его, тяжелое и сонное, отражало скорее нижнюю часть ее сложного естества, чем верхнюю.

Рюлина мама, маленькая, щупленькая поблекшая женщина с умоляющими глазами и нервными жестами, одетая в какое-то муругое тряпье, очевидно, Рюлины обноски, типичная театральная мамаша, вся насторожившаяся, готовая каждую минуту ринуться в бой, отстаивая интересы дочери, — давала немало развлечения всей труппе своей комической фигурой.

Само собой разумеется, что девицу-центавра в пантомиму не пригласили.

Сколько ни уговаривала Рюлина мама попробовать ее дочь, сколько ни трясла своей несчастной головой, увенчанной неизъяснимым кукушечьим перышком, — ничего не вышло. Но мама позиции не сдала.

Каждый день приводила она Рюлю на репетицию.

— Садись, Рюля!

Подставляла ей стул, а сама вставала рядом, и так дежурили они до самого конца.

К ним привыкли.

Рюлина мама перезнакомилась со всеми и была даже полезна. У нее всегда были с собой двойные булавки, карандаш, спички. Она была со всеми заискивающе любезна и услужлива. Даже раз сбегала для режиссера в лавочку за папиросами.

— Почему вашу дочь зовут Рюля? — спросил ее кто-то.

— Как почему? Вполне понятно. Юлия — Рюля.

— Н-да, — согласился любопытствующий. — Раз понятно, так я не спорю. А то мы думали, что это сокращенное от «кастрюля».

Так приходили Рюля и Рюлина мама на все репетиции.

И вот раз, совершенно неожиданно, судьба им улыбнулась. Одна из актрис, участвующая в пантомиме, не пришла. Выяснилось это обстоятельство так поздно, что испортило все дело.

— Люк не пришла, — злился режиссер. — Роль у нее небольшая, но репетировать с пустым местом страшно неудобно.

И вдруг ринулась вперед Рюлина мама. Схватила Рюлю за руку и бросилась к режиссеру.

— Так вот же то, что вам нужно. Она присутствовала на всех репетициях и отлично сможет дублировать Люк. Клянусь вам — она прямо рождена для этой роли. Ну, что вам стоит? Попробуйте.

— Ну, пусть идет. Как ее фамилия?

— Кинская! Кинская! Сокращенно от Баклинская, — в радостном трепете выкликала Рюлина мама. — Ее отец был офицер. Он был бы уже полковником, если бы не умер так рано. Кинская.

— Кинская! — крикнул режиссер, отстраняя рукой наседавшую маму. — Становитесь на место. Начинаем.

Рюлина мама встала за Рюлиной спиной, ела глазами каждый Рюлин жест, вместе с ней притоптывала, вместе с ней подпрыгивала. Кукушечье перо на ее шляпке дрожало и прыгало.

Репетиция шла из рук вон плохо. Актеры хохотали, путали места, сам режиссер сбился с толку.

Рюля скакала тяжелым лошадиным аллюром, подгоняемая сзади мамой, подсказывавшей ей и поправлявшей ее ошибки. В общем, она держалась и танцевала сносно, только, когда по ходу действия она с подругами-нимфами отступала в ужасе перед выскочившим из-за скалы сатиром, иллюзия крупа наседающей на публику жандармской лошади была так велика, что один из актеров, пострадавший когда-то во время студенческих беспорядков, даже разволновался.

На другой день выяснилось, что не прибывшая на репетицию актриса вообще больше не придет «по домашним обстоятельствам». Все знали, что обстоятельства эти, если не совсем домашние, то, во всяком случае, вроде того. Просто банкир, который покровительствовал развитию ее таланта, неожиданно выехал за границу и в последнюю минуту прихватил актрису с собой.

Получив это извещение, режиссер хотел было что-то сообразить и предпринять, но, окинув взором зал, увидел Рюлю и Рюлину маму уже на указанном накануне месте и в полной боевой готовности.

— Ну, пусть ее! — решил режиссер, и репетиция началась.

Рюля танцевала сносно, помнила все указания, которые ей делал режиссер, никогда не опаздывала. К фигуре ее скоро привыкли.

— Ну, что ж, — говорили. — Все эти нимфы и сатирессы, — кто их видал. Может быть, именно такие они и были.

А без Рюлиной мамы прямо стало бы скучно. Ведь каждая репетиция благодаря ей превращалась в целый спектакль, и превеселый.

В каком-то экстазе, красная, растерянная, она повторяла все Рюлины движения. Особенно смешно выходило, когда она изящно вытягивала свою ногу в стоптанном башмаке и буром шерстяном чулке.

Вялая, пухлая Рюля, лениво шевелящая толстыми ногами, и за ней, как пьяная ведьма, дикая маменька. Спектакль был редкостный. Из других театров стали забегать актеры посмотреть на чудище.

Репетиция близилась к концу, когда произошло неожиданное событие. Позже обыкновенного влетела Рюлина мама. Одна. Перо на отлете, руки в сторону, на лице ужас.

— Рюля свихнула ногу. Должна несколько дней пролежать!

Как быть?

— Я ее заменю на репетиции. Я все знаю. Вот увидите. А дня через три она снова займет свое место.

И, прежде чем режиссер опомнился, она встала на место Рюли и приняла нужную позу.

— Ну, пусть! — решил режиссер.

Началась репетиция.

Рюлина мама отлично проделывала все, что нужно, и даже более того. Она внесла в заключительный галоп нимф столько бурной стихийности и так увлекла других, что режиссер даже рот открыл.

— Ну, наконец-то эта картина идет как следует! — воскликнул он. — А то все ползали, как сонные мухи, вакханки, черт вас подери!

— А мама-то какова? — удивлялись после репетиции актеры. — Она, конечно, ведьма. Смотрите-ка, что разделывает.

Рюлина болезнь затянулась. И каждый день бурей влетала мама, занимала ее место и репетировала.

— Мама! Отлично! — кричал режиссер. — Скинуть бы вам лет двадцать! Ерохина — смотрите на маму, делайте, как мама.

Настал день спектакля. Рюля должна была прийти и не пришла.

— Не выпускать же эту старую ведьму.

— Немыслимо. Она сорвет весь ансамбль. Ведь это же пантомима, а не фарс.

— Вот положение!

— Ну, что делать. Пусть будет будто это сатиресса. Черт их там распродери, всех этих фаунесс и сатиресс. Как-нибудь вывернемся.

— Иван Андреич! — окликнул режиссера знакомый плачущий голос. — Иван Андреич! Так хорошо?

Он обернулся, поискал глазами Рюлину маму, не нашел, но увидел маленькую стройненькую женщину в рыжем парике и огненно-красном хитончике.

— Мама!

— Я заменю сегодня Рюлю. Завтра ей разрешено встать.

Мама оказалась очаровательной. Может быть, чересчур темпераментной, скорее вакханкой, чем нимфой, и жесты и позы ее были, пожалуй, чересчур разнузданны, но что было и смешно, и ужасно в унылой маме в стоптанных башмаках, увенчанной неизъяснимым кукушечьим пером, то выходило очень интересно и зажигательно у этой маленькой огненной женщины. Публика была в восторге. Актеры удивлялись и веселились.

— Вот так мама!

— Ну и мама!

— Талант, этуаль[1], примадонна! Кто бы подумал!

— Слушайте, мама, — сказал режиссер, — я оставляю эту роль за вами. Вы с ней справляетесь лучше, чем ваша дочь.

Рюлина мама вдруг вся побелела и затряслась. Это было уже после спектакля, когда кукушечье перо уже водворилось на свое законное место.

— Вы шутите! — захрипела она. — Вы никакого права не имеете так поступать! Вышвыривать прелестную молодую артистку оттого, что она несколько дней проболела! Менять ее, талантливую и яркую, на бездарную, смешную старуху! Не допущу-у-у. Завтра она займет свое место. Подлец!

Повернулась и вышла.

---

[1] Звезда (от *фр.* «êtoile»).

Дети

Мальчик Коля

— Та барышня, что два раза приходили, опять пришли.

— Не фурчи носом, — сказал Григорий Григорьевич. — Она, может быть, барыню спрашивала, а не меня?

— Нет, вас, — отвечал мальчишка. — Господина Орчакова, значит, вас.

— Ну-ну, ладно. Иду.

В кабинете на уголке стула сидело насмерть перепуганное существо. Большие темные и круглые, как вишни, глаза были широко раскрыты, маленький рот тоже раскрыт вовсю, в форме буквы «О». Рука прижимала к груди сумочку, которая скакала сама по себе, очевидно, от сердцебиения.

Это выражение ужаса так удивило Орчакова, что он даже не разобрал сразу, кто перед ним находится. А существо при виде его не встало навстречу, а, наоборот, все сжалось, и только большие глаза следили за движениями вошедшего.

Орчаков сел.

— Чем могу быть полезен?

Она — это была девочка лет семнадцати, скромно, по-провинциальному одетая, миловидная — она глотнула воздуха и залепетала:

— Ради бога, простите... тетя Лиза умерла, я одна, я всю жизнь мечтала, умоляю вас, Андрей Андреич.

— Меня зовут Григорий Григорьевич, — поправил Орчаков.

Она всплеснула руками:

— Да, да, я знаю, Андрей Андреич, что вас зовут Григорий Григорьевич. Ради бога, простите! У меня на свете никого нет, кроме вас. Мне советовали на пишущей машинке.

Я пробовала. Это меня не удовлетворяет. И на вязальной машинке пробовала. Я не могу. Меня машинка не удовлетворяет. Ради бога! Вы один!

— Ничего не понимаю! — растерялся Орчаков. — Машинка не удовлетворяет, и я один. Черт знает что вы городите. Будьте любезны изложить. Я человек занятой. Чего вы хотите?

— Я хочу ... я чу-у... на сцену!

Выкрикнув последнее слово, она вдруг опустила углы рта и заревела, сморщив лицо по-детски, всхлипывая и даже выговаривая «бу-у-у».

Орчаков окончательно растерялся.

— Подождите... я жену, — и, обернувшись к двери, крикнул: — Елена Ивановна! Иди скорее!

Елена Ивановна, нечесаная, в халате, вошла, поморгала глазами:

— Что у вас тут? Чего она ревет?

— Хочет на сцену, — буркнул Орчаков.

— Ну, так пусть идет — чего ж ты ей мешаешь? — сказала Елена Ивановна и зевнула во весь рот. — Слушайте, барышня, кто вас сюда направил?

Барышня вытерла глаза.

— Я сама пришла, — прошептала она. — Я знаю, что Андрей Андреич пишет для театров.

— Какой Андреич? — удивилась Елена Ивановна.

— Я, я! — сердито оборвал ее Орчаков. — Ну, чего ты придираешься!

Она развела руками.

— Двадцать лет живу с этим человеком и не знаю, что он Андрей Андреич. Слушайте, милочка, сколько вам лет?

— Скоро восемнадцать. Очень скоро. Через одиннадцать месяцев, — все так же шепотом отвечала гостья.

— На сцене не были?

— Н-нет еще.

— Так я позвоню Анилову, — сказала она мужу и подошла к телефону.

— Анилов? Когда вы, душечка, едете? Не набрана? В пятницу? Слушайте, я вам рекомендую молоденькую. Ткните ее куда-нибудь. Будет горняшек играть. Да, кажется,

немножко играла. Что? — она обернулась к гостье: — Деньги у вас есть?

— Есть, есть. Двадцать три рубля и еще мелочь, много мелочи, — вся взметнулась та.

— Денег нет, — спокойно продудела в трубку Елена Ивановна. — Ну, для меня-то можете? Ну то-то! Нет, она придет прямо на вокзал, так будет удобнее. А? Как вас зовут? — снова обернулась она к гостье.

— Ляля... Ольга Трофимова.

— Ляля Трофимова, — повторила Елена Ивановна и повесила трубку. — Ну, вот вы и устроены.

Ляля сидела красная как клюква и ворочала своими вишневыми глазами.

— А... а какое амплуа?

— Мария Стюарт и Гедда Габлер. Гриша, идем завтракать.

Орчаков деловито похлопал Лялю по круглой щеке, теплой, мокрой и очень приятной.

— Поздравляю, деточка. Вот вам моя карточка для Анилова. Не забудьте, в пятницу, в шесть часов, на Центральном вокзале. Пишите.

Так началась карьера Ляли Трофимовой.

Кое-какие слухи доходили до Орчаковых.

Ляля устроилась в труппе. Играла скверно и самые маленькие роли. Чаще всего бессловесные.

Пришло несколько открыток.

«Все больше и больше увлекаюсь искусством».

«Вам и только вам обязана счастьем своей жизни».

И раз даже:

«Успех окрыляет и кружит голову».

Потом Ляля смолкла.

И вот как-то уже года полтора после того, как она ревела «бу-у!» перед «Андрей Андреичем», забежала к Орчаковым старая их приятельница, провинциальная актриса.

Много рассказывала, и в конце концов договорились и до Ляли.

— Как же — знаю, знаю! — сказала актриса. — Она была у Анилова, потом пошла к Зеленникову. Ну и дурочка же! И какая с ней история разыгралась — вы разве не слыхали? Пока они мотались в турне, в каком-то городе — не помню, в каком, — влюбился в нее, в эту Лялю, гимназист, внук предводителя дворянства. Влюбился до зарезу. Ну, понимаете, мальчишка! Она для него актриса, женщина сцены, искусства. Потерял голову и, когда труппа уехала, он удрал за ней. Родители думали, что он уехал в Харьков в гимназию, а он пристал к труппе, да с ней и ездил. Милый был мальчик. Он и суфлировал, и в кассе помогал, и афиши расклеивал. В конце концов, родители дознались, где он, и через полицию вернули бедного Дон-Жуана домой. Трепку, наверное, получил здоровую. Больше о нем ничего и не слыхали.

А с бедной Лялей скандал. Такой скандал, что хуже и не придумаешь. Через несколько месяцев пришлось ее высадить из поезда на каком-то полустанке. Там у стрелочника в сторожке родила она сына. Оставила его на воспитание у сторожихи и догнала труппу.

Орчаковы выслушали рассказ о Лялиной беде, поахали и забыли.

Время шло. Разное время. Наконец, пришло самое скверное — гражданская война, голод, смерть.

И тут получили Орчаковы странное письмо.

«Дорогие мои, единственные. Вы, наверное, забыли вашу Лялю, которая всю жизнь только о вас и думает. Кроме вас, у меня никого нет, поэтому обращаюсь к вам с мольбой. Приютите у себя на несколько дней тайну моей жизни, мальчика Колю. Его к вам привезет его воспитательница и все объяснит. Я сейчас далеко и проехать в Москву невозможно.

Умоляю простить и помочь.

Ваша до гроба благодарная

Ляля».

Письмо это очень удивило Орчаковых. Неприятно удивило. Время было трудное, и сами они готовились к отъезду, и не знали, удастся ли уехать или придется бежать. А тут вдруг чужой мальчишка с воспитательницей — и что с ними делать и куда их деть?

Но нежеланные гости не заставили себя долго ждать.

Приехала простая баба-старуха и привезла шестилетнего Колю.

Пришли по черному ходу.

Баба плакала, и кланялась, и шепотом, чтобы мальчик не слыхал, рассказывала, что денег ей за мальчика давно не присылали, а теперь с места ее прогнали и придется ехать в деревню, а что там будет — неизвестно. А Колина мать выхлопотала его в приют под Питером, и какая-то барыня на днях заедет и отвезет его.

Мальчик Коля был очень серьезный, смотрел красивыми вишнево-черными глазами спокойно и внимательно.

Прощаясь со старухой, сказал ей басом:

— Ты, мама, не плачь. Я в люди выйду и тебя спасу.

И сам не плакал, только очень тяжело дышал.

Остался у Орчаковых.

Странный был мальчик. Удивительно вежливый и благовоспитанный, точно и не баба-сторожиха его выходила.

— Предводительская кровь! — подсмеивался Орчаков.

Выяснилось, что игрушек Коля никогда не видывал. Играл только в «паровозы». Ставил посреди комнаты стул. Это — станция. И, крутя сжатыми кулаками, шипел, свистел, ухал. Лицо делалось свирепое, рот набок, глаза вкось. Видно было, как он относился, как чувствовал и понимал это, с первого дня своей жизни близкое ему чудовище — паровоз. Замечательно интересно играл. И только эту игру и знал.

Он знал немножко грамоте.

Одет был чистенько. В несложном гардеробе его оказалась почему-то пара перчаток. Кто-то подарил. И каждый раз, выходя во двор поиграть, он непременно надевал эти перчатки.

Но был совсем ведь простым мальчиком. Удивлялся, что за столом едят не из общей миски.

— А не оставить ли его у нас? — спросил как-то Орчаков. — Жалко его в приют, уж очень хорошенький мальчик.

— Ну куда его! Сами не знаем, что с нами завтра будет. Ему же спокойнее будет там, — отвечала Елена Ивановна. — Разве можно брать на себя такую обузу? Да мы и права не имеем, раз мать сама распорядилась его судьбой.

— Эх ты, законница, — усмехнулся Орчаков. — «Мать распорядилась». И как подумаешь, что мать у него Ляля, а отец гимназист! Бедный мальчик Коля!

Думали, что мальчика забыли, и никто за ним не приедет.

Но, когда уже потеряли надежду, явилась дама, очень сердитая и недовольная навязанной ей заботой.

Мальчик Коля, серьезный и побледневший, подошел проститься. На нем были перчатки, и пальтецо свое он старательно застегнул на все пуговицы.

— Благодарю вас, Григорий Григорьевич, и прощайте, — сказал он.

— Благодарю вас, Елена Ивановна, и прощайте.

И снял с головы шапочку.

Месяца через два пришла от него открытка:

«Многоуважаемые мною. Извините меня нас кормили мерзлой картошкой, а больше совсем не кормят. Извините меня мы погибаем.

Известный вам мальчик *Коля*».

В этот самый день Орчаковы выехали, наконец, из Москвы. Открытку мальчика Коли прочли уже на другой день, в вагоне.

Елена Ивановна с трудом добрела до скамейки, где ждал ее вышедший навстречу Орчаков.

Тяжелый мешок с провизией оттянул ей руки.

— Ну, как же ты тащишь, такую тяжесть!

— А что же делать?

— Садись, старуха.

Был теплый вечер начала южной весны. Пахло мимозами и морем. Веселые французские мальчишки играли в железную дорогу. Трое стали друг за другом — это были вагоны. Четвертый — впереди свистел, шипел, кружил кулаками.

— Помнишь мальчика — Колю?

— Угу! — отвечала Елена Ивановна.

— Может быть, он бы тебе эту сумку помог до дому донести. А?

Подземные корни

Лиза сидела за чайным столом не на своем месте. «Свое место» было для нее на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Эти книги подкладывали под нее потому, что для своих шести лет была она слишком мала ростом, и над столом торчал один нос. И в этих трех телефонных книгах было ее тайное мучение, оскорбление и позор. Ей хотелось быть большой и взрослой.

Весь дом полон большими, сидящими на обыкновенных человеческих стульях. Она одна маленькая. И если только в столовой никого не было, она, будто по ошибке, садилась не на свой стул.

Может быть, от этих трех телефонных книг и осталось у нее на всю жизнь сознание обойденности, незаслуженного унижения, вечного стремления как-то подняться, возвыситься, снять обиду.

— Опять пролила молоко, — брюзжал над ней старушечий голос. — И чего не на свое место села? Вот я маме скажу, она тебе задаст.

Что «задаст» — это верно. Это без ошибки. Она только и делает, что задает. И всегда что-нибудь найдет. Ей и жаловаться не надо. То зачем растрепанная, то зачем локти на стол, то грязные ногти, то носом дергаешь, то горбишься, то не так вилку, то чавкнула. Весь день, весь день! За это, говорят, ее надо любить.

Как любить? Что значит любить?

Она любит маленького картонного слоника, простого елочного. В нем были конфетки-драже. Его она любит до боли. Она его пеленает. Его хобот вылезает из белого чепчика, такой жалкий, бедный, доверчивый, что ей хочется плакать от нежности. Она слоника прячет. Инстинкт подсказывает. Если увидят — засмеют, обидят. Гриша способен даже нарочно сломать слоника.

Гриша теперь совсем большой. Ему одиннадцать лет. Он ходит в гимназию, а по праздникам его навещают товарищи — пухлый Тулзин и черненький Фишер с хохолком. Они расставляют на столе солдатиков, прыгают через стулья и дерутся. Они могущественные и сильные мужчины. Они никогда не смеются и не шутят. У них нахмуренные брови,

отрывистые голоса. Они жестоки. Особенно пухлый Тулзин, у которого дрожат щеки, когда он сердится.

Но страшнее всех брат Гриша. Те чужие и не смеют, например, ее щипать. Гриша все может. Он брат. Ей кажется, что он стыдится за нее перед товарищами. Ему унизительно, что у него такая сестра, которая сидит на трех телефонных книгах. Вот у Фишера, говорят, сестра так сестра, — старая, ей сем-над-цать лет. За такую не стыдно.

Сегодня как раз праздник, и оба они — и Тулзин, и Фишер придут. Боже мой, боже мой! Что-то будет?

Утром водили в церковь. Мама, тетя Женя (эта хуже всех), нянька Варвара. Гриша — ему-то хорошо, он теперь в гимназии и пошел с учениками. А ее тиранили.

Тетя Женя свистит в ухо:

— Если не умеешь молиться, то хоть крестись.

Она отлично умеет молиться. «Пошли, Господи, здоровья папе, маме, братцу Грише, тете Жене и мне, младенцу Лизавете». Знает «Богородица Дево радуйся».

В церкви темно. Грозные басы гудят непонятные и грозные слова «аки, аще, аху...» Вспоминается, что Бог все видит, и все знает, и за все накажет. Мама не все знает, а и то тошно. И Бога надо любить! Вот Варвара кланяется в пояс, крестится, закидывая голову назад и потом сжатой горстью дотрагивается до полу. Тетя Женя, та подкатывает глаза и качает головой, точно с укором. Вот, значит, так надо любить.

Она поворачивается, чтобы посмотреть, как любят другие. И снова свистящий шепот около уха:

— Стой смирно! Наказание Господне с тобой!

Она истово перекрестилась, откинув голову, как Варвара, вздохнула, подкатила глаза, встала на колени. Постояла немножко. Больно коленкам. Присела на пятки.

И опять около уха, но уже не свистящий шепот, а воркотливый говорок:

— Встань сейчас же и веди себя прилично.

Это мама.

А сердитые басы гудят грозные слова. Это все, верно, о том, что Бог ее накажет.

Как раз перед ней огромное паникадило. На нем потрескивают свечи, капает воск. Вон и внизу у самого пола налипло на него воску. Она тихонько подползла на коленках, чтобы отколупнуть кусочек.

Тяжелая лапа поймала ее за плечо и подняла с полу.

— Балуй, балуй, — закрякала Варвара. — Вот ужо придешь домой, мама тебе задаст.

Мама задаст. Бог тоже все видит и тоже накажет.

Отчего она не умеет так делать, как все другие?

Потом, через двадцать лет, она скажет в страшную, решающую минуту своей жизни:

— Почему я не умею так делать, как другие? Почему я ни в чем никогда не могу притворяться?

После завтрака пришли Тулзин и Фишер.

У Тулзина был замечательный носовой платок — огромный и страшно толстый. Как простыня. Отдувал карман барабаном. Тулзин тер им свой круглый нос, не развертывая, а держа, как пакет тряпья. Нос был мягкий, а пакет тряпья твердый, неумолимый. Нос багровел.

Тот, кого Лиза полюбит почти через девятнадцать лет, будет носить тонкие, маленькие, почти женские платочки, с большой шелковистой монограммой. Четкая сумма любви состоит из стольких слагаемых... Что мы знаем?

Фишер, черненький, с хохолком, задира, как молодой петушок, суетится у стола в столовой. Он принес целую коробку оловянных солдатиков и торопит Гришу достать скорее своих, чтобы развернуть поле сражения.

У Тулзина всего одна пушечка. Он ее держит в кармане и вываливает каждый раз, как достает свой носовой платок.

Гриша приносит свои коробки и вдруг замечает сестру. Лиза сидит на высоком креслице и, чувствуя себя лишней, смотрит исподлобья на военные приготовления.

— Варвара! — бешено кричит Гриша. — Уберите отсюда эту дуру, она мешает.

Приходит Варвара из кухни, с засученными рукавами.

— Ты тут чего скандалишь, постреленок? — говорит она сердито.

Лиза вся сжимается, крепко цепляется за ручки креслица. Еще неизвестно — может быть, ее будут тащить за ноги...

— Хочу и буду скандалить, — огрызается Гриша. — А ты мне не смеешь делать замечания, я теперь учусь.

Лиза отлично понимает смысл этих слов. «Я учусь» значит, что теперь он перешел в ведение другого начальства, — и имеет полное право не слушать и не признавать бабу Варвару. С детской и с няньками покончено.

Очевидно, Варвара все это отлично сама понимает, потому что отвечает уже менее грозно:

— А учишься, так и веди себя по-ученому. Чего ты Лизутку гоняешь? Куда мне ее деть? Там тетя Женя отдыхает, а в гостиной чужая барыня. Куда я ее дену? Ну? Она же сидит тихо. Она никому не мешает.

— Нет, врешь! Мешает, — кричит Гриша. — Мы не можем расставить как следует солдатиков, когда она смотрит.

— А не можешь, так и не расставляй. Важное кушанье!

— Дура баба!

Гриша весь красный. Ему неловко перед товарищами, что какая-то грязная старуха им командует.

Лиза втянула голову в плечи и быстро переводит глаза с Варвары на Гришу, с Гриши на Варвару. Она прекрасная дама, перед которой сражаются два рыцаря. Варвара защищает ее цвета.

— Все равно, ей здесь не сидеть! — кричит Гриша и хватает Лизу за ноги. Но та уцепилась так крепко, что Гриша тянет ее вместе с креслом.

Тулзин и Фишер не обращают ни малейшего внимания на все эти бурные события. Они спокойно вытряхивают солдатиков из круглых лубяных коробочек и расставляют их на столе. Такой дракой их не удивишь. У самих дома дела не лучше. Тетка, нянька, младшие братья, старшие сестры, старые девки, лет по шестнадцати. Словом, их не удивишь.

— Ну, Гришка Вагулов, ты скоро? — деловито справляется Тулзин и выволакивает свой чудесный платок. Пушечка падает на пол.

— Ах, да, — говорит он. — Вот и артиллерия. Куда ее ставить?

Гриша отпускает Лизины ноги, внушительно подносит к самому ее носу кулак и говорит:

— Ну все равно. Сиди. Только не смей смотреть на солдат и не смей дышать, иначе ты мне тут все перепортишь. Слышишь? Не смей дышать! У-у, коровища!

«Коровища» вздыхает глубоким дрожащим вздохом, набирает воздуху надолго. Неизвестно ведь, когда ей позволят снова вздохнуть.

Мальчики принимаются за дело. Фишер достает своих солдатиков. Они совсем не подходят к Гришиным. Они вдвое крупнее. Они ярко раскрашены.

— Это — гренадеры, — с гордостью говорит Фишер.

Грише неприятно, что они лучше его солдатиков.

— Но их слишком мало. Придется расставить их по краям стола, как часовых. Тогда, по крайней мере, будет понятно, почему они такие огромные.

— А почему? — недоумевает Тулзин.

— Ну ясное дело. Часовых всегда выбирают великанов. Опасная служба. Все спят, а он бодра... бурда... бордовствует.

Фишер доволен.

— Еще бы, — говорит он. — Это герои!

Лизе безумно любопытно взглянуть на героев. Она понимает, что теперь не до нее. Она тихонько сползает со стула, подходит к столу, вытягивает шею и близко-близко, словно обнюхивая, смотрит.

— Тррах!

Гриша ударил ее прямо по носу кулаком.

— Кровь! Кровь! — кричит кто-то.

На поле сражения брызнула первая кровь.

Лиза слышит свой первый визг. Глаза у нее закрыты. Кто-то вопит. Варвара? Лизу несут.

Через много лет она скажет:

— Нет, я никогда не полюблю вас. Вы — герой. Самое слово «герой» вызывает во мне, я не знаю почему, такую тоску, такое отчаяние. Я же говорю вам, что не знаю почему. Мне близки тихие-тихие люди. С ними мне спокойно. Ах, не знаю, не знаю, почему.

Любовь и весна

(Рассказ Гули Бучинской)

Она показывала мне свои альбомы и целые пачки любительских снимков.

Считается почему-то, что гостям очень весело рассматривать группу незнакомых теток на дачном балконе.

— А кто этот мальчик?

— Это не мальчик. Это я.

— А эта старуха кто?

— Это тоже я.

— А это что за собачка?

— Где? Это? Гм... Да нет, это тоже я.

— А почему же хвост?

— Подожди... Это не мой хвост. Хвост — это вот от этой дамы. Это одна известная певица.

— Так почему же, если певица, так ей полагается быть с хвостом?

— Гм... Не совсем удачная фотография. Такое освещение. А вот старые снимки. Довоенные. Эту особу узнаешь?

Особа была лет десяти, с веселыми ямочками, с белокурыми косичками, в форменном платьице с широким белым воротником.

— Да это как будто ты?

— Ну, конечно, я.

Она долго смотрела на свой портретик, потом засмеялась и сказала:

— Этот портрет относится к периоду моего самого интересного романа. Моей первой любви.

— Да ведь тебе тут лет десять-одиннадцать.

— Ну да.

— Как же это я не знала. Расскажи, пожалуйста. Ведь ты тогда была в лицее.

— Вот, вот. Ужасный роман. У нас, видишь ли, образовался особый клуб. Не в нашем классе, а у больших, там, где были девочки уже лет четырнадцати, пятнадцати. Не помню сейчас, в чем там было дело, но главное, что все члены клуба должны были быть непременно влюблены. Невлюбленных не принимали. А у меня в этом классе у старших была приятельница, Зося Яницкая. Она меня очень уважала, несмотря на то, что я была маленькая. А уважала она меня за то, что я очень много читала и, главное, за то, что писала стихи. У них в классе никто не умел сочинять стихи.

Вот она переговорила со своими подругами и рекомендовала меня. Те, узнав про стихи, сразу согласились, но, конечно, спросили — «влюблена ли эта Зу и в кого?».

Тут мне пришлось признаться, что я не влюблена.

Как быть?

Я бы, конечно, могла наскоро в кого-нибудь влюбиться, но я была в лицее живущей и ни одного мальчика не знала.

Зося очень огорчилась. Это было серьезное препятствие. А она меня любила и гордилась мной.

И вот придумала она прямо гениальную штуку. Она предложила мне влюбиться в ее брата. Брат ее гимназист, молодчина, совсем взрослый — ему скоро будет тринадцать.

— Да ведь я же его никогда не видала!

— Ничего. Я его тебе покажу в окно.

Пансион у нас был очень строгий, вроде монастыря. В окошко смотреть было запрещено и считалось даже грехом. Но старшие девочки ухитрялись в четыре часа, когда из соседней гимназии мальчики шли домой, подбегать к окошку, конечно, поставив у дверей сигнальщика. Сигнальщик, одна из девочек по очереди, в случае опасности должна была петь «Аве Мария» Гуно.

И вот на следующий же день прибежала за мной Зося и потащила к окну.

— Смотри скорей! Вот они идут. Вот и он, Юрек.

У меня сердце колотилось, так что даже в ушах звенело.

— Который? Который?

— Да вон этот, круглый!

Смотрю — действительно, один из мальчиков ужасно какой круглый — ну совсем яблоко.

Мне как-то в первую минуту больно стало, что нужно любить такого круглого. А Зося говорит:

— Ты согласна?

Ну что делать? Я говорю:

— Да.

А Зося обрадовалась.

— Я, — говорит, — сегодня же вечером спрошу, согласен ли он в тебя влюбиться, потому что в нашем клубе требуется, чтобы любовь была взаимна.

На другой день отзывает меня Зося в угол и рассказывает, как она предложила Юреку в меня влюбиться. Он сначала спросил Зосю: «А что я от тебя за это получу?» Но Зося ему объяснила, что это надо сделать совершенно даром, и рассказала ему про клуб. Тогда он спросил:

— Это какая же Зу? Это та, что с абажуром на шее?

Поломался немножко, но, впрочем, в конце концов согласился влюбиться.

Мне было очень неприятно, что мой чудесный воротник, которому многие девочки завидовали, он назвал абажуром, но из-за такого пустяка разбивать и свое, и его сердце было бы глупо.

Итак — начался роман.

Каждый день в четыре часа я вместе с другими героинями бежала к окну и махала платком. На мое приветствие оборачивалось круглое лицо, и видно было, как оно вздыхает.

Потом Зося принесла мне открытку, которую Юрек сам для меня нарисовал и раскрасил. Открытка очень взволновала меня, хотя на ней и были изображены просто-напросто гуси. Я даже спросила Зосю — почему именно гуси? Зося ответила, что это оттого, что они ему очень хорошо удаются.

В ответ на гусей я послала ему стихи. Не совсем свежие — я их уже несколько месяцев писала в альбом подругам. Но они ведь от этого хуже не стали.

Когда весною ландыши цветут,
Мне мысли грустные идут
И вспоминаю я всегда
О днях, когда была я молода.

И вот дня через два передала мне Зося стихи от Юрека. Стихи были длинные. Тогда была мода на декадентов, и он, конечно, просто перекатал их из какого-нибудь журнала. Стихи были непонятные, и слова в них были совсем ужасные. Читала я, спрятавшись в умывалку, Зося стояла на часах. Я, как только прочла, так сейчас же разорвала бумагу на мелкие кусочки, кусочки закрутила катышем и выбросила в форточку.

От стихов в голове стало совсем худо и даже страшно. Ухватила я только одну фразу, но и того было довольно, чтобы прийти в ужас. Фраза была:

Я, как больной сатана,
Влекусь к тебе!

Больной сатана! Такой круглый и вдруг, оказывается, больной сатана! Это сочетание было такое страшное, что я схватила Зосю за шею и заревела.

В четыре часа не пошла к окошку. Боялась взглянуть на больного сатану.

Был у меня маленький медальончик, золотой с голубыми камешками. Вот я пробралась потихоньку в нашу часовенку и повесила этот медальончик Мадонне на руку. За больного сатану. Так и помолилась. — «Спаси и помилуй больного сатану».

Настроение у меня было ужасное. Чувствовала и понимала, что погрязла в грехе. Во-первых, смотрела в окно, что само по себе уже грех, во-вторых, влюбилась, что грех уже серьезный и необычайный, и, наконец, этот ужас с больным сатаной. Такой страшный объект для любви!

А тут как раз наступил пост и моя первая исповедь.

У нас девочки всегда записывали на бумажке свои грехи, чтобы чего-нибудь не забыть. Грехи записывались свои, чужие — то есть те, которые знала да не донесла, а покрыла, и, так сказать, сделалась как бы соучастницей. Затем грехи обычные и наконец — тяжкие.

Я все записала, как другие, а в последний момент записочку-то и потеряла.

Можете себе представить мое состояние? И без того-то в душе ужас, хаос, отчаяние, а тут еще грехи потеряла.

А храм у нас был старый, черный, с колоннами. Черные огромные ангелы нагнулись и трубят в трубы. А в узкое узорное окно стучат дождевые капли и текут по стеклу слезами.

И надо будет сказать старому строгому кюре о моем страшном грехе. И он не простит меня, ни за что не простит, и закачаются колонны, и затрубят черные ангелы, и рухнут своды.

— Будь проклята, черная грешница!

И вот я у окошечка. Рассказываю дрожащим голосом о том, как лгала, как украла у Галюси чудную новую резинку, маленькую, круглую. Потом вернула. Как люблю сладкое, как ленюсь. Ах, все это пустяки. Я не ребенок, я отлично понимаю, что сам кюре позавидовал бы такой резинке. Все это вздор и мелочи. Главное впереди.

— У меня есть страшный грех.

— Какой, деточка?

Лечу в пропасть. Закрываю глаза.

— Я влюблена.

Он ничего, спокоен.

— В кого же?

Шепчу:

— В Юрека.

— Что же это за Юрек?

— Он Зосин брат. Он очень взрослый. Ему скоро тринадцать.

— Вот как! А где же ты с ним видишься?

— А я совсем не вижусь. Я в окно.

Он ничего, только брови поднял.

— Вот, — говорит, — деточка, как нехорошо. Вам ведь запрещено в окошко смотреть. Надо слушаться.

Я все жду, когда же он рассердится. А он говорит:

— Ну вот, больше в окошко не смотри, а помолись Богу, чтобы Юрек был здоров и хорошо учился.

Только и всего!

И вдруг весь мой страшный грех показался мне таким пустяком, и вся история с Юреком такой ерундой, а сам Юрек смешным, круглым мальчиком. И вспомнились разные унизительные для героя штуки, которые рассказывала Зося и которые я инстинктивно пропускала мимо ушей. Как Юрек боится темной комнаты, и как ревел, когда был у дантиста, и как съедает по три тарелки макарон со сметаной.

«Ну, — думаю, — дура я дура! И чего я так мучилась».

На другой день побежала в четыре часа к окошку. Вижу — ждет.

Я скорчила самую безобразную рожу, высунула язык, повернулась спиной и ушла.

— Зося! — говорю. — Я твоему брату дала отставку. Пусть так и знает.

На другой день приходит Зося в школу страшно расстроенная.

— Ты, — говорит, — сама не знаешь, что ты наделала! Юрек говорит, что ты его оскорбила и что он, как дворянин, не перенесет позора.

Я безумно испугалась.

— Что же он сделает?

— Не знаю. Но он в ужасном состоянии.

Как быть? Неужели застрелится?

Я надену длинное черное платье и всю жизнь буду бледна. А самое лучшее сейчас же пойти в монастырь и сделаться святой.

Напишу ему прощальное письмо. В стихах. Он тогда стреляться не будет. Со святой взятки гладки.

Стала сочинять.

Средь ангелов на небе голубом
Я помнить буду о тебе одном.

Не успела я записать эти строки, как вдруг — цоп меня за плечо.

Мадемуазель!

Наша строгая классная дама.

— Что ты там пишешь, дитя мое?

Я крепко зажала бумажку в кулак.

— Я тебя спрашиваю, что ты такое пишешь? Покажи мне.

— Ни за что!

Она поджала губы, раздула ноздри.

— Почему?

— Потому что это моя личная корреспонденция.

Очевидно, я где-то слышала такое великолепное официальное выражение, оно у меня и выскочило — к моему собственному удивлению.

— Ах, вот как!

Она схватила меня за руку, я руку вырвала. Она поняла, что ей со мной не справиться.

— Петр!

Петр был сторож, звонил часы уроков, подметал классные комнаты.

— Петр! Сюда! Возьмите у барышни записку, которая у нее в кулаке.

Петр шмыгнул носом и решительно направился ко мне.

Тут я гордо вскинула голову и швырнула смятую бумажку на пол:

— С мужиком я драться не стану!

Повернулась и вышла.

Девочки разъехались. Меня на праздники не отпустили. Я наказана. И то еще хорошо. Собирались вообще выгнать из лицея за дерзкое поведение и безнравственное стихотворение.

Я сидела у окна и писала сочинение, которое в наказание задала мне классная дама.

Сочинение о весне.

Праздничный благовест лился в окно. Пух цветущих деревьев летел и кружился воздухе. Щебетали веселые птицы, и пахло водой, и медом, и молодой весенней землей.

«Весна», — написала я.

И крупная слеза капнула, и расплылось чернило моей «Весны».

Я обвела кляксу кружочком и стала разрисовывать сиянием.

И неправда ли, она, эта моя весна, заслужила сияние? Ведь она у меня так и осталась в нимбе моей памяти, как видите — на всю жизнь.

«Весна».

Брат Сула

В полутемной гостиной сидела худенькая дама в бледно-зеленом платье, вышитом перламутровыми блестками, и говорила моей матери:

— Ваш петербургский климат совершенно невыносим. Сегодня этот туман, тяжелый, темный, совсем лондонский. Я должна как можно скорее бросить все и ехать на юг Франции. Муж останется в деревне — он будет в этом году баллотироваться в предводители. Шуру я оставила с ним. Петю отдала в немецкую школу и оставлю здесь, у бабушки. Подумайте, сколько мне хлопот! А сама до весны в Ментону. Пря-

мо не представляю себе, как я со всем этим справлюсь. И я так слаба, так слаба после этого шока. Я ведь пятнадцать лет тому назад потеряла прелестного ребенка, моего первенца, красавца, настоящего корреджиевского bambino[1], к которому я была безумно привязана. Он жил всего два часа, мне его даже не показали. С тех пор я никогда не снимаю черного платья и не улыбаюсь.

Она на минутку запнулась и прибавила, как бы в пояснение своему туалету:

— Я прямо от вас к Лили, а оттуда в оперу.

Тут она заметила меня.

— А это... это Лиза? — спросила она. — Ну, конечно, Лиза. Я ее сразу узнала. Но как она выросла!

— Это Надя, — сказала мама.

— Но где же Лиза?

— У нас Лизы никогда и не было.

— Неужели? — равнодушно удивилась дама. — Значит, это Надя. Надя, ты меня помнишь? Я тетя Нелли. Шура! — обернулась она в глубь комнаты. — Шура, будь любезен, если тебе не трудно, снять локти со стола. И вообще подойти сюда. Вот твоя кузина Надя. Можешь за ней ухаживать.

Из темного угла вышел белобрысый мальчик в гимназической суконной блузе, подпоясанной лакированным ремнем с медной пряжкой.

— Вот это Петя. Петя, если тебя не затруднит, поздоровайся с кузиной. Это та самая Лиза, о которой я тебе часто рассказывала.

— Надя, — поправила мама.

Петя шаркнул ногой. Я, не зная как быть, сделала реверанс.

— Она немножко недоразвита, ваша Лиза? — с очаровательной улыбкой осведомилась тетя Нелли. — Это хорошо. Ничто так не старит родителей, как слишком умные дети.

Тетя Нелли очень мне понравилась. У нее были чудесные голубые глаза, фарфоровое личико и пушистые золотые во-

[1] Мальчика (*ит.*).

лосы. И она так быстро и весело говорила, совсем не похоже на других моих теток, строгих и некрасивых.

И все у нее выходило так приятно. Вот, например, она всю жизнь не снимает черного платья, а оно у нее зеленое. И от этого никому не грустно, а всем приятно. И вот она нашла меня глупой, но сразу доказала, что это очень хорошо. А другие, когда говорят, что я глупа, так непременно подносят это как оскорбление. Нет, тетя Нелли действительно прелесть.

Я больше ее не видела. Она уехала раньше, чем думала. Должно быть, шок, полученный пятнадцать лет тому назад, давал себя чувствовать. И потом столько хлопот — муж в деревне, сын у бабушки. Словом, она укатила до весны, а в воскресенье явился к нам ее сын Петя, один.

— Сколько вам лет? — спросила я.

— Скоро будет тринадцать, — ответил он. — Очень скоро. Через одиннадцать месяцев.

Он не был похож на свою мать. Он был востроносый, веснушчатый, с небольшими серыми глазами.

— А моему младшему брату Шуре одиннадцать, — вдруг страшно оживился он. — Мой младший брат Шура, он остался в деревне, чтобы писать роман.

— А ваша мама говорила, что ему рано в школу.

Это замечание Пете как будто не понравилось. Он даже немножко покраснел.

— Да, он... он пока предпочитает заниматься дома. И он очень любит зиму в деревне. И ему будет много хлопот — папа будет баллотироваться.

Тут я заметила, что мой собеседник был немножко шепеляв, вместо «Шура» у него выходило почти «Сула». Вспомнилось только что пройденное в Иловайском «Марий и Сулла». И вообще он как-то неправильно говорил по-русски. Потом выяснилось, что с детства он говорил по-английски с гувернанткой, по-французски с матерью, а теперь в школе по-немецки. С отцом он никогда не разговаривал — не приходилось, — но считалось, что это происходит по-русски. Молчал по-русски.

— А вот мой младший брат Шура, тот отлично говорит. Он так разговаривал с кучером, что тот даже пошел папе жа-

ловаться. Он все может, мой младший брат Шура. Он пишет французский роман. Замечательный. У меня есть начало. Хотите, я вам прочту?

Он отошел в сторону и стал шарить в кармане. Пошарил, вытащил обломок карандаша, огрызок шоколада, кусок мягкой резинки, которой запрещено было щелкать в классе, вынул копейку с налипшим к ней леденцом и, наконец, сложенный листок разлинованной бумаги, явно выдранный из школьной тетрадки.

— Вот. Это начало романа. Сочинил мой младший брат Шура, а я записал. Вот.

Он откашлялся, посмотрел на нас внимательно, по очереди — слушателями были мы с сестрой, — очевидно, проверил, достаточно ли серьезно мы настроены, и начал:

— «Знаете ли вы, что такое любовь, которая разрывает все ваши внутренности, заставляет вас кататься по полу и проклинать свою судьбу». Вот все. Это только начало романа. Дальше пойдет еще интереснее. Мой младший брат Шура будет зимой придумывать имена для героини и героя. Это труднее всего.

Вскоре выяснилось, что Петя сам пишет роман, но уже по-русски. Он в немецкой школе живо постиг тонкости русского языка и даже написал несколько стихотворений, посвященных школьному быту. Сейчас, конечно, мне процитировать их было бы трудно, но некоторые особенно яркие строки я пронесла в памяти своей через всю жизнь.

Звонит звонок.
Кончается урок.
И ученики на радости
Спускаются на низ.

Потом, помню, была еще едкая сатира на какого-то учителя Кизерицкого. Стихотворение кончалось строками очень высоких тонов:

О, несчастный Кизерицкий.
Вспомни о судьбе своей,
Как ученики тебя боятся
И страшатся завсегда.

Роман Пети еще закончен не был, и он прочел нам только два отрывка. По-моему, роман был написан под сильным влиянием Толстого, отчасти «Войны и мира», отчасти «Анны Карениной».

Начинался он так:

«— Няня, соберите скорее Митины пеленки. Завтра мы едем на войну, — сказал князь Ардальон».

К стыду моему, должна признаться, что совершенно забыла дальнейшее развитие этой главы. Но зато помню содержание другого отрывка.

Князь Ардальон, оставив на войне няню и Митю с пеленками, неожиданно вернулся домой и застал у жены князя Ипполита.

«— Ты, негодяй, изменяешь мне! — воскликнул князь Ардальон и направил на него конец своей шпаги.

Где-то в трубе загремела заслонка».

Помню, что на меня очень сильное впечатление произвела именно эта последняя загадочная фраза. Почему вдруг в трубе загремела заслонка? Было ли это неким оккультным явлением, отмечавшим кровавую драму? Или князь Ардальон так размахался шпагой, что повредил печку? Ничего не понимаю и не понимала, но чувствовалось веяние таланта и было жутко.

— А ваш младший брат Шура много пишет?

— Нет, ему некогда. Он больше обдумывает. И вообще, у него масса планов. А как он обращается с женщинами! У нас гостила одна дама, очень роскошная женщина. Так Шура пригласил ее погулять в лес и завел в болото. Она кричит, зовет на помощь. А он ей говорит: «Хорошо, я вас спасу, но за это вы должны быть моею». Ну, она, конечно, согласилась. Он ее и вытащил. Иначе — смерть. Болото засасывает. В прошлом году туда корова провалилась.

— А отчего же он корову не вытащил? — спросила моя младшая сестра, смотря на Петю испуганными круглыми глазами. — Ведь он мог бы и корову взять потом себе?

— Не знаю, — отвечал Петя. — Должно быть, некогда было. Мой брат Шура все может. Он плавает лучше всех на свете. Скорее всякой змеи, а змея может проплыть больше двухсот верст в час, если считать на километры.

— А прыгать он умеет?

— Прыгать? — переспросил Петя с таким видом, будто его даже смешит такой вопрос.

— Ну конечно! И он такой легкий, что может продержаться несколько минут на воздухе. Прыгнет — и остановится, а потом уже опустится. Конечно, не особенно высоко, а так приблизительно до моего правого виска. Вот на будущий год он приедет, так он вам все покажет.

— А он высокого роста? — спросила я, стараясь представить себе этого героя.

— Очень высокий. Выше меня на три четверти головы и еще на два вершка. А может быть, даже немножко ниже.

— Да ведь он же младше вас?

Петя засунул руки за ремень пояса, повернулся и стал молча смотреть в окно.

Он всегда так отворачивался и уходил к окну, когда у нас срывался какой-нибудь бестактный вопрос.

— А скажите, Шура тоже будет держать экзамен в вашу гимназию?

— Ну, ему экзамен не страшен. Он в две минуты сам провалит всех учителей, мой младший брат Шура!

Все эти рассказы глубоко нас волновали.

Часто вечером, приготовив уроки, мы с сестрой садились на диванчик в темной гостиной и разговаривали о Шуре. Называли мы его «брат Сула», потому что Петя слегка шепелявил и у него выходило приблизительно так.

Что это был одиннадцатилетний мальчик, мы как-то совершенно забыли. Помню, увидели в окне магазина огромные охотничьи валенки, обшитые кожей.

— Вот, — говорим, — наверное, такие штуки носит «брат Сула».

Конечно, мы немножко посмеивались над тем, что брат Сула может держаться на воздухе, но какой-то трепет в душе от этого рассказа все-таки остался.

— Факиры, однако, на воздухе держатся.

Что Сула сразит всех экзаменаторов, тоже подозрительно. Но вот в «Детстве знаменитых людей» сказано же, будто Паскаль в двенадцать лет защищал какую-то диссертацию.

Вообще все это было очень интересно и даже страшновато.

И вот узнаем новость — брат Сула приедет на Рождество.

— Еще захочет ли к нам прийти!

Стали готовиться к встрече знатного гостя. У меня была голубая лента, которую можно завязать вокруг головы. У сестры ничего такого эффектного-элегантного не было, но так как она будет стоять рядом со мною, то лента будет немножко и ее украшать.

За столом взрослые слышат наши разговоры о Шуре и удивляются. Они ничего об этом феномене не знают.

«Ну, — думаю, — мы-то зато все знаем».

И вот возвращаемся как-то с прогулки.

— Идите скорее, — говорит мама. — Вас мальчики ждут.

— Брат Сула! — взволнованно шепчет сестра. — Скорее твою ленту!

Мы бежим в спальню. Руки дрожат, лента сползает с головы.

— Что-то будет! Что-то будет!

В гостиной нас ждет Петя. Он какой-то притихший.

— А где же... — начинаю я и вижу щупленького маленького мальчика в матросской курточке и в коротеньких штанишках с пуговками. Он похож на воробыша, у него веснушчатый носик и рыжий хохолок на голове.

Мальчик подбежал к нам и запищал взволнованно, словно ябедничая, и уже совсем шепеляво:

— Я Сула, я Петин блат, Сула...

Мы застыли с открытыми ртами. Мы ничего подобного не ждали. Мы даже испугались. Если бы мы увидели какое-нибудь чудище, Вия, слона с львиной гривой — мы бы меньше растерялись. К чудищу мы внутренне были подготовлены. Но этот рыженький воробеныш в коротких штанишках... Мы глядели на него в ужасе, как на оборотня.

Петя молча, засунув руки за ремень пояса, повернулся и пошел смотреть в окно.

Сосед

В больших, важных домах с дорогими квартирами вы можете десять лет прожить, не зная, кто живет по соседству с вами. Иногда оказывается, что на одной лестнице, на той

же площадке, живет старый ваш, давно вами потерянный из вида приятель, а вы узнаете об этом только случайно, из третьих рук.

Совсем не так обстоят дела в дешевых домах, на грязненьких лестницах, без лифта и прочих фокусов. Там живут по-соседски, бегают друг к другу за перцем, за солью, за спичками, наскоро делятся семейными новостями и политическими ужасами.

Квартирка по соседству с Узбековыми пустовала недолго. На третий день уже распахнулись ее двери настежь, впустили четыре матраца, стол, буфет, кухонный шкапчик, три стула, два кресла и всякое мягкое барахло. Потом боком, сопровождаемый воплями, молящими об осторожности, въехал зеркальный шкаф. На этом дело закончилось. Новые жильцы водворились на место.

На следующий день Катя Узбекова, возвращаясь с базара, встретила на своей площадке выходящих из дверей новых соседей: озабоченную, еще молодую, женщину общематеринского образца. С ней две девчонки, лет по восьми, и маленький толстый мальчик.

Женщина поздоровалась, спросила, где что надо покупать; девочки, востроносые, востроглазые, рассматривали Катю разиня рот, удивленные ее видом и акцентом.

Толстый мальчик оказался человеком осторожным. Он спрятался за юбку матери и выглядывал оттуда то с одной, то с другой стороны, по очереди: то одним, то другим глазком.

Так завязалась соседская жизнь. Занимали друг у друга соль, перец и спички, рассказывали политические новости.

Соседские девчонки бегали в школу. Толстый мальчик ходил с матерью утром на базар. Днем либо стучал чем ни попало, либо ревел во весь голос. Очевидно, жилось ему скучно.

Как-то встретив его на лестнице, Катя сказала:

— Пойдем ко мне, хочешь?

Мальчик подумал и спросил:

— Зачем?

— Я буду борщ варить.

— Что?

— Борщ.

— А я?

— А ты будешь смотреть, хочешь?

— Хочу.

Ему было немножко стыдно, что так быстро согласился. Продешевил себя. Ну, да уж раз дело сделано, назад не разделаешь.

Пошел.

На кухне он влез на табуретку, выпучил глаза и в блаженном удивлении смотрел, как Катя резала картофель и свеклу. От усердия за нее надул губы и сопел носом.

— Сколько тебе лет? — спросил Катя.

— Четырнадцать, — отвечал он и посмотрел исподлобья, какое это произведет на нее впчатление.

— Должно быть, четыре, — решила Катя.

Он вздохнул и прошептал:

— Четыре.

Приготовление борща оказалось таким интересным, что даже было жаль, когда Катя сложила все нарезанное в кастрюлю и поставила на плиту.

— Это можно будет есть? — спросил он.

— Можно.

— Оттого, что вы русские?..

Квартира Катина была невелика: две комнатушки да кухня. Но толстый мальчик осматривал все, точно попал невесть в какие палаты или, по крайней мере, в музей.

Особенно поразила его лампадка в углу перед иконой. Поразила до испуга. Долго смотрел, хотел что-то спросить и не решился.

Когда мать постучала в дверь и позвала его домой, он ушел, совершенно подавленный и ошеломленный нахлынувшими на него впечатлениями. Икона, клетка для канарейки, которую скоро купят, корзинка, в которой прежде жил кот, — он теперь ушел в больницу, — круглая кофейная мельница, борщ со свеклой и бинокль.

Все это надо было обмыслить, обдумать, понять и оценить. Он ушел подавленный и даже забыл попрощаться. И когда мать строго ему об этом напомнила, он не остановился, а, наоборот, прибавил ходу.

Когда борщ был готов, Катя налила в мисочку и пошла угостить соседа.

— Пополь! — позвала мать.

Толстый мальчик вышел и взглянул на Катю смущенно и радостно. Выводы, сделанные из сложных первых впечатлений, были хорошие.

Вечером соседка вернула мисочку и рассказывала, что Поль от борща совсем потерял голову, что он даже не знал, что на свете бывают такие вещи. Сосед Поль оценил русский суп.

С этого началась дружба.

Катя брала соседа с собой за покупками. Если условлено было идти после обеда, сосед с восьми часов утра уже стоял под дверью на лестнице, в пальто и в шапочке. Очень боялся, что уйдут без него. В Катин дом входил всегда с широко раскрытыми глазами, заранее готовыми удивиться на какое-нибудь радостное чудо.

«Лерюсс»[1] были удивительные существа. Ели самые странные вещи. Даже хлеб у них был не такой, как у всех, а черный.

И разговаривали «Лерюсс» не так, как все, а кричали, громко и звонко, точно перекликались где-нибудь в деревне через забор. И все время приходили к «Лерюссам» гости и съедали все, что только у «Лерюссов» было в буфете и в кухонном шкапчике, а «Лерюссы» только радовались и от радости даже пели. Вся жизнь «Лерюссов» была очень странная и очень интересная. Кроме всего прочего, они все время ели, и, если к ним кто-нибудь приходил, и тот тоже принимался есть. Как только кто-нибудь появлялся в передней, оба «Лерюсса» начинали кричать друг другу:

— Скорее чаю!

Гость ничуть не удивлялся и был очень доволен.

Эту фразу — «скорее чаю!» — сосед Поль выучил прежде всего, даже прежде, чем «карашо» и «нитшево».

Дожидаясь Кати на лестнице, он кричал в дверь:

— Скорэ тшаю!..

Что, собственно говоря, это значит, он не спрашивал. Он, кажется, считал эти слова чем-то вроде боевого клича.

Удивляло его, кажется, больше всего то, что Катя, работая, поет. Француженки работают серьезно. Старухи ворчат, молодые кряхтят. Никто не поет.

---

[1] Русские (от *фр.* «les Russe»).

Из Катиных песен больше всего понравилось ему:

Пойдем, Дуня, Дунюшка,
Во лесок, во лесок.
Сорвем, Дуня, Дунюшка,
Лопушок, лопушок.
Сошьем, Дуня, Дунюшка,
Фартушок, фартушок...

Мотив трудный, переливчатый, слова такие, что их и русскому слуху не сразу ухватить. Ужасно эта песенка соседу Полю понравилась. Сидел он, толстый, красный, на столе, с пряником в руке, и старательно выводил:

— Фахту-шок. Фахту-шок...

Перед Рождеством повела его Катя смотреть игрушки в магазинах.

Было холодно. Соседа нарядили в сестрину кофту и сверху, зашпилив концы, навертели байковый платок. Сосед еле двигался, а когда его посадили, руки и ноги у него торчали прямо, не сгибаясь, как у деревянной куклы.

В автобусе две дамы громко разговаривали по-русски. Ухо соседа уловило знакомые звуки:

— Это русский автобус? — спросил он у Кати.

В окнах магазинов любовались «Пэр Ноэлями» и маленькими яслями с младенцем Христом.

— У маленького Иисуса два отца? — спросил сосед.

— Что за пустяки! — сказала Катя. — Отец всегда один.

— А у него два, — упрямо сказал сосед. — Святой Иосиф и Пэр Ноэль.

Потом вздохнул и прибавил:

— Вы русские, вы этого не понимаете.

Спросил, почему русский Пэр Ноэль приходит на две недели позже?

Катя не знала, что ему ответить, чтобы он понял. Но он не стал долго ждать и сам объяснил:

— Конечно, вашему Пэр Ноэлю нужно время, чтобы прийти из Москвы.

Полюбовавшись на витрины больших магазинов, отправились в кондитерскую.

В кондитерской полным-полно нарядных детей. Сидят, только носы торчат над столом, но едят чинно, щек

не замазывают, на скатерть не проливают. Сосед вдруг сконфузился:

— Это ничего, если я тоже сяду? — тихонько спросил он у Кати.

Пирожное выбрал для себя попроще, без крема:

— Я боюсь, что крем шлепнется на пол, и они начнут надо мною смеяться...

Сосед оказался самолюбивым. Для спасения своей чести пожертвовал кремом. Сильный характер.

Перед кондитерской ходил по тротуару ряженый Дед Мороз с елочкой в руках. Дети кричали ему свои желания. Матери слушали, кивали головой, — но он-то тут совсем ни при чем. Пэр Ноэль все сам припомнит, кому чего хочется.

Сосед не посмел прокричать свои желания. К тому же их было так много, что все равно не успеешь. Он вообще желал всего, что просили другие дети, да кроме того, и всех тех диковинных штук, которые были у «Лерюссов». Но, конечно, его очень мучило, что он не посмел попросить. И он был очень несчастен. Хорошо, что Катя догадалась в тот же вечер написать русскому Пэр Ноэлю. Тот принесет все, что сможет с собой захватить. Настоящую железную дорогу, которую заказал сосед, пожалуй, не сможет, но барабан притащить нетрудно. И чудесный флакон из-под бриллиантина, наверное, тоже прихватит. Словом, жизнь будет еще прекрасна.

В сочельник вечером востроносые соседовы сестрички живо вычистили свои башмаки и поставили их у камина.

Бедный Поль долго сопел над своими стоптанными и грязными башмачонками. Отчистить их было трудно. Девчонки хихикали, что в такие башмаки можно положить только розгу. Сколько сосед ни крепился, пришлось зареветь. Вся надежда оставалась на русского Пэр Ноэля, который, говорят, и без башмаков приносит подарки. У «Лерюссов» всегда все чудесное.

После праздников произошла катастрофа.

«Лерюссы» уехали.

Он, папа-лерюсс, нашел место. Вот они и уехали.

Сосед получил подарки. Корзинку из-под кота, флакон из-под бриллиантина, четыре восковых спички, чудную граненую пробку от разбитого графина и карманное зеркальце, которое может, по словам Кати, пригодиться, когда сосед женится. Для молодой жены.

Сосед долго не понимал, что «Лерюссы» уехали окончательно, и по утрам по-прежнему подходил к их двери и громко кричал:

— Скорэ тшаю!..

Но как-то дверь на его крик открылась, и сердитая пожилая дама спросила его на обыкновенном французском языке, зачем он кричит, и велела сейчас же идти домой.

Тогда сосед понял, что все кончено, и присмирел.

Он никогда ни с кем не говорил о «Лерюссах», об этих странных и чудесных существах, которые пели, когда у них не было денег, угощали, когда нечего было есть, и завели клетку для канарейки, которой не было.

Он скоро забыл о них, как забываются детские сказки.

Дольше всего держался и звенел в памяти мотив песенки про Дунюшку и лесок:

— Ду-у-у-ду... — мурлыкал сосед.

Но слов уже не помнил.

Воспитание

Воспитание — дело сложное.

Когда отец, выпуча глаза, бешено орет на мальчишку:

— Сними локти со стола, с-сукин сын! — не знаю, хороший ли это прием для внушения мальчику светских и изящных форм жизни.

В Москве в одном довольно известном пансионе для благородных девиц была очень добросовестная наставница, которая, главным образом, наблюдала за тем, чтобы вверенные ей воспитанницы готовились к жизни в духе религии и хороших манер. И вот, от чрезмерного ли усердия или по другой причине, эти два понятия — светскость и религия —

так перепутались в ее старой голове, что, в конце концов, она стала считать апостолов за образец хороших манер.

— Лидочка, ма шер, — говорила она за столом плохо сидевшей девочке, — разве можно держать локти на столе? Апостолы никогда не клали локтей на стол, только один Иуда. Это даже на священных картинах изображено.

Да, тяжело испытание, через которое должен пройти каждый ребенок уважающих себя родителей: не ешь с ножа, не дуй в чашку, не макай сухарь в чай, не болтай ногами, не говори, пока тебя не спросят. Зато как отраден момент, когда воспитание закончено и человек чувствует себя вправе положить ноги на стол и уцепить всей пятерней целую баранью кость.

Все это, конечно, очень важно, но мадам Армеева имела в виду не только светское воспитание, когда привезла своего Костеньку к Людмиле Николаевне. Она надеялась, что Людмила Николаевна будет и на душу Костеньки иметь облагораживающее и смягчающее влияние. Сама Армеева продолжать Костенькино воспитание не могла, потому что по делам, очень неясным и смутнообъясняемым, должна была плыть в Америку на неизвестный срок. Говорила Армеева об этой поездке всегда с какими-то странными ошибками. Например, так:

— Мы решили выехать двадцатого, то есть я.

— Нет, мы не хотим, то есть я, ехать на Марсель.

— Мы, то есть я, заказали билеты уже давно.

Это вечное «мы, то есть я» было довольно странно, потому что мадам Армеева ехала в Америку одна.

Очень странно, почему «мы, то есть я, заказали», а не «заказала». Если ошиблась и поправилась, так уж говори дальше правильно. И почему «билеты», а не «билет». Ну да это ее дело, и нас не касается. Нас касается только то, что мальчишка попал к милой и душевной Людмиле Николаевне, которая с полной готовностью и открытым сердцем принялась за его воспитание.

— Теперешние дети, — говорила она своей приятельнице Вере Ивановне, — ужасные матерьялисты. Дело воспитания современного ребенка заключается именно в том, чтобы оторвать его немножко от земли и приблизить к вечному.

Я, кажется, не очень точно выражаюсь, и вы еще, пожалуй, бог знает что подумаете...

— Да, признаюсь... не совсем, — согласилась Вера Ивановна. — Можно так понять, что вы его не будете кормить, и он, того... уйдет в вечность.

Людмила Николаевна поморгала своими выпуклыми бледными глазами.

— Да, это могло так показаться. Это со мной всегда так случается, когда я говорю о волнующих меня вопросах.

— Но, знаете, дорогая моя, — сказала Вера Ивановна, — в наш век не мешает быть практичным. Вы его очень-то от земли не отрывайте. Я вас знаю. Вы уж слишком экзальтированная.

— Не бойтесь. Я буду вести очень осторожно вверенную мне младую душу.

Мальчишка ходил в школу, учился неважно и все время боялся, как бы не выучить чего лишнего. Если знал, что учитель его спрашивать не будет, так и в книжку не заглядывал.

— Ну как же это можно так относиться к делу? — усовещевала его Людмила Николаевна. — Учиться, друг мой, надо для знания, а не для отметок.

— Именно для отметок, — деловито отвечал Костенька. — Ну, вот вы, например, разве вы знаете, в котором году умер Сципион?

— Кто? — заморгала глазами Людмила Николаевна.

— Сципион.

— Нет, не знаю. И поверь, друг мой, что об этом жалею.

— Ну, это вы, положим, врете, — добродушно отметил Костенька. — Ну, представьте себе, что вы бы знали. Что бы вам от этого прибавилось? Стали бы вам дешевле масло продавать? Или столяр даром бы починил вам кресло? А я вот не желаю себе забивать голову всякой соломой. «Учиться для знания! Учиться для знания!» Если, по-вашему, отметки — ерунда и ничего не стоят, так чего же вы ворчите, когда у меня отметки дурные? Я, может, великолепно все выучил для знания, а только ответить не сумел. Я, может быть, застенчивый мальчик из глухонемых, не совсем глухонемых, а

немножечко. Вот мне и лепят единицы. А потом меня со всеми моими знаниями вышибут вон. А другой, подлый мальчик хитрит, ленится, идет на подсказках, а отлично кончает школу. И все его хвалят.

— Ну, этого не бывает, — наставительно сказала Людмила Николаевна. — Правда всегда восторжествует.

— Если хорошо поджулить, так и не восторжествует, — тоже наставительно отвечал Костенька и даже подмигнул.

— Все-таки, если совсем не будешь ничего знать, так на экзаменах непременно провалишься.

— На экзаменах подскажут. А если мама привезет из Америки денег, можно будет сунуть инспектору хороший подарок, так и без экзамена переведут.

— Боже мой, какие у тебя мысли! — ахала Людмила Николаевна.

— Ну чего вы наивничаете? — пожимал плечами Костенька. — Мама мне сама рассказывала, как ее брат скверно учился, так ее папа подарил директору лошадь, лошадь и вывезла.

— Ах, как это все нечестно! И нельзя все основывать на деньгах. Деньги тлен и прах.

— А вот пойдите-ка без тлена на базар, много принесете?

— Пошел вон, скверный мальчишка, не желаю с тобой разговаривать! Чтоб в четырнадцать лет был уже таким матерьялистом! Это прямо безобразно!

— А в пятьдесят лет ругать бедного мальчика не безобразно? — с укором сказал Костенька и высунул язык.

Время шло. Мальчишка что-то хитрил, что-то поджуливал, в трудные дни в школу не ходил и заставлял Людмилу Николаевну писать инспектору, что он болен.

— В трудные дни ходить в школу — это сознательно ловить единицу.

Людмила Николаевна ворчала, однако убеждалась, что при этой системе дела пошли лучше.

— Вы вообще поменьше спорьте и побольше верьте мне, — говорил мальчишка. — Отчего вы руку себе трете?

— Ревматизм, — грустно покачала головой Людмила Николаевна. — Были бы деньги, поехала бы грязевые ванны брать.

— Ага, — возликовал Костенька, — денег-то нет, вот и сидите с ревматизмом. Ага! А были бы деньги, рука бы не болела.

— Нечего тут «ага» да «ага», — смущенно проворчала Людмила Николаевна. — Иди лучше уроки готовь!

Посоветовалась по телефону с Верой Ивановной, как привить мальчишке светлые идеалы. Вера Ивановна ничего посоветовать не смогла.

— Не знаю, голубчик, как его облагородить, — сказала она. — Может быть, его следует просто выпороть?

На другое утро Костенька вошел на кухню.

— Зачем же вы кофе мелете, когда у вас рука болит?

— А кто же будет молоть? Уж не ты ли?

— Конечно, не я. Я ребенок. Наймите прислугу.

— Это мне не по средствам.

— А трудно молоть? Больно?

— Ну, конечно! Глупый вопрос.

— А денег-то на прислугу нет? Ага!

— Какой ты скверный мальчик! — укоризненно покачала головой Людмила Николаевна. — Все-то ты сводишь на деньги.

— Ну нет, — прищелкнул языком Костенька, — это вы сами меня этому учите, говорите, что работать трудно, а на прислугу денег нет. Вот я и смекаю.

— Какой ужасный мальчик! — почти с благоговением шептала Людмила Николаевна.

Пока мальчишка был в школе, она обдумала, как именно приступить к его душе, чтобы указать ей на прекрасное и вечное и оторвать от земного и грубого.

За завтраком, сделав специальное, одухотворенное лицо, она сказала проникновенно:

— Костя, дорогой мальчик мой, ты прав относительно того, что в бедности жить трудно. Но ты...

— Ага! — крикнул Костенька. — Поняли? Долго же пришлось вам вдалбливать.

— Подожди, не перебивай, — остановила его Людмила Николаевна. — Ты обращаешь внимание только на внеш-

нюю сторону жизни. Попробуй посмотреть глубже. Если у бедного человека ясная и светлая душа, он даже не замечает окружающих его лишений. Пусть жизнь его мрачна, — не все ли равно, когда у него в душе поют птицы.

— А у вас поют? — деловито осведомился Костенька.

— Да, друг мой, — восторженно воскликнула Людмила Николаевна. — Да! Разве я могла бы так спокойно и благостно... да, ты, кажется, все четыре антрекота съел? — вдруг изменившимся голосом перебила она свою речь. — Ну как же тебе не стыдно! И можно ли так много есть? Ведь ты уже съел две тарелки борща, два пирожка, тарелку макарон... Ведь ты это прямо нарочно съел, мне назло. Это же ненормально! Ты никогда больше одного не съедал. Что же я на вечер подам? Да наконец, я и сама еще не ела. Мне не жалко этих антрекотов, но меня раздражает такая нарочитая грубость с твоей стороны. Никогда ты не подумаешь о своем ближнем. Все для себя, все для себя.

— Именно подумал, — пробурчал Костенька, доглатывая последний кусок.

— О чем подумал? О чем, злой дурак, мог ты подумать своей безмозглой головой?

— О вас. О вас подумал. Нарочно все съел. Мне даже не хотелось, ей-богу. Решил послушать, как из вас птицы запоют.

Приятельница Людмилы Николаевны, та самая Вера Ивановна, которая советовала не слишком отвлекать мальчика от земли, после долгого отсутствия — она ездила на юг — зашла проведать и спросила, как обстоят дела с Костенькой?

— Ничего, мальчишка толковый, — бодро отвечала Людмила Николаевна. — Такой не пропадет, и у него очень дельный подход к жизни. Он, между прочим, дал мне один очень интересный совет. Он, понимаете ли, получил из Америки от матери очень приятные вести. Дела у нее идут отлично. Мы, собственно говоря, не знаем, что это за дела. Да и не все ли равно. Костя говорит, что деньги всегда деньги.

— Как? — удивилась Вера Ивановна.

— Ну, не наивничай, пожалуйста. Так вот, Костя, которому надоела наша слишком скромная жизнь, предложил мне написать его матери письмо, что он очень слаб, и его надо лечить и особенно питать, и что это очень дорого стоит, и пусть она присылает каждый месяц еще определенную сумму на лечение, а мы ее разделим пополам. У него вообще масса всяких таких проектов. Я, конечно, его проектом не воспользуюсь, но ему нельзя отказать в остроумии и изобретательности.

— Что за ужас! — ахнула Вера Ивановна. — Что из него выйдет?

— Что выйдет? — окинув ее холодным взглядом, сказала Людмила Николаевна. — Выйдет деловой человек, который шагает в ногу с веком. И я нахожу, что здесь совершенно нечем возмущаться.

— Значит, с воспитанием «младой души» покончено? — иронически поджала губы Вера Ивановна.

Людмила Николаевна пожала плечами.

— «Младая душа»? Ну, к чему такая экзальтация. Из нее шубы не сошьешь.

На Красной Горке

Вот начинается у нас Красная Горка, послепасхальная свадебная пора.

Для многих эта пора отмечена осталась на всю жизнь как радостное или кислое воспоминание.

А вот интересно было бы знать, как вспоминает эту самую Красную Горку Таня Бермятова. Красную Горку петербургскую, довоенную, замечательную, незабываемую, когда венчалась ее старшая сестра. Что-то она теперь об этой удивительной поре думает?

Что она думает, мы, конечно, ни знать, ни угадать не можем, а что именно тогда произошло и почему эта свадьба оказалась такой достойной воспоминаний в жизни Тани — это рассказать стоит.

Было Тане в ту пору ровно тринадцать лет и два месяца. Старшей сестре ее Лиде, которая выходила замуж, — целых двадцать. Была еще младшая, толстая Варя, десяти лет. Ту называли чаще Бубочкой...

Ввиду разницы лет все три сестры немножко друг друга презирали. Презрение шло, как ему и полагается, сверху вниз. Лида презирала Таню, Таня презирала Бубу. И чем горше терпела Таня от презрения Лиды, тем беспощаднее напирала она на бедную Бубу, которой уже податься было некуда. Она только сопела да вздыхала.

И вот Лида заневестилась.

Время для Тани было невеселое. Из гостиной ее выгоняли — там нежничали молодые. Из будуара выгоняли — там шептались мама с тетками. Сидеть в классной с презренной Бубой, когда в доме переживались такие крупные события, было очень обидно.

Одно еще было туда-сюда, довольно удобно: жених привозил Лиде конфеты. Она, ведьма, никогда как следует ими сестер не угощала. Даст, «как собакам», по две шоколадинки и даже выбрать не позволяет. Но прятала их ведьма всегда в одно место — в свой зеркальный шкап. И каждый раз, когда Таню выгоняли из будуара или из гостиной, она шла прямым трактом к зеркальному шкапу и вознаграждала себя за обиды.

К свадьбе сшили им с Бубой одинаковые голубые платья. Это было очень бестактно.

— В одинаковом! Точно две старухи из богадельни. И потом, нельзя же напяливать на взрослую девушку тот же фасон, что на десятилетнего ребенка!

Примеряя платье, она с находчивостью отчаяния высоко поднимала плечи, чтобы подол отпустили подлиннее. Но, как всегда водится, совершенно не вовремя вошла мама и сунула нос куда не следует.

— Зачем ты плечи поднимаешь? Смотри, платье у тебя до пят выходит, как у карлицы. Какая глупая девочка!

После этого Таня вытащила из зеркального шкапа сразу четыре шоколадины. Три для себя, одну для Бубы.

— Сколько мне на этой проклятой свадьбе дела будет — ужас! — говорила она Бубе, облагодетельствованной и благодарной. — Ужас! Ужас! Тебе-то хорошо, ты младшая дочь, ребенок. А я после Лиды остаюсь старшая. На мне все

заботы. Я и гостей принимай, я и угощенье приготовляй, я и за всеми порядками следи. Нужно еще шаферов выбрать и дружек — и все я, все я. И когда я все успею — сама не знаю. Тебе-то хорошо.

Толстая Буба жевала шоколадину и смотрела на Таню с интересом, но и с некоторым недоверием.

— А представь себе, — продолжала Таня, заваливаясь на диван и задирая ноги на спинку. — Представь себе, что получится, если у мамы как раз в этот день будет мигрень? Она как раз сегодня говорила няне: «Я так замоталась, что, наверное, к свадьбе голова заболит». Подумай только, какой ужас! Ведь тогда уж буквально все ляжет на меня, как на старшую в семье. Наедут все эти наши дядюшки-сенаторы и тетушки-генеральши, и я должна буду их занимать и угощать, а тут все эти лакеи, фрукты, родня жениха, изволь им разливать шампанское, а потом провожать молодых на вокзал и следить за всем порядком, чтобы не перепутать, когда их везти в церковь, а когда на поезд. Тебе-то хорошо на готовеньком. В церковь-то мама вообще не поедет, даже если будет здорова, — это не в обычае. Значит, опять я за старшую, должна следить за службой и за хором. И потом, если у мамы будет мигрень, на меня свалят давать наставления новобрачной. Ужас! Прямо хоть разорвись.

— Какие наставления? — удивленно, но все еще с недоверием спросила Буба.

— Как какие! Неужто ты никогда не слыхала, что мать всегда дает наставления новобрачной? Это каждый дурак знает. Я еще не придумала какие, но, если мама захворает, придется взять на себя. Ничего, милая моя, не попишешь!

Накануне свадьбы пришлось-таки гордой Лиде смириться перед сестрами. Пришла в классную со своей приятельницей Женей Алтыновой (злющая старая дева лет под тридцать, и нарочно с Лидой на «ты», чтобы молодиться), пришла и говорит:

— Слушайте, дети. («Дети»! Как вам это нравится!) На свадьбу приедет из-за границы мать моего жениха. Пожалуйста, ведите себя прилично и отвечайте ей вежливо: «Oui, madame»[1]. А то у вас манера рубить басом «вуй» и кончено. Она очень важная дама и может обидеться.

---

[1] Да, мадам (*фр.*).

Лида, между прочим, отлично знала, что у детей считалось страшным унижением именно это «oui, madame». «Точно подлизы какие-нибудь». Поэтому она тут же прибавила:

— Все равно она после свадьбы опять уедет, и вы ее, может быть, никогда и не увидите, так что никто и не узнает, что вы вежливо отвечали.

Словом, намекнула на то, что позор будет не вечен.

Но уже от одного разговора об этой унизительной сделке со своей совестью Тане стало стыдно.

— Ну, это там видно будет, — сказала она особенно развязным тоном, чтобы покрыть неловкость.

— Таня! Как ты отвечаешь сестре! — подкатила глаза Женя Алтынова.

— А вам-то что? — отбрила Таня. — Ведь не вы женитесь.

И, подхватив Бубу за руку, с достоинством вышла.

Вечером, конечно, скандал. Лида наябедничала, мама сердилась. Пришлось вытянуть из зеркального шкапа пять шоколадин. Но и с этим не повезло. Лида утром заметила. Жених-то пред свадьбой заскупился, конфет привозил меньше, вот брешь в коробке и бросилась в глаза. Пошли разные бестактные догадки и расспросы. Хорошо, что у мамы сделалась мигрень, и это отвлекло ведьму Лиду.

Наступил день свадьбы. Таня с утра волновалась больше всех.

— Мама, а как же насчет дружек? Кого я должна пригласить?

— Да ты-то тут при чем? — оскорбительно удивилась мать. — Давно все сделано, и Лида позвала, кого хотела.

— Ну, если так, я умываю руки, — с достоинством отвечала Таня.

Но мама достоинства не поняла и совсем некстати заметила:

— Да, да, непременно хорошенько умой. У тебя вечно пальцы в чернилах.

Причесывал парикмахер. Причесал, как идиот, в локоны.

— Так мамаша приказала.

Таня сейчас же свои локоны подколола шиньоном.

— Венчаться будут в церкви Уделов, — озабоченно говорила она Бубе. — Потом поздравления в Северной гостинице — и сразу на Николаевский вокзал. И всюду должна я сама, и всюду я сама, как старшая в доме.

Лида одевалась у себя в комнате. Она сидела перед зеркалом, а тетя Вера, надув от усердия губы, прикалывала ей вуаль.

— Погодите, — влетела Таня. — Я сама приколю.

Она подскочила, оттиснула негодующую тетку в сторону, запуталась ногами в вуали и не упала только потому, что ухватила невесту за голову.

— Пошла вон, дура! — завопила та. — Господи, что за наказанье! Кто ее сюда пустил?

— Ну, если ты не хочешь, — с достоинством отвечала Таня, — так мне-то ведь, в сущности, все равно. Тебе же хуже.

— Посмотрите, она мне ножищами вуаль разорвала! — в отчаянии вопила Лида.

Тетка кинулась растягивать фату, а Таня, пожав плечами, вышла.

— Я же еще и виновата!

— Где ты была? — спросила ее стоявшая в коридоре Буба.

— Учила тетю Веру фату прикалывать, — не совсем уверенно отвечала Таня.

— Так это они на тебя так кричали?

— Что за вздор! — буркнула Таня. — Бегу сейчас распоряжаться насчет автомобилей.

Буба поплелась за ней.

В гостиной они застали нарядных барышень и кавалеров, и у всех на плече были букетики флердоранжа.

Распоряжалась всеми старая дева Алтынова.

— А! — радостно закричала она. — Вот и мартышки пришли. Дайте же и мартышкам по цветочку.

Таня чуть не заплакала. Так унизить ее при Бубе!

В церкви все сошло благополучно. Таня старалась пролезть поближе к невесте, но ее оттянула за платье какая-то ведьма и зашипела:

— Стойте смирно, девочка, об вас чуть батюшка не споткнулся.

Ну да это все ерунда. Главные заботы начались в Северной гостинице.

— Сиди смирно, — сказала она Бубе. — И не лезь под ноги. Я должна принимать гостей. Теперь Лида уже обвенчана, и с этой минуты я старшая в семье... Пойду скажу не-

сколько слов Евгении Петровне, то есть Жене. Я ведь теперь буду с ней, конечно, на «ты».

Женя Алтынова беседовала с каким-то господином. Таня быстро подбежала к ней.

— Женя! — сказала она тоном Лиды. — Женя! Не хочешь ли чего-нибудь? Грушу или винограду? Пожалуйста, не стесняйся. Я ужасно занята.

Женя выпучила глаза и долго смотрела ей вслед.

Таня подлетела к двум сановитым старикам, серьезно беседовавшим с бокалами в руках.

— Не хотите ли чего-нибудь? — самым светским шепотом спросила она. — Пожалуйста, не стесняйтесь. Я ужасно занята.

Старики испугались и заморгали глазами, а Таня ринулась дальше.

Увидела какую-то старую длинную даму с чашечкой мороженого в руке и вдруг схватила ее как раз за ту руку, в которой была чашечка, и дружески ее потрясла. Мороженое шлепнулось старухе прямо на колено, как лягушка.

— Я ужасно занята, — кинула Таня на ходу.

Встретилась Буба, уныло жевавшая грушу.

— Тебе-то хорошо, — сказала Таня, — а мне нужно обежать еще всю ту сторону. Нужно со всеми быть любезной.

— Ты ужасно красная! — сказала Буба и поглядела на нее с уважением.

— То ли еще будет! Вон стоит дядя Поль. Нужно будет сказать ему несколько любезных слов.

Она подбежала к высокому господину с седыми височками, который, грациозно склонив голову перед хорошенькой дамой, что-то говорил ей вполголоса.

— Дядя Поль! — крикнула Таня, подбежав к нему вплотную. — Не хотите ли вина? Пожалуйста, не стесняйтесь. Я сама очень занята.

Дядя Поль посмотрел на нее совсем строго и даже недовольно.

— Что ты все мечешься, девица? — сердито сказал он. — Пойди к своей нянюшке и скажи, чтобы она тебя причесала. Ты растрепана, как чучело.

Таня улыбнулась дрожащими губами и поспешила отойти.

«Старый нахал! — подумала она. — Что сейчас на очереди? Пора отправлять молодых».

В центре зала стояла Лида, окруженная поздравителями. Тут же была и мама.

— Посоветуюсь со старухой, — решила Таня.

— Мама! Мама! — позвала она. — Не пора ли нам отправлять наших молодых на вокзал? И потом еще, — прибавила она вполголоса, подойдя поближе и очень деловито, — может быть, вы хотите поручить мне сделать наставление новобрачной? Так, пожалуйста, не стесняйтесь...

Мать посмотрела на нее с искренним испугом.

— Что с тобой делается? Ты красная как рак, мокрая, лохматая...

— Вот, вот, это та самая девочка! — закрякала оказавшаяся рядом та самая длинная дама, которой Таня потрясла на ходу руку так дружески и ловко, как настоящая старшая в доме и притом светская девушка.

— Вот эта самая! — продолжала крякать дама и смотрела на Таню тухлыми желтыми глазами.

Мама покраснела и, крепко нажимая на Танино плечо, двинула ее к двери.

— Вы совершенно не умеете себя вести, сударыня, — шипела она. — Все на вас жалуются. Вы вывернули мороженое на платье Варвары Петровны, матери Лидочкиного мужа. Лидочкиной belle mère[1]. Лидочка чуть не плачет. Вы носитесь, как пьяная. Я сейчас разыщу няню, и она отвезет вас домой, а завтра мы поговорим как следует. Буба маленькая, а ведет себя прилично. Няня! Одевайте ее и увозите. Спасибо, утешила мать для праздника. Бесстыдница!

Няня в ужасе всплеснула руками.

А около няни стояла Буба и громко сопела от стыда и жалости.

Знак

Они готовились вместе к башо[2]: Ира, Лена, Варя и Женя Мурыгина. Так почему-то называли — всех просто, а к Жене непременно прибавляли фамилию. Женя Мурыгина.

---

[1] Свекрови (*фр.*).

[2] Экзамену за курс средней школы (от *фр.* «bachot», разг.).

Собирались то у Иры, то у Вари. Лена и Женя Мурыгина жили далеко — одна в Нейи, другая на Репюблик. Удобнее всего было у Вари, потому что там никогда никого не было дома. Варина маменька бегала по портнихам и по чаям, в шкафу всегда стояла коробка с шоколадом, и был отличный граммофон, так что можно было со всеми удобствами заниматься науками.

Приходили с книжками и всегда с твердым намерением «на этот раз серьезно приналечь». Но Варя встречала гостей веселым визгом и радостной вестью:

— Старуха укатила танцевать!

В буйном восторге вся ученая компания принималась откалывать негритянские танцы, после которых можно было только повалиться всем на ковер и пищать от изнеможения.

— А как же башо? — вдруг вспоминала бестактная Лена.

— Башо? Башо! Башо...

— Ну что ж, мы ведь делаем все, что можем, — разумно успокаивала подруг деловитая Женя Мурыгина. — Мы учимся. Не наша вина, если мы провалимся.

— Ах, только бы всем вместе! — мечтала Лена — компанейская душа.

— Чего нам проваливаться. Костя Рюхин выдержал, уж такой кретин.

— Пустяки.

Варя бежала за конфетами.

— Откуда столько? — радостно визжали подруги.

— Старухе вздыхатели привозят. Она не ест, чтобы не потолстеть.

— А вот уж я не боюсь потолстеть, — заявляла пухлая Ира. — Я такая нервная, что достаточно мне один вечер кое о чем подумать, чтобы я сразу пять кило потеряла. Честное слово!

— Знаю, знаю, о чем подумать, — запела Лена.

— И я знаю, — закричала Варя. — О Борисе! Ведь правда, о Борисе?

— Ничего подобного, ничего подобного, — краснея и смеясь, защищалась Ира.

Они все были дружно влюблены в Бориса, «адски» интересного молодого человека, будущего великого артиста. Он

уже два раза выступал в пьесе «Орленок». Роль была довольно ответственная — он рычал за сценой, изображая стоны умирающих. Оклад был не очень большой — около семи франков за вечер. Но ведь никто и не начинает с шаляпинских гонораров. Все-таки это шикарно — играть на французской сцене. Сколько завистников!

— Неужели он так хорошо знает французский язык?

— И неужели дирекция не замечает его акцента?

Пусть злятся. Перед Борисом открыта дорога к славе.

Он даже раз изображал в фильме какую-то толпу студентов. Все друзья побежали в синема смотреть. Но проклятый режиссер почему-то вырезал весь кусок, где был снят Борис. Ужасно глупо. Никогда они не поймут, что именно притягивает публику. Идиоты.

— Сегодня у нас обедает какой-то новый тип, — сказала как-то Варя подругам. — Должно быть, интересный, потому что старуха волнуется с утра. Звонила к Прюнье, чтобы прислали буйябез, и сама покатила выбирать закуски.

— А кто же он такой — артист? — спросила Женя Мурыгина.

— Нет, какой-то очень умный господин. Какой-то Рыбаков.

— Рыбаков? — воскликнула Лена. — Если Рыбаков, то я как будто о нем слышала, папа говорил. Очень умный, начитанный, страшный оратор. Он, кажется, масон и все такое.

— Масон? — заинтересовалась Женя Мурыгина. — А что же они делают, масоны?

— Ну, это трудно тебе так сразу объяснить. Масоны — это такая духовная организация, вольные каменщики. Страшно интересно. Только они не имеют права никому ничего рассказать.

— Да разве ты не помнишь, у Льва Толстого, Пьер стал масоном, — вставила Варя. — Он еще из-за этого подарил Наташе Ростовой перчатки. Помнишь? У них такой закон, что, когда постригся в масоны, то сейчас же обязан купить перчатки той даме, в которую он влюблен.

— Неужели перчатки? — вдруг заинтересовалась пухлая Ира. — И хорошие перчатки?

— Наверное дрянь, — решила Варя. — Разве мужчины понимают что-нибудь в перчатках.

— А больше ничего не дарят? — допытывалась Ира. — Чулки не дарят?

— Ха-ха-ха, — покатилась Лена. — Нет ли такого сообщества, которое дарит лифчики. У меня всегда лифчики лопаются.

— Господи! — ахала Ира. — До чего мне хочется повидать настоящего масона!

— Ну, еще бы, — согласилась Варя. — Это всем интересно. Знаешь, у них есть особый знак, по которому они друг друга узнают: вот он с кем-нибудь знакомится, сейчас и сделает знак, и ждет, чтобы тот ответил.

— А какой же это знак?

— Этого никто не знает. Это известно только посвященным.

— Ну, а если ему ответят, тогда что?

— Ну, тогда он сейчас же без стеснения начнет говорить обо всяких тайнах.

— Господи! — вопила пухлая Ира. — Если бы только как-нибудь узнать этот знак. А ведь можно будет его обмануть: следить за всем, что он сделает, и сейчас же делать то же самое. Напрмер, вдруг он тряхнет как-нибудь особенно головой. Понимаешь? И я ему в ответ сейчас же тряхну. Он как-нибудь притопнет — и я притопну. Он присвистнет — и я присвистну. Очень просто.

— Ну, это трудно, — сказала Женя Мурыгина. — Он еще подумает, что ты его передразниваешь.

— Какая ты смешная! Ведь масонский знак должен быть какой-нибудь особенный, чтобы его посвященный человек мог заметить.

— Говорят, они как-то особенно жмут руку, — сказала Лена.

— Мне бы только познакомиться, — томилась Ира, — я бы уж все разузнала. А что, он интересный на вид?

— Папа говорил, что пожилой, бородатый.

— Бородатый? — разочарованно протянула Ира и тут же прибавила решительно: — Все равно, пусть. Лишь бы масон.

— Слушай, — надумала Варя, — оставайся обедать. Вот и познакомишься.

— А как же дома, будут беспокоиться.

— Мы позвоним по телефону. Понимаешь? Экзамен, мол, на носу, некогда дома сидеть.

— Ангел! Бог! — взревела от восторга пухлая Ира.

— Все оставайтесь, — разошлась хозяйка.

Визг, писк, восторг, негритянские танцы.

К самому обеду приехала «старуха». Старуха была молодая, очень красивая и элегантная дама, до того занятая своими сложными делами, что, кажется, даже не вполне понимала, что ей толкует дочь о своих подругах.

— Да, да! — ответила она. — Пусти меня скорей переодеваться.

Звонок. Приехал масон.

Девчонки сбились в кучу, как стадо овец в буран.

— Хи-хи! — слышалось сдавленное, испуганное и нервное.

Шепот:

— Наблюдай за знаком.

— Иру посадить рядом.

— Хи-хи! Ну, идемте.

Масон оказался плотный, красный, пожилой, но без бороды.

— Значит, побрился! — шепнула Лена. — Это он, только побрился.

— Иру вперед.

Масон между тем очень галантно целовал ручку хозяйке и рассыпался в комплиментах. Повернувшись к столу, он вдруг увидел четыре пылающих лица и восемь испуганно-счастливых глаз, вперившихся в него, увидел и всплеснул руками:

— Какой цветник юности! — воскликнул он. — Какая прелесть! Это все ваши? — спросил он хозяйку.

— Что за вздор, — обиделась та под веселый визг девчонок.

Пухлая Ира, подталкиваемая подругами, села рядом с гостем.

— Это моя подруга. Она хочет непременно сидеть рядом с вами, — рекомендовала ее Варя и прибавила: — Она очень серьезная и мистическая.

После этих слов Лена не удержалась и совсем некстати взвизгнула.

— Прелесть, прелесть! — повторял масон, разглядывая Иру самым бесцеремонным образом.

Подруги напряженно наблюдали, ожидая знаков. Но масон отвернулся и стал усиленно ухаживать за хозяйкой, только изредка бросая вполголоса несколько слов своей пухлой соседке. Но с той делалось прямо что-то неладное. Она тоже отвечала ему вполголоса и была, казалось, ужасно чем-то смущена: краснела пятнами, виновато улыбалась дрожащими губами, изредка нервно смеялась, проливала вино на скатерть, тыкала вилкой мимо тарелки и один раз даже как-то испуганно пискнула.

— Ну что? — спросила шепотом Лена.

Ира лукаво скосила глаз и кивнула утвердительно головой. Масон был расшифрован и пойман.

Девчонки зашептались, смотря на героиню горящими глазами.

— Ира! — вдруг особенно громко крикнула через стол Варя. — Ты какой номер перчаток носишь?

— Шесть с половиной, — подчеркнуто отвечала Ира. — И я люблю длинные, без пуговиц, цвета крем. Шесть с половиной.

— Она носит шесть с половиной! Шесть с половиной! — затараторили девчонки. — Нетрудно запомнить, хи-хи.

«Старуха» пожимала плечами. Масон глядел с недоумением.

Едва обед кончился, подруги схватили Иру под ручки и потащили в спальню.

— Ну что? Ну что? Да говори же скорее! Узнала знак?

Ира сидела на постели, растерянная, и пухлые ее щеки дрожали от волнения.

— Я... Я заметила много знаков. Но я не знаю, какой настоящий. Но что он принял меня за масонку, в этом я уверена, потому что он обещал со мной обо всем говорить.

— Расскажи скорей! — визжали подруги и давили пухлую Иру, стараясь прижаться к ней поближе. — Говори все по порядку.

— Ну, вот. Мы сели за стол. А он тихонько сказал «душечка». А потом еще сказал, — но это глупо...

— Нет, ты должна все, все говорить. Говори все.

— Сказал «пышечка». Глупо, точно я толстая.

— Ну, а потом?

— А потом тихонько под столом погладил мне руку.

— Вот-вот! — обрадовалась Варя. — Вот это, верно, и есть.

— Я тогда тоже погладила ему руку, чтобы показать, что я поняла. Тогда он немножко подождал и погладил мне коленку. Я нечаянно пискнула, а он испугался. Может быть, я должна была его тоже погладить, но мне стало страшно. Тогда я его тихонько спросила: «Теперь у вас от меня уже не может быть тайны?» Он сразу понял, кто я, и сказал: «Завтра в восемь у метро Клебер».

— Ура! Ура! Ура!

Визг, поцелуи, негритянские танцы.

На визг явилась «старуха».

— Чего вы так кричите? — сердито сказала она.

— Мама! — крикнула Варя, — Мы тебе что-то расскажем, когда масон уйдет.

— Какой масон? — удивилась мать.

— Да этот, Рыбаков. Разве ты не знала, что он масон?

— Рыбаков? Да он вовсе не Рыбаков, а Трабуков. Вечно у вас какая-то ерунда.

Девчонки долго смотрели друг на друга, выпучив глаза и приоткрыв рты.

Азимут

Поэты и вообще люди, пишущие стихи (они не всегда бывают поэтами), знают, что иногда строчка, положившая начало и вызвавшая все стихотворение, при дальнейшей обработке оказывается совершенно ненужной, выпадает и заменяется другими словами.

Упоминаю я об этом, потому что в жизни, как в стихотворении, вдруг зазвенит какая-то фраза — фраза жизни, конечно, вернее, событие или явление, — словом, ясно, что я хочу сказать? — так вот — зазвенит фраза и покажется такой значительной, что все начинает как бы подгоняться к

ней, а потом жизнь выбросит ее, как совершенно ненужную и даже портящую.

Выбросит и забудет.

Началось это все совсем-совсем просто. Удивительно просто.

Началось за завтраком.

К завтраку пришла гостья — мадам Кошкина, приятельница Лизиной тетки. Завтракали, значит, втроем. Вот эта самая гостья, тетка и Лиза.

За завтраком между разварным сигом и жареной телятиной (как глупо выходит, когда решающие моменты жизни приходится определять такими банальными бытовыми словами) вышел некий перерыв событий, то есть, попросту говоря, Дарья замешкалась в кухне. И тут, очевидно, чтобы заполнить паузу, гостья обратила внимание на Лизу и спросила:

— А сколько же вам, Лизочка, лет? Я что-то не помню.

— Через месяц будет шестнадцать, — отвечала Лиза.

Тут гостья, вероятно, чтобы проверить, не привирает ли опрошаемая, вгляделась в Лизино лицо и сразу же воскликнула:

— Но до чего она у вас бледна! Ну можно ли быть такой бледной!

— Сидит долго по вечерам, — объяснила тетка. — Задают такую массу уроков, что раньше двенадцати она никак справиться не может. Зубрит, зубрит, а отметки неважные. И на что девочкам все эти алгебры и какие-то там зоографии, или как их там... Лиза, какая это у вас такая наука, вроде географии?

— Космография, тетя.

— Да, космография. Ну на что девочкам космография? Только порча здоровью. И вечно у нее из космографии единицы.

Лиза покраснела.

— И вовсе не вечно. Всего три. Всегда вы придираетесь.

Гостья посмотрела на нее с состраданием и сказала тетке:

— Возьмите репетиторшу. Хотите, я пришлю к вам своего Васю? У них там, в корпусе, все эти премудрости проходят. Он объяснит Лизе.

Тут подали телятину, разговор оживился и переменил тему.

Но в субботу вечером явился морской кадет и представился:

— Василий Кошкин, второй.

Василий-второй долго мямлил что-то о космографии, краснея и заикаясь. Потом Лиза повела его в свою комнату, грациозно раскинулась на диване, сощурила глаза, как настоящая львица, и сказала:

— Я не понимаю, что такое азимут.

— Азимут есть угол, образуемый вертикалом, — начал Василий-второй, покраснел, заморгал и смолк.

— Скажите, — спросила Лиза, весьма довольная смущением Кошкина. — Скажите, вы не находите, что я слишком бледна?

— Н-нет. Я вообще никогда ничего не нахожу.

Он кашлянул, хотел даже высморкаться, но, взглянув на свой казенный носовой платок, раздумал и только посмотрел на Лизу умоляющими глазами. Не добивай, мол.

— Я бледна оттого, что всю ночь изучаю мировую литературу. Я сейчас читаю Ардова «Руфину Коздоеву», — сказала Лиза тоном светской красавицы и поболтала ногой.

— Итак, — продолжала она, — азимут есть угол, образуемый... Впрочем, мы еще успеем. Расскажите лучше о ваших товарищах. Кто у вас в классе самый красивый?

Василий-второй, запинаясь и краснея, отвечал, словно на экзамене по невыученному билету.

— Так, значит, самый красивый князь Пещерский? — спрашивала Лиза. — А кто самый старший?

— О-он же. Он самый старший. Ему уже восемнадцать.

— Так. А кто у вас самый глупый?

— Т-тоже он. Мы его называем принц Иодя. Это сокращенное от идиот.

Лиза кокетливо покачала головой.

— Ай-ай-ай! Как зло! И держу пари, что это вы придумали. Да, да, да. Я сразу заметила, что вы ужасно злой и остроумный. Вы весь такой — уксус, перец и соль. И не смейте спорить. Я вас поняла.

Василий-второй стал истерически смеяться, взволнованный и счастливый.

Тогда Лиза взяла с дивана подушку с вышитой гарусом собачкой, положила ее стоймя себе на колени, обе руки перекинула, как лапки у собачки, и прижалась к ним лицом.

— Которая собачка вам больше нравится?

— Га-га-га! — восторжено хохотал Василий-второй.

— Поцелуйте лапку у той, которая вам больше нравится.

Кошкин чмокнул Лизину руку.

— Однако, — строго остановила его Лиза. — Вы забываете об азимуте. Азимут есть угол, образуемый... чем?

Морской кадет Василий Кошкин-второй приходил по субботам и по воскресеньям. Занимались космографией. Лиза уже знала, что азимут есть угол, образуемый вертикалом, проходящим... дальше уже не так было ясно. Но тут кадет заболел воспалением легких и прислал своего товарища, князя Пещерского, принца Иодю.

Принц Иодя был действительно очень красив. Высокий, белокурый, с античным профилем.

— Я не понимаю, что такое азимут, — сказала ему Лиза, прищурившись, как тигрица, и болтая ногой, как львица.

— Азимут есть угол, — отвечал Иодя. — Разве Вася Кошкин вам этого не говорил?

— Нет, — сказала Лиза. — Он забыл.

Потом взяла подушку с вышитой собачкой, положила ее на колени, прижалась лицом.

— Которая собачка вам больше нравится?

Иодя вытянул губы и поцеловал по очереди обе ее руки.

— Какой вы хитрый! — сказала Лиза. — Я с первого взгляда поняла, что вы очень хитрый и умный.

Иодя грустно улыбнулся.

— Да, я знаю, что я умен, — сказал он. — Ничего с этим не поделаешь. Это даже неудобно. Все сразу поймешь, а потом и стоп. Потом и делать нечего. Вы тоже умная? — деловито справился он.

— Да, я тоже.

— Вот как мы друг к другу подходим. Только я, к сожалению, решил жениться на моей троюродной кузине, на Вале Пещерской. Ужасно досадно.

— Вы в нее влюблены?

— Нет. Я в любовь не верю. У меня холодный анализирующий ум. Я ее анализировал и решил, что на ней следует

жениться. К ней перейдет все состояние дяди Були. И потом она тоже умна. Мы вместе катаемся на коньках.

Он посмотрел на Лизу внимательно и прибавил:

— Ужасно жаль, что я вас так поздно встретил на своем пути.

— А сколько лет вашей кузине?

— Около тридцати пяти. Но она еще очень моложава.

— А она согласна?

— Да. То есть она ничего не знает, но я уверен, что она согласится.

На второе воскресенье принц не пришел. Он был оставлен без отпуска. Заменить его явился маленький черненький желчный мальчик, Костя Ирбитов.

— Я обещал эту услугу своим товарищам, — холодно сказал он.

Лиза решила, что долго тянуть с таким мальчишкой не стоит, сразу сощурила глаза, положила подушку на колени и спросила:

— Которая из двух собачек вам больше нравится?

— Конечно, вышитая, — ответил мальчик, не задумываясь, и прибавил: — Она естественнее.

Лиза натянуто засмеялась, отбросила подушку и сказала:

— Я не понимаю, что такое азимут.

— Да, мне уже говорили. Если вы такая тупица, так я запишу вам в тетрадку и попрошу к следующему разу вызубрить. Если же вы не будете знать, то значит вообще вам учиться не к чему. Идите в портнихи. Теперь давайте заниматься.

«Нахал! — думала Лиза, бледнея со злости. — Идиот плюгавый! Воображает, что я дура. Сам дурак».

— Вы слушаете, что я вам говорю? — строго спрашивал мальчик. — Повторите, что я сказал.

— Я не расслышала.

— Вы к тому же еще и глуховаты?

— Что значит «к тому же»? К чему, к «тому же»? — лепетала Лиза, чувствуя, что у нее от обиды дергаются губы.

— Не будем отвлекаться посторонними беседами, — спокойно ответил обидчик. — Мой друг Вася Кошкин лежит больной и попросил меня заменить его и подготовить вас к экзамену по космографии. Я ему обещал и постараюсь обещание исполнить. Конечно, не все зависит от меня. Если

окажется, что вы окончательно неспособны усвоить то, что ежегодно усваивают тысячи дур, сдающих выпускные экзамены, то тут уж я ничего не могу поделать.

Лиза приняла самый надменный вид и сказала:

— А почему вы думаете, что я желаю проделать все, что проделывают ежегодно тысячи дур?

Сердитый мальчик нахохлился и молчал.

— Я, может быть, не желаю, — продолжала Лиза.

Ирбитов встал и обдернул мундирчик.

— В таком случае разрешите откланяться, — сказал он и щелкнул каблуками.

Лиза томно подала ему руку.

Он вышел из комнаты.

«Неужели так и уйдет?» — с ужасом думала Лиза, прислушиваясь к его шагам.

Вот щелкнула входная дверь. Кончено. Ушел. Неужели так и не вернется? Какой негодяй! Оскорбил женщину и чувствует себя героем. Ну так подожди же. Ты думаешь, что я не могу? Ну так я ж тебе докажу!

Василий Кошкин-второй, гордый своим новеньким мичманским мундиром, сидел перед Лизой.

— Да, я кончила с золотой медалью, — говорила Лиза. — Теперь поступаю на медицинские курсы.

Подумала и спросила подчеркнуто равнодушным тоном:

— А этот ваш товарищ, такой глупенький, — Ирбитов, Арбатов, не помню его фамилии. Он обо мне не спрашивал?

— Нет, кажется, не спрашивал.

— Так вот, если спросит — так вы ему скажите, что я окончила с золотой медалью.

Самые длинные дни человеческой жизни — дни детства. Потом человек растет, а дни его уменьшаются. И совсем уже быстро «мчатся кони Феба под уклон».

И вот на таком уклоне встретились Лиза Вербе и Василий Кошкин-второй.

Лиза Вербе, женщина-врач, заведующая хирургическим отделением, и Кошкин-второй, адмирал в отставке.

Адмиралу лечили контуженную ногу.

— Скажите, сударыня, — спросил адмирал. — Вы не родственница Елизаветы Сергеевны Вербе? Друга моей юности?

— Я и есть эта самая Вербе.

— Хе-хе! Кто бы подумал. А меня не узнаете? Вася Кошкин.

— Кадет Вася. Трудно, конечно, узнать.

— А помните, как мы вас обучали космографии? Хе-хе! И я, и Пещерский, и Ирбитов.

— Как вы сказали? Пещерский? Орбитов? — Нет, таких не помню.

— Помните азимут? Азимут...

— Азимут? Нет, тоже не помню. Это что же, кто-нибудь из ваших товарищей?

Содержание



О нежности

Надежда Александровна Тэффи

Собрание сочинений в пяти томах

Том IV

Редактор
В. Алексина

Художественный редактор
О. Скочко

Технический редактор
О. Стоскова

Корректор
Е. Гоголева

Компьютерная верстка
А. Деева

Подписано в печать 15 09 10 г
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$
Бумага офсетная
Гарнитура «Garamond»
Печать офсетная
Усл. печ л 18,48
Уч -изд л 18,63
Заказ №

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9

Отпечатано ООО "Балто принт"
Logotipas Company
www baltoprint ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

ISBN 978-5-4224-0255-7



www.terra.su

www.soyuzkniga.ru